

Валерий Мусаханов

РАДУГА

Издательство «Детская литература»











Валерий Мусаханов



ПОВЕСТИ

Рисунки Б. Аникина

Ленинград
«Детская литература»
1981





ЗА ДАЛЬНИМ ПОВОРОТОМ

Повесть





1

Двор у нас самый обыкновенный, таких в Ленинграде много. Большой пятиэтажный особняк фасадом выходит на улицу; посередине фасада — высокая арка с чугунными створками ажурных ворот.

Если под аркой хлопнуть в ладоши или крикнуть, то дребезжащее сердитое эхо повторит звук. Эхо не любит и громких шагов, негодующе отзывается на них, и часто чудилось, что оно ворчливо бормочет мне: «Ишь растопался».

Арка вводит в не очень просторный двор, мощный булыжником. Двор образовывали трехэтажные флигели, поставленные буквой «П». Раньше флигелей было три, но в правый попала фугаска-пятисотка, и на его месте долго оставались развалины и груды битого кирпича. Потом, после войны, их разобрали. Жильцы устроили субботник, засыпали и разровняли ямы от подвалов и разбили на месте разрушенного флигеля маленький сквер. Мы с моим другом Киркой тоже участвовали в субботнике и посадили тонкую раскидистую березу, но она не принялась и засохла, а тополя и рябины, которые посадили другие жильцы, принялись. И теперь в наш двор зимой часто залетают синицы поклевать красных рябиновых ягод.

Двор у нас самый обыкновенный, но так думают взрослые. Они не замечают эха под аркой, не знают, сколько интересных вещей находили мы с Киркой Синицыным на чердаках.

Находки наши были необычны и разнообразны: затрепанная, с пожелтевшими ломкими страницами книга «Дуэльный кодекс», старинный токарный станок по дереву, приводившийся во вращение педалью, как швейная машина, и огромный ржавый пистолет с резной рукоятью из твердого темного дерева. Пистолет, правда, произвел на нас не самое большое впечатление. Нам ли, мальчишкам из фронтowego города, было удивляться этому допотопному и смешному оружию. Пистолет был кремневым, заряжался прямо со ствола, и к тому же механизм спуска курка не работал. А мы знали оружие настоящее.

В сорок четвертом году, когда немцев уже отогнали от города, мы ездили на Среднюю Рогатку. Тогда еще не было новых домов в конце проспекта. От самого завода «Электросила» до Пулковской горы лежала развороченная, вся в воронках от снарядов земля; некоторые участки были обнесены колючей проволокой, и на колышках — прибиты куски фанеры, предупреждающие черными, лохматыми от расплывающейся краски буквами: «Мины!» Кое-где между минными полями зеленели грядки огородов. Но огороды и мины мало интересовали нас. На грядках рос турнепс — кормовой корнеплод горьковатосладкого приторного вкуса. Мы грызли его иногда сырым, когда очень уж хотелось есть, но старались не злоупотреблять, потому что после этого овоща долго не проходил неприятный, тошнотворный привкус во рту.

Мы шли по разбитой дороге, поднимаясь на Пулковскую гору; пустые противогазные сумки хлопали по бокам, и солнце светило прямо в глаза. Иногда мы оглядывались на город, который казался уже очень далеким. И только огромное одинокое здание все не удалялось от нас. Это был Дом Советов, построенный перед самой войной. С пологого откоса горы Дом Советов выглядел большим белым кубом с симметричными черными провалами выбитых окон. И нам казалось, что мы пришли на самый край обитаемой земли, и дальше, за горой, уже ничего нет — только минные поля, воронки от разрывов тяжелых снарядов, заполненные вонючей, позеленевшей водой. Мы воображали себя первопроходцами, отважными путешественниками, идущими на поиски кладов. И знали, что риск наш вознаградится и мы вернемся с полными противогазными сумками настоящих сокровищ. А риск был. Еще не все мины были найдены и огорожены саперами. Да и те сокровища, которые мы искали, при неумелом обращении могли наделать бед. Ведь нашей добычей становились ручные гранаты, патроны, минометные мины, снарядики малокалиберных скорострельных зениток, запалы, детонаторы, сигнальные и осветительные ракеты.

Все мальчишки в Ленинграде увлекались в то время этими опасными игрушками. А в Летнем саду шла бойкая меновая торговля. За две сигнальные ракеты, похожие на патрон от какого-то великанского охотничьего ружья, можно было выменять хороший складной нож. Ракеты ценились за привлекательный вид: алюминиевые длинные гильзы с цветными блестящими метками. Если метка зеленая, то ракета светит зеленым, красная — красным огнем. У нас, конечно, не было ракетниц, но мы обходились без них. Нужно было очень осто-

можно расковырять пыж из плотного картона, закрывающий передний конец гильзы, потом проволочным крючком поддеть и вытащить войлочные пыжи и после, перевернув гильзу и тихонько постукивая ею об деревяшку, выбить светящийся состав — плоские таблетки темно-серого цвета с поблескивающими зернами. Мальчишки разводили костры на задних дворах, ждали, пока огонь догорит, и в раскаленные угли подкладывали эти таблетки. Угли покрывались пеплом, и казалось, что уже ничего не случится, так и подмывало подойти к пепелищу и поворошить его палкой, чтобы увидеть, что произошло с таблетками. Но как раз этого делать было нельзя — потемневшие угли вдруг оживали, пепел взлетал вверх и на месте кострища вырастали кусты цветного пронзительного пламени, красные или зеленые, в зависимости от цвета ракеты. Эти пылающие цветные кусты жили всего полминуты, но зрелище было пугающим и красивым. А потом во дворе еще долго стоял необычный запах химикалий и горьковатой копоти.

Нам очень нравились эти фейерверки.

И вот в один летний день сорок четвертого года я вышел во двор и свистнул под Киркиным окном. Мы сговорились накануне, что отправимся на Среднюю Рогатку, так как все наши боеприпасы кончились и нечего было поджигать.

Двор был, как всегда, пуст. После блокады, кроме меня и Кирки, в доме не осталось мальчишек. Колька Егоров умер зимой сорок третьего, а Вовка Шушарин — еще раньше, Сережка Кузнецов эвакуировался через Ладогу по Дороге жизни, и мы остались с Киркой вдвоем.

Я подождал немного, глядя на окно, и свистнул еще раз. Занавеска откинулась, показалась лохматая Киркина голова и скрылась. Я поправил брезентовый ремень противогазной сумки на плече, нащупал в кармане штанов несколько медяков на трамвай, потом удостоверился, что клапан бокового карманчика сумки застегнут и мой нож не вывалится. Я очень дорожил этим складным ножом с двумя лезвиями, отверткой, шилом и напильником. Мне подарил его отец, когда уходил на фронт. Нож был приятно тяжелый, с ручкой из рога, а на лезвиях не оставалось зазубрин, даже когда я резал толстую медную проволоку. И вот я проверил свое снаряжение и стал расхаживать по двору, глядя, как на развалинах флигеля колеблются от легкого ветра стебли какой-то травы с колючими мелкими листьями.

Во дворе было тихо и скучно, и я досадовал на Кирку за то, что он так долго копается дома и не выходит. Но в развалинах вдруг посыпались обломки кирпича, пролом в первом этаже заволокло красноватой пылью, и оттуда выпрыгнул мальчишка. Он бросил на меня быстрый взгляд, наклонился и деловито потряхнул черные брюки, потом, выпрямившись, поправил широкий матросский ремень с медной бляхой, тряхнул головой, и косая узкая челка упала на левую бровь.

Я, слегка опешив от неожиданности, глядел на него, на синюю рубашу, в вырезе которой виднелся полосатый треугольник тельняшки, на лихую челку и прищуренный левый глаз.

— Эй, лысый, это ты свистел? — спросил мальчишка неожиданно тонким девчоночьим голосом.

Мне стало обидно, что он назвал меня лысым. Я был вовсе не лысый, а просто недавно остригся под машинку, потому что летом так удобнее и легче мыть голову, а мать заставляла делать это каждый вечер. Я не ответил ему и отвернулся.

— Тебя спрашивают, обормот! — крикнул он громко, и на слове «обормот» голос его сорвался и перешел в писк.

Я посмотрел на него и засмеялся.

Он набычился угрожающе и пошел на меня. Я не то чтобы испугался, но как-то загрустил, потому что мальчишка был на голову выше меня ростом, немного постарше и, наверное, сильнее. Я вообще не самый мирный человек на свете, но драться не люблю. Я думаю, что любители этого занятия всегда дерутся с тем, кто слабее, и не драться они любят, а просто безнаказанно набить кому-нибудь морду, а это уже подлость. Если такой вояка нарывается на равного по силе, то сразу забывает про свою любовь к дракам.

И вот я стоял посреди двора, а этот мальчишка, нагнув голову, шел на меня. И мне было невесело, но убегать из своего собственного двора не хотелось. Я покосился на дверь черной лестницы, не идет ли Кирка, но его не было, а мальчишка приближался. Я поправил сумку на плече, чуть выставил левую ногу и сжал кулаки. Он остановился в шаге от меня и тихо, сквозь зубы спросил:

— Ну, в какой глаз хочешь? — И голос у него стал совсем не писклявый.

— Отвали, а то сам схватишь, — ответил я по всем правилам уличного кодекса.

Он криво усмехнулся, потом вдруг встал на цыпочки и посмотрел куда-то в угол двора через мое плечо, и лицо его стало удивленным. Я тоже повернул голову, взглянул в ту сторону, но там ничего и никого не было. И тут он наотмашь звезданул меня по скуле, так что в ухе затрещало и сразу заслезился левый глаз. Я услышал его тихий, злорадный смех. Он стоял против меня и смеялся. Мне даже холодно стало от злости, и я сразу забыл про боль. Носком ботинка я ударил его по голени, он взвизгнул и скорчился. И тогда я нанес удар кулаком — прямо в его короткий, похожий на валенок нос. Это был хороший прием, я прочел о нем в какой-то книжке, в которой не было ни конца, ни начала.

Он прижал руку в закровившему носу. А я почувствовал, что нижнее веко левого глаза становится толстым и мешает смотреть, понял, что это вспухает синяк, и прикрыл глаз ладонью.

Мы молча смотрели друг на друга, только он больше не шурился, потому что с разбитым носом это получается не очень лихо. А у меня, я чувствовал, не выходило победного выражения на лице. Какое уж тут выражение, когда человек глядит одним глазом. Я только спросил у него:

— Что, съел? — Я сказал это спокойно и миролюбиво, чтобы стало ясно, что мне больше неохота драться. Но он не понял.

— Сейчас, гаденыш, я тебе покажу, — пропищал он, отняв руку от лица. Из носа у него текла кровь и капала на полосатый треугольник в вырезе рубашки. Он посмотрел на свою красную ладонь, вытер ее об штаны, сунул руку в карман и достал никелированный немецкий кастет. Но тут хлопнула дверь и — наконец-то — вышел Кирка.

Так мы познакомились с Вовкой Земсковым.

Мы не стали бить его вдвоем, потому что он спрятал кастет и спросил растерянно:

— Двое на одного, да?

Я хотел добавить ему пару плюх за кастет, но Кирка остановил:

— Да хватит.

Кирка вообще миролюбивый человек. Нет, он совсем не трус и, наверное, в два раза сильнее меня. Может быть, он не дерется, потому что никто к нему не пристаёт. Еще бы, посмотришь на его плечи — и пропадает всякая охота приставать к нему. Кирка чуть выше меня, но очень сильный. Я уважаю Кирку за то, что он такой спокойный. И я послушался и не тронул Вовку. Я только спросил:

— Ты откуда пришел?

— Оттуда, из двадцать девятого, — ответил Вовка, опасливо глядя на нас. Он все еще не верил, что бить не будут.

— Ты давно там живешь? — спросил Кирка.

— Нет, у нас дом треснул. Рядом давно бомба попала, ну а теперь наша стена треснула.

— А где ты жил?

— На Жуковского.

— Ну, если теперь будешь жить в двадцать девятом, то давай — мир.

— Я не хотел. Это он первый начал, — сказал Вовка.

Кирка посмотрел на меня.

— Врет, — ответил я. — И еще кастет потом вынул. Знаешь, что за это делают?

— А чего ты смеялся? — У меня горло больное, и голос такой из-за этого.

— А кто первый начал? Ты меня лысым назвал?

— Хватит, Валька, — сказал мне Кирка. — Возьмем его тоже. — И спросил у Вовки: — Поедешь с нами за патронами?

— Поеду, — обрадовался Вовка, — только морду надо вымыть.

— Ты-то вымоешь, а я так буду теперь неделю светить этим фингалом, — сказал я.

— Подумаешь, не такой уж он большой, — сказал Кирка.

В тот день мы очень долго добирались до Средней Рогатки. Денег на всех не хватало, а брать два трамвайных билета на троих не имело смысла. Мы проехали на «девятке» от Литейного до Технологического института, и кондуктор засекла нас; пришлось срочно смыться, а то она уже достала свисток.

Трамваи ходили редко, и следующего мы ждали целых полчаса. Добралась до Обводного канала, и нас опять выгнали. Пришлось идти до «Электросилы» пешком, а от завода шла всего одна рельсовая колея и ходил трамвай, который прозвали «подкидыш». Он подвозил людей к огородам. Это был всего один вагончик. Он доезжал до конца рельсовой колеи и шел обратно задом наперед. «Подкидыш» ходил без остановок, и поэтому нас не могли посадить. Вместе с огородниками мы выгрузились у Дома Советов и пошли знакомой дорогой.

День был хороший, прохладный, и солнце не очень донимало нас. В жаркие дни по Пулковской дороге ходить было тяжело; солнце жарило макушку и слепило глаза. А в тот день было хорошо. Мы шли

шеренгой, как солдаты, неторопливым походным шагом и старались дышать через нос. Мы с Киркой давно заметили, что, если идти кое-как — то вприпрыжку, то медленно, — устаешь быстрее. А потом в книжке про путешественников Кирка вычитал, что на дальние расстояния следует ходить размеренным солдатским шагом и обязательно дышать носом. И еще не нужно разговаривать, но этого правила мы не придерживались, потому что идти и молчать скучно. Вообще-то мы с Киркой молчали — говорил один Вовка. Он рассказывал, что в Лисьем Носу взрывал гранату.

— Шли по лесу с Гошкой. Гошка раньше в Лисьем Носу жил, а в войну их переселили к нам на Жуковского. Ну вот, он весь лес знает там. Шли, видим, яма такая круглая и в ней ящики зеленые. Гошка говорит: «Ныряем, посмотрим». Слезли в яму. Ну, осторожно, конечно, чтобы на мину не нарваться. Ящик открыли один — пустой. Второй тоже пустой. А нижние мы вытаскивать побоялись — вдруг жажнет. И тут я увидел: в стороне кучкой лежат гранаты. Много! И противотанковые, и эр-гэ-дэ, и лимонки. Гошка говорит: «Не тронь! Жить надоело?» Ну, а я посмотрел, что никакой проволоки нет — значит, не минировано. Схватил одну лимонку с краю и — бежать. Так прямо и выскочил по откосу, а яма глубокая.

Вовка шел чуть впереди нас и размахивал руками. Кирка смотрел на него во все глаза, а я что-то не очень верил этому рассказу. Но сказать Вовке, что он заливает, не решался. И он, ободренный нашим молчанием, все рассказывал.

— Ну вот, пришли мы на берег. А там валуны такие большие. Я Гошке и говорю: «Давай из-за валуна швырнем в воду». Он, конечно, струсил, но молчит. Мы спрятались за самый большой камень, я чеку выдернул — и как брошу! Лежим, лежим, а она не взрывается. Гошка уже подниматься стал — и тут как даст! Нас брызгами облило. Потом выглянули, а у берега еще вода снопом таким опускается. Эх и здорово было! Вот если найдем сегодня лимонку, то жажнем где-нибудь, — пообещал Вовка.

Я не верил ни одному его слову. Мы тоже находили гранаты, иногда даже с запалами, и вообще-то умели с ними обращаться, но взрывать не решались. Ручная граната — штука серьезная и тяжелая, ее нужно бросить метров на сорок, а на это у нас не хватало силенок. А этот Вовка, видно, считал нас совсем дураками. Лимонку он бросал. Да эта граната взрывается через шесть секунд после того, как выдернешь чеку, и осколки летят на двести метров. Мы с Киркой читали все, что можно было достать в магазинах про всякие боеприпасы.

В те годы продавалось много военных уставов и руководств. И почти в каждой школе висели большие плакаты, на которых были нарисованы мины, гранаты и патроны; крупными буквами было напечатано, что эти штуки опасны и школьники не должны их трогать, рассказывалось о поражающей силе этих боеприпасов. Правда, мы не обращали внимания на предупреждения об опасности, но устройство гранат изучали по этим плакатам.

А тут вдруг Вовка так завирает. Мне даже обидно стало, но я ничего ему не сказал. Почему-то я, когда вижу, что человек врет, как-то стесняюсь сказать об этом. Мне стыдно становится. Я слушаю и молчу.

И тогда я не сказал Вовке ничего, хотя был уверен, что он врет. Мы шли по разбитой дороге все вверх и вверх и уже стали поглядывать по сторонам, не попадется ли что-нибудь стоящее.

Первым крикнул Кирка:

— Ребя, снаряд!

Метрах в двадцати от дороги, среди редкой травы, покрывшей холмики развороченной земли, лежал зенитный снаряд — длинный, с медной гильзой. Вовка первым бросился к нему.

— Стой! — крикнул Кирка.

Вовка остановился, посмотрел на нас.

— Чего вы? Ведь на троих же, верно?

— Дурак, — сказал я, — вот так и подрываются.

Кирка сошел с дороги и, внимательно глядя под ноги, медленно пошел к снаряду. Вовка недоуменно смотрел на меня, а я следил за Киркой, запоминая, куда он ступает. Кирка дошел до снаряда и махнул рукой. Тогда я сказал Вовке:

— Давай за мной, след в след. И ни шагу в сторону.

— Ладно, соображаю, — обиженно пропищал он.

Мы стояли над этим снарядом и молчали. Солнце уже припекало мне голову, потому что волос не было.

— Что будем делать? — спросил Вовка нетерпеливо.

Кирка не ответил ему и посмотрел на меня исподлобья.

— Может, на обратном пути, а, Валь?

Я промолчал и снова уставился на этот снаряд. Он лежал такой безобидный и красивый. Медная гильза поблескивала, маслянисто лоснилась черная головка. Он был похож на обыкновенный винтовочный патрон, только в сто раз больше. Он был толщиной с мою руку и, наверное, в метр длиной.

— Семьдесят шесть миллиметров, — сказал Вовка. — Такой жакнет, будь здоров.

Я стоял и молчал, а ноги потихоньку начали дрожать. И когда я почувствовал эту дрожь от страха, то понял, что не уйду от этого снаряда ни за что. И я сказал, стараясь, чтобы слова звучали спокойно и небрежно:

— Ну, две полные сумки пороха есть.

— Он же со взрывателем, Валь. — Кирка опять посмотрел на меня.

Я и сам видел этот белый алюминиевый конусок на кончике черной головки, и не было бы здесь этого Вовки, мы с Киркой ушли бы подобру-поздорову. Но перед ним показать себя трусом я не хотел.

— Ладно, — сказал я как можно небрежнее, — идите, смотрите, чтобы дядька какой-нибудь нас не засек, и залягте на той стороне.

— Да ну, давайте так его раскалечим, — сказал Вовка и тронул снарядную гильзу носком ботинка.

— Ты что, — оттолкнул его Кирка, — сдурел?

— А я не боюсь, — усмехнулся Вовка.

— Пошли, смельчак. Не знаешь, как саперы работают, так не суйся. — Кирка поправил сумку и пошел к дороге. Вовка — за ним. А я стоял, смотрел им вслед и чувствовал, как дрожат коленки. И пока они шли, лицо у меня вспотело, а ладони стали холодными и мокрыми. Они перешли дорогу, прыгнули в канаву и скрылись. Рукавом



рубахи я вытер лицо, снял с плеч сумку, положил ее на траву и присел на корточки над этим снарядом.

Было очень тихо и пахло болотом. Возле снаряда чуть покачивался стебель лебеды с белесоватыми листочками. И я вспомнил, что три дня назад мать варила щи с лебедой и вчера я доел последки. А сегодня мать обещала чечевичную кашу.

Мне вдруг представилась наша комната. Мать сидит на диване и что-нибудь штопает после работы, а кастрюлька с кашей, замотанная в одеяло, чтобы не остыла, стоит на столе. И тарелка, и ложка — на столе, дожидаются меня. А мать следит за стрелками часов на стене и сердится на меня. Но я уже никогда не приду, и каша остынет. Я подумал обо всем этом, и захотелось есть, хотя утром я напился чаю с хлебом. И еще мне стало жаль себя и мать. Нет, сначала — мать, а потом — себя. Я подумал о том, как ей нужно будет написать отцу и как он получит это письмо там, на фронте... И стало так невесело, что я готов был вскочить и, не разбирая пути, бежать от этого зенитного снаряда. Но в канаве за разбитой дорогой сидели Кирка и Вовка. Я не хотел, чтобы Вовка считал меня трусом. В драке мы были квиты; хоть он и подбил мне глаз, но кто смелей, было еще неясно. И я не побежал от этого снаряда, а протянул руку и осторожно тронул белый алюминевый конусок взрывателя. Он был такой теплый от солнца и безобидный. Я обхватил его пальцами и попробовал повернуть, но влажные пальцы скользили. Я вытер их о рубашку и попробовал снова. Взрыватель не отворачивался. Тогда я сел верхом на снаряд, захватил конусок двумя руками, сжал и попробовал повернуть вправо. Ничего не вышло. Оставалось только одно средство, самое верное, но самое опасное. Я достал из карманчика сумки свой нож и, затаив дыхание, тихонько стал постукивать им по краю взрывателя в том месте, где он вворачивался в головку. Я постукивал левой рукой, а правой старался хоть чуть-чуть повернуть. Но конусок не поддавался. Я весь взмок от страха и чувствовал, что сейчас заплачу, и от этого разозлился на себя и на дурацкий снаряд, сильно ударил по нему ручкой ножа. Удар пришелся вскользь, я потерял равновесие, свалился набок и ногой толкнул снаряд. Он откатился и ткнулся носом в холмик. Я закрыл глаза и прижался к земле всем телом, ожидая взрыва. От тишины заломило в ушах. Мне казалось, что я лежал очень долго, но когда поднял голову, то увидел, что с холмика, в который ткнулся снаряд, еще сыпалась стружкой сухая земля. Я хотел встать, но не смог, ноги были мягкими и непослушными. И тогда я подполз к снаряду, чувствуя, как сырость земли и травы проникает через одежду к локтям и коленям. И тут кто-то схватил меня за плечо.

— Хватит! — услышал я Киркин голос.

— Пусти! — Я дернул плечом. Но Кирка не убрал руку.

— Пошли, пока живы, Валя, — сказал он тихо.

А я разозлился.

— Лежи себе в канаве, и будешь жив. — Я повернулся и сел на землю спиной к снаряду.

Кирка взглянул на меня хмуро и сказал еще тише:

— Думаешь, я вернусь без тебя домой?

Было понятно, что он имеет в виду, и в душе я был рад, что он

остановил меня, но злость и недовольство собой заставляли меня ехидничать:

— А куда ты денешься?

— Денусь... минных полей хватает, — ответил Кирка, отвернувшись, и двинулся к дороге. И я встал и пошел за ним. Я брел позади, глядел под ноги, думая опасливо, что я все-таки, наверно, трус, потому что все время стараюсь доказать себе и другим свою смелость, и мне было очень скучно.

Солнце уже скрылось за Пулковской горой, когда мы начали спускаться в город. В тот день мы вернулись с богатой добычей: нашли шелковый мешочек — кисет — с порохом, еще моток бикфордова шнура и полевой телефон в зеленой деревянной коробке.

Обратный путь мы проделали без приключений, потому что в трамваях было уже много народу и кондукторы не замечали нас. Усталые, но довольные вернулись мы в наш двор. В разбитом флигеле у нас с Киркой был тайник, куда мы прятали свои сокровища. Мы ссыпали туда порох и положили моток шнура. Вовка помогал замаскировать все обломками кирпичей. Было решено, что завтра мы пойдем в Таврический сад.

Вообще-то мы с Киркой не ходили в Таврический, потому что один раз подрались там с какими-то парнями и, кроме того, сад этот был большой и казался пустым и заглохшим. Мы любили Летний, потому что там было много народу, можно было поиграть в волейбол в кружок и почти все ребята были знакомы нам. Но Вовка сказал, что в Таврическом он знает одного парня, у которого есть осветительная ракета с парашютом, и, может быть, этот парень сменяет свою ракету на порох и бикфордов шнур. Таких ракет нам с Киркой ни разу не попадалось, и мы, конечно, согласились пойти в Таврический.

Коробку с телефоном я взял домой, чтобы разобрать и вытащить из индуктора магниты. У нас существовало разделение труда; я считался механиком, и если нужно было разобрать какой-нибудь механизм или что-то разрядить, то это делал я, потому что до войны мой отец работал слесарем и дома был разный инструмент. А если случалась работа по дереву, то ее делал Кирка. Его отец был столяром, и Кирка умел строгать рубанком, в его распоряжении были отцовские стамески, коловорот и пилы по дереву. И токарный станок, который мы нашли на чердаке, Кирка по праву взял себе.

Вот я взял телефон, и мы разошлись по домам, договорившись встретиться завтра. А назавтра мы долго ждали Вовку Земскова в нашем дворе, но он не появился. Потом мы полезли в тайник и обнаружили, что он пуст. Не было ни пороха, ни бикфордова шнура.

Так Вовка Земсков сделал нам первую пакость.

2

Раньше я никогда не думал, что буду шофером. Да и Кирка, наверное, тоже. Сначала мы хотели стать моряками, читали книги про море и парусники. Потом увлеклись авиамоделями и уже читали про самолеты. Была такая довоенная книга «Ваши крылья». В ней расска-

зывалось, как управлять самолетом, делать взлет и совершать посадку. Это была очень хорошая книга, и мы прочитали ее несколько раз. В школе мы серьезно относились к математике и физике и пренебрегали историей и литературой.

Вообще-то, надо сказать прямо, в школе мы не были в числе отличников. Нет, не то чтобы мы были отчаянными разгильдяями. Но нам постоянно не везло. Это невезение началось в шестом классе.

Шел сорок седьмой год, и уже почти забылась блокада, вернулись в свои комнаты и квартиры люди, уехавшие в тыл в начале войны; отстроили разрушенные бомбами и снарядами дома. И в школах стало много учеников. В нашем шестом «в» было сорок человек. Тогда мальчишки учились отдельно от девочек. Сорок мальчишек, сорок жизнерадостных, заряженных дьявольской непоседливостью оболтусов, воображавших себя бывалыми людьми.

Те, кто прожили войну в Ленинграде, гордились своей осведомленностью в военных вопросах, кичились рубцами от ран. Правда, раны эти были получены не в бою, они происходили от неумелого обращения с разными боеприпасами. Эти опасные игры даже стоили жизни нескольким подросткам в городе. Ленинградские газеты часто писали о таких происшествиях и предупреждали школьников, чтобы они не трогали незнакомые предметы в окрестных лесах. Но предупреждения эти действовали мало. И у нас в классе было несколько человек с рубцами на ногах и руках. А Генка Сизов ходил с черной повязкой, закрывавшей правый глаз. И у меня осталась память о том времени. Так вот, эти рубцы были предметом гордости, свидетельством того, что мы — суровые люди, не раз видавшие смерть.

Парни же, вернувшиеся из эвакуации, рассказывали о сибирских и уральских городах, о тайге и казахстанских степях. Тревожный соблазн дальних странствий был в их рассказах.

Но учителя, конечно, не принимали в расчет этих различий. Они старались обучить нас географии, литературе, алгебре и физике и с удручающим постоянством ставили двойки и единицы и тем, кто имел почетные ранения, и тем, кто повидал далекие города, если они не знали уроков.

Мы с Киркой были в особенно невыгодном положении, потому что учителя настолько привыкли видеть нас вдвоем, что как-то автоматически ставили двойки и тому и другому. Если меня вызывали к доске и я не мог доказать теорему, то на помощь вызывали Кирку, и мы оба получали по двойке. Даже из наших двух фамилий учителя, для удобства произношения, создали какой-то гибрид, потому что отдельно каждого из нас не упоминали. Географичка и классный руководитель Вера Васильевна так и произносила: «Сероницын» — вместо Серов, Синицын. Таким образом она сэкономила время урока. И если что-нибудь — случайно, конечно, — грохало на нашей парте или один из нас нарушал дисциплину, то все равно выгоняли обоих: «Сероницын, выйдите из класса». Нам было труднее других учеников на уроке математики. Математик Владимир Семенович перед опросом пристально оглядывал класс. Он говорил, что по глазам узнает тех, кто не приготовил домашнего задания. И узнавал.

Когда он пристально оглядывал замерший класс, многие опускали головы или старались придать лицу безразличное выражение, как

бы говорившее: «Мне все равно вызовете или нет, потому что у меня — все в порядке». Кое-кому удавалось такими способами провести Владимира Семеновича, но нас он ловил всегда, потому что либо я, либо Кирка чем-нибудь выдавали себя. Правда, мы любили математику и уважали Владимира Семеновича и поэтому редко приходили на его уроки, не сделав домашних заданий.

В те годы в Ленинграде было много ремесленных училищ, военных спецшкол, суворовское и нахимовское. И многие ребята собирались поступать в эти училища после шестого класса. Поэтому ближе к весне на переменах часто обсуждались достоинства разных профессий. Мы с Киркой тоже подумывали о летной спецшколе. Мы иногда встречали на улице подтянутых ребят в форме военных летчиков и знали, что школа эта находится напротив Дома культуры имени Капранова. Нас очень привлекала летная форма, возможность отдавать честь встречным военным и все такое, что обычно привлекает мальчишек известного возраста. Но в классе мы предпочитали умалчивать о своих планах. А вдруг не выйдет с поступлением — ведь тогда засмеют. Перед нами был наглядный пример. Игорь Никитин — парень, живший на нашей улице и учившийся в шестом «а», — проговорился кому-то, что будет поступать в школу юнг. Об этом моментально узнали оба класса, и уж больше никто не называл его по имени. Обидно-насмешливая кличка Мореход прилепилась к нему. А Игорь — вечный обитатель «камчатки» — был тихим безвредным парнем, немного сутулящимся, потому что стеснялся своего высокого роста. И мне иногда становилось даже обидно за то, что он покорно отзывался на эту насмешливую кличку. Вот по этим соображениям мы с Киркой не распространялись в классе о своих планах, тем более что опыт одной неудачи у нас уже был.

В сорок четвертом году летом были учреждены нахимовские училища. И одно из них открылось в Ленинграде. Мы с Киркой сразу кинулись узнавать правила приема, потом стали ходить по врачам, собирать разные справки. Это было хлопотливое занятие, но нам очень хотелось в нахимовское. В мечтах мы уже видели себя в морской форме, с лихо сдвинутыми набекрень бескозырками. Но у действительности есть одно досадное свойство — она всегда отличается от мечты. И в действительности нас не приняли в это великолепное училище, и брюки клеш и бескозырки так и остались предметом мечтаний. Не приняли нас потому, что желающих поступить было очень много, а предпочтение отдавали тем, у кого отцы служили морскими офицерами. Наши же отцы были простыми солдатами-пехотинцами.

Не попали мы и в летную спецшколу, потому что в том году, когда мы окончили седьмой класс, эту школу просто расформировали. Я не жалею об этом. Думаю, что Кирка — тоже. Но в то лето нам было немного грустно. А наши матери, пожалуй, были довольны. Они очень хотели, чтобы мы учились дальше и получили среднее образование. А в нас вдруг поселилось чувство некоторой обиды на жизнь, которая обманула нас. И чувство это было тем обиднее, что винить было некого.

Бывали другие обиды, маленькие и большие, но они вызывали лишь злость к конкретным обидчикам. Помню, как вскоре после зна-

комства с Вовкой Земсковым (мы тогда уже рассчитались с ним за украденный из тайника порох) нам с Киркой пришлось пережить унижение.

После истории с порохом Вовка избегал появляться у нас во дворе. А если и заходил, то всегда не один, а с кем-нибудь из мальчишек. Мы не собирались его колотить каждый день, считая, что за порох было достаточно и одной трепки, но он побаивался. Я заметил, что некоторые люди, когда боятся, ведут себя нагло. Вовка Земсков был именно такого сорта. И когда он заходил в наш двор с кем-нибудь, то ужасно нагел. В тот раз он был с Юркой Гориллой. Гориллу мы знали давно, он жил в доме напротив и получил свое прозвище за очень длинные руки и выдающуюся вперед нижнюю челюсть. В анналы нашей улицы он вошел следующим случаем.

Во дворе дома девятнадцать посередине стояла массивная гранитная колонна высотой в три с лишним метра. Колонна кончалась прямоугольной чугунной плитой, на которой когда-то был большой фонарь. От него осталось лишь два ржавых штыря, торчавших из плиты. Мы взбирались на эту колонну, полого приставив к ней длинную доску, и прыгали вниз. Это было испытанием храбрости, проводившимся один-два раза за лето. Тот, кто отказывался от испытания, подвергался насмешкам и презрению всех мальчишек нашего квартала. Скажу честно, испытание это было рискованным и требовало мужества. Глупо, конечно, когда человек без причины рискует переломать себе ноги. Но тогда нам было по тринадцать лет, а жизнь не очень торопилась поставить перед нами цели, которые оправдали бы такой риск. И мы проверяли себя таким, несколько первобытным способом; в мальчишеской среде, как в древнем охотничьем племени: чтобы стать равным со всеми, нужно пройти обряд посвящения.

Прыгать было страшно. С маленькой прямоугольной плиты, на которой едва умещались ступни, в ноги вдруг передавалась какая-то шаткость. Кирка в свое время даже выдвинул оригинальную физическую гипотезу о том, что на вершине колонны заметнее чувствуется вращение Земли. Я без особой критики принял Киркину гипотезу, потому что, когда, стоя на плите, оглядывал окна второго этажа, казалось, что стены вместе с окнами начинают медленно вращаться вокруг колонны. Я опускал взгляд, и серые потрескавшиеся плиты, которыми был вымощен двор, казались подавляюще далекими, и мерещилось, что они, покачиваясь, уходят еще дальше. И тогда вдруг возникали тоскливые мысли о ненужности этого прыжка, но опасение прослыть трусом и подвергнуться насмешкам пересиливало страх высоты, и, присев на корточки, я прыгал с колонны на серые плиты двора. Только много позже я понял, что более чистопробным мужеством было бы не убояться насмешек товарищей и не прыгать. Но я не обладал таким мужеством в тринадцатилетнем возрасте.

И вот Горилла был знаменит тем, что струсил и не прыгнул с этого гранитного столба.

Он вскарабкался по занозистой доске до верха и, пошатываясь, встал на чугунной прямоугольной плите. Мы, человек десять мальчишек, задрав головы, стояли и смотрели на Гориллу, и во дворе дома девятнадцать было очень тихо. Ждали долго, а Горилла все стоял.

— Давай, Юрка, — негромко подбодрил его кто-то.

А Юрка Горилла не думал прыгать, он нагнулся к доске, собираясь слезть. Но спуститься с колонны было труднее, чем взобраться. Я, правда, ни разу не пробовал слезть с нее по доске, но знал, что трудно. И Горилла тоже понял это и сидел в задумчивости на чугунной верхней плите колонны, держась за один из ржавых штырей. Сомнения Юрки Гориллы разрешил Пашка Березкин. Он подошел, ухватил доску за нижний конец и дернул. Доска с сухим громким стуком упала на каменные плиты двора.

— Пошли, — сказал Березкин и направился к воротам. Мальчишки цепочкой неуверенно потянулись за ним. Мы с Киркой тоже пошли к воротам. Кто-то впереди засмеялся, смех подхватили остальные. Засмеялся и я, ускорив шаг. Но у самых ворот будто что-то толкнуло в спину и заставило оглянуться. Горилла скорчился на вершине каменного столба и молча смотрел нам вслед. И мне стало как-то не до смеха от его взгляда.

Горилла просидел на столбе до вечера, пока ему не помог управхоз. С тех пор жестокое наше мальчишеское братство относилось к Юрке с некоторым презрением, и поэтому в нем появилось подхалимство. Вот так иногда несправедливость товарищей может воспитать в человеке не очень приятные свойства. Горилла заискивал перед всеми, лишь бы ему не поминали то столбовое сидение. И когда на нашей улице появился Вовка Земсков, Горилла прилип к нему.

И вот они зашли в наш двор. Мы с Киркой сидели на стене разбитого флигеля, грелись на солнце и читали прекрасную книгу «Тайны стекла».

Вовка встал под стеной и крикнул:

— Эй, пошли купаться!

День был не очень теплый, но разве можно было отказаться от купания. И мы спустились со стены.

— Здорово, — сказал Горилла.

Мы пожали друг другу руки. Я посмотрел на Вовку Земскова, не затаил ли он какой-нибудь подвох. Но светлые его глаза глядели невинно и нагло.

— Ну, пошли, — сказал Кирка и положил книжку за пазуху.

— Айда, — отозвался Вовка, потом, пристально глядя на меня, порылся в кармане, вытащил две конфеты в синей обертке. Одну он дал Горилле, а другую развернул и с видимым удовольствием отправил в рот. Вовка и Юрка стояли и жевали конфеты, а мы с Киркой смотрели на них. Давно уж мы не пробовали шоколадных конфет, даже забыли, что они существуют на свете. Такие лакомства остались где-то в далеких довоенных временах, когда мы были совсем малышами. И мы с уважением смотрели на Земскова и Гориллу, жующих конфеты. Вовка тоже пристально смотрел на нас, наслаждаясь произведенным впечатлением. Потом, переглянувшись с Гориллой, полез в карман и, вынув две конфеты, протянул их нам на ладони.

Еще не совсем веря в эту Вовкину щедрость, мы взяли по конфете. Бережно раскрывая обертку, я почувствовал, как рот наполнился слюной, и уже предвкушал сладость и удовольствие. Но вдруг услышал сердитое Киркино сопение. Я искоса бросил на него быстрый взгляд, увидел напряженное побелевшее лицо и прикушенную ниж-

нюю губу и удивился: чему бы это Кирка рассердился? А пальцы мои в это время делали свое дело. Они развернули конфету и поднесли ее к губам, зубы сами впились в податливый коричневый кирпичик... и во рту сразу появился отвратительный привкус смолы и кerosина. Я выплюнул эту пакость, посмотрел на остаток «конфеты» в пальцах и понял, что нам подсунили пластилин.

— Хи-хи-хи, — тонко, неестественно засмеялся Земсков. Ему подхалимски вторил Горилла.

Мне было обидно, и к горлу подступила тошнота. Кирка сжал кулаки и шагнул вперед. Горилла перестал смеяться и трусливо спрятался за спину Земскова. Вся улица знала о спокойном Киркином характере, но было известно и то, что испытывать его спокойствие не рекомендуется. И Вовка Земсков уже хорошо знал это. Он сказал миролюбиво:

— Ну ладно, сразу драться, да? — Его писклявый голос звучал испуганно. — Подумаешь, купи и меня на чем-нибудь.

Кирка опустил кулаки. Все-таки он был очень спокойный.

Обида моя прошла, сменилась злостью, но раз Кирка не стал драться, то не стал и я. Мы пообещали Земскову и Горилле поднадавать в другой раз, помирились и отправились купаться к Преображенскому собору.

Если идти по улице Пестеля к Литейному, то увидишь высокую церковь с белоколонным портиком. Она стоит в небольшом сквере со старыми деревьями, в кронах которых издавна гнездятся вороны. Сквер окружен оградой, сделанной из стволов старинных пушек. Перед сквером — небольшая булыжная площадь. И вот летом сорок третьего года на площади появились солдаты. Они сняли булыжник ломом и за несколько дней выкопали посередине большой квадратный пруд. Дно и стенки пруда обмазали зеленой глиной, чтобы не уходила вода, а потом начали наполнять эту огромную ванну пожарными рукавами. Три дня наполнялся пруд, и за это время все мальчишки окрестных улиц успели побывать возле церкви, окруженной старинными пушечными стволами. И не было конца самым фантастическим предположениям о назначении этого пруда. Кто говорил, что это — запас воды на случай, если будет поврежден водопровод, хотя было непонятно, зачем такой запас, когда через город течет чистая полноводная Нева. Кто-то предположил, что пруд вырыт для маскировки, и это тоже казалось нелепым: зачем маскировать небольшую площадь возле церковного сквера. Дальновиднее всех оказался мой друг Кирка. Он сказал:

— Можно будет купаться.

И это Киркино утверждение было столь очевидным, что даже самые завзятые скептики не решились его опровергнуть. И правда, через неделю, как только немного согрелась под солнцем вода, мы уже купались в этом пруду, пачкая подошвы ног липкой зеленой глиной. А назначение пруда выяснилось просто и неожиданно. В церковный сквер приехал небольшой грузовичок, в кузове которого стояла лебедка с большой катушкой тонкого стального троса. Девушки, бойцы частей противовоздушной обороны, принесли несколько длинных колбас-газгольдеров из зеленой прорезиненной ткани. Газгольдеры, хоть и были величиной с цистерну, легко плыли в воздухе,

а девушки только придерживали их за веревки, чтобы не улетели. Из этих колбас наполнили серебристый азростат. Мы были свидетелями этого зрелища.

Из большого мешка вынули тук какой-то белесой ткани. Ее долго разворачивали, расправляли, привязывали идущие от нее веревки к специально вкопанным столбикам. Потом подсоединили трубки от газгольдеров, и на наших глазах бесформенная белесая материя стала наполняться и приобретать обтекаемую, ласкающую глаз форму азростата. Когда оболочка туго надулась, а газгольдеры превратились в пустые мешки, азростат покрыли зеленой маскировочной сеткой с нашитыми зелеными тряпочками, которые изображали листья. Кругом на столбиках развесили таблички с надписью: «Курить строго воспрещается». Вот тогда мы с Киркой поняли, для чего выкопан пруд. Ведь азростат наполнялся водородом, который легко воспламеняется. Значит, наш пруд был просто пожарным водоемом. И это еще раз показало Киркину догадливость, потому что, хоть водоем и был пожарным, купаться нам не возбранялось. Девушки из азростатного расчета не прогоняли нас от пруда, а иногда даже угощали хлебом с мясной тушенкой.

Пожарный водоем и азростат были нашим первым близким знакомством с миром взрослых людей, с их работой. Правда, работа эта была не очень обычной, но косвенно она повлияла на выбор профессии. Хотя мы с Киркой тогда еще не думали, что станем шоферами.

Девушки дежурили у азростата, чтобы по первому сигналу воздушной тревоги эта серебристая торпеда поднялась в небо. Мы с Киркой уже знали, что азростат затрудняет маневры немецких бомбардировщиков.

Когда небо над городом покрывается круглыми облачками разрывов зенитных снарядов, самолеты стараются увернуться от взрывов и осколков, ищут непростреливаемый квадрат. Для этого они делают резкие повороты, меняют высоту. И вот тут их подстерегают азростаты на своих стальных тросах. Азростаты образуют такую сеть, в которой может запутаться «юнкерс». А если он зацепит крылом трос азростата, то крыло обломится и самолет упадет. Во время воздушных налетов много азростатов висело над городом. Девушки из расчета следили за оболочкой. После каждого подъема проверяли, не пробита ли она осколками и пулями. Но самым главным в расчете мы считали Федю, шофера грузовичка, в кузове которого стояла лебедка с азростатным тросом. По сигналу тревоги Федя, сдвинув пилотку на левую бровь, прыгал в кабину и заводил мотор. Девушки быстро снимали зеленую маскировочную сетку, отвязывали от столбиков удерживающие веревки и, то натягивая, то отпуская их, управляли азростатом, чтобы он не зацепился за ветки деревьев в церковном сквере. Когда азростат поднимался выше деревьев, девушки отпускали веревки и Федя прибавлял обороты двигателя, быстрее разматывая трос с барабана лебедки. Девушки загоняли нас в небольшую траншею, выкопанную тут же в сквере, и прыгали туда сами. Мы садились на корточки, прислонялись спиной к обшитой досками стенке траншеи и, задрав головы, смотрели сквозь дубовую листву, как подымается все выше и выше серебристая торпеда азро-

стата. Отрывисто и звонко начинали лаять скорострельные зенитки, и осколки барабанили по крышам окрестных домов.

Мы чувствовали себя надежно укрытыми в неглубокой узкой траншее рядом с девушками в защитных пилюках и гимнастерках. А шофер Федя на открытом, даже не защищенном деревьями месте сидел в маленьком грузовичке, наполовину высунувшись из кабины в открытую дверцу, смотрел в небо и все разматывал бесконечный трос аэростата. Небо пестрело заплатами разрывов, проблесками трассирующих пуль, и грохот стоял вокруг. А маленький грузовичок казался таким одиноким и беззащитным, что сердце екало от страха за Федю.

Но вот по радио раздавались мелодичные звуки отбоя воздушной тревоги. Аэростат быстро спускался, девушки закрепляли его и укрывали маскировочной сеткой. Федя выходил из машины, делал несколько приседаний, разминая ноги, потом доставал спички и, отойдя подальше от аэростата, зажигал сигарку.

— Зачехлить лебедку! — командовал он с улыбкой. И мы с Киркой прыгали в кузов грузовичка, разворачивали зеленый брезентовый чехол и натягивали его на барабан лебедки.

Мы как-то незаметно сдружились с Федей и не чувствовали никакой разницы в возрасте. Федя был очень молод, и ухватки у него еще остались мальчишеские. Он с удовольствием купался с нами в холодноватом пруду на площади, играл в шахматы, шумно радовался, когда выигрывал, и огорчался проигрышам — правда, проигрывал он только Кирке, а меня всегда побеждал.

Мы с Киркой настолько привыкли к Феде и девушкам, что и сами чувствовали себя бойцами этого аэростатного расчета. Вместе с Федей мы до блеска натирали мягкой ветошью капот и передние крылья грузовичка, набивали тавотом масленки на подшипниках лебедочного барабана, брезентовыми ведрами таскали воду из пруда. Мы очень гордились своей дружбой со взрослыми людьми и чувствовали, что Федя и все девушки относятся к нам по-дружески.

А когда на зеленой подводе, запряженной понурой мохноногой лошастью, привозили в больших прямоугольных термосах суп и кашу для всего расчета, нас тоже сажали обедать. Было очень неловко входить под брезентовый зеленый навес, где стоял грубо сколоченный стол. Мы с Киркой знали время обеда и всегда старались улизнуть заранее, потому что в Ленинграде солдатский паек в те времена был ничуть не больше пайка рабочего и объедать Федю и девушек мы не хотели. Они делали трудное и важное дело. Иногда воздушные тревоги длились целыми ночами, и весь расчет не спал. Утром Федя выглядел осунувшимся и усталым. Мы понимали, что полуголодным не спать всю ночь очень трудно. Мы ведь и сами жили впроголодь — нет, голода уже не было, потому что блокаду прорвали и в городе стало больше еды. Но все-таки мы старались незаметно исчезнуть, когда приближался обеденный час. Это, конечно, заметили девушки и Федя. И вот однажды, когда мы появились после обеда, Федя сказал:

— Будете убегать, больше не подпущу к машине.

— Мы домой есть ходили, — соврал Кирка.

— Понятно, — сказал Федя, пристально глядя на нас.

Мы молча опустили головы. А он добавил негромко:

— Больше так не делайте.

С того дня мы с Киркой почти все лето обедали с девушками и Федей. Нам наливали на двоих полный солдатский котелок перлового супу с американской консервированной колбасой, на второе давали пшенную кашу, заправленную комбижиром. Еда была сытной, вкусной, и после нее клонило в сон.

В то лето многие еще не оправились после блокадной зимы. У Пашки Березкина шатались зубы от цинги, у Гориллы все руки были в фиолетовых, как старые кровоподтеки, пятнах — тоже цинга. И у Кирки, и у меня были такие пятна, но прошли они скоро. И бегали мы быстрее, были выносливее других мальчишек на нашей улице. Я думаю, что за это нужно благодарить девушек и Федю, делившихся со мной и Киркой своим солдатским обедом.

Вообще мы многим обязаны этой аэростатной команде — всем девушкам и особенно Феде. Они казались нам очень взрослыми, а на самом деле были старше всего на несколько лет — Феде было восемнадцать, а многим девушкам, наверное, даже меньше. Да, по возрасту они были почти детьми, но они, конечно, были взрослыми. В последнее время я начал понимать, что взрослость человека не всегда соответствует его возрасту. Ну вот хотя бы то, что девушки из аэростатного расчета и шофер Федя всегда относились к нам с добротой и никогда не проявляли высокомерия. А много ли мы с Киркой обращаем внимания на мальчишек младше нас, которые теперь собираются в нашем старом дворе, гоняют в футбол на Артиллерийской улице между красными кирпичными корпусами — там же, где играли и мы. Много ли мы знаем об этих мальчишках, которые младше нас на несколько лет? Мы просто не замечаем их с высоты своего возраста. Мы как-то слишком заняты своими интересами и делами, чтобы замечать тех, кто младше нас. А наверное, нужно, чтобы каждому в детстве встретился Федя.

Это Федя был первым в нашей жизни взрослым человеком, который всерьез говорил с нами о работе, рассказывал, как устроен автомобиль и как работает двигатель. И Федя, впервые в нашей жизни, привел нас в гараж.

Был пасмурный прохладный день, поверхность пруда казалась огромным квадратным листом оцинкованного железа, брошенным на булыжную мостовую. Площадь была безлюдна; слепо поглядывали окна домов с пыльными стеклами, заклеенными крест-накрест полосками пожелтевшей бумаги. В такую погоду можно не ждать воздушной тревоги.

Мы подошли к грузовичку. Федя выгружал из кузова бухты запасного троса, ведра, лопату, ломик и всякую всячину, обычную в шоферском хозяйстве. Мы с Киркой помогли ему отнести все это в сквер к аэростату, сложили в кучу и прикрыли брезентовым чехлом от лебедки.

— Давайте в кабину, — коротко приказал Федя. — Поедем в гаражи на профилактику.

Мы с Киркой обрадовались. Еще бы, не часто нам удавалось прокатиться на машине по городу, а в гараже мы не бывали вообще

никогда. Правда, мы немного поспорили, кому сидеть рядом с Федей, а кому — возле дверцы кабины. Но Кирка был человек уступчивый, и я уселся ближе к рулю. Договорились, что на обратном пути это место займет Кирка.

Федя сел за руль, скрутил газетную сигарку, закурил — и мы тронулись в путь.

В то время в городе было совсем мало машин, и улицы казались просторными и свободными. Не было почти и светофоров.

Федя вел свой грузовичок по самым красивым местам Ленинграда. Мы промчались мимо Марсова поля, на котором под зелеными сетками стояли зенитки. Набережная Невы мягко подбрасывала машину на крутых мостиках через Фонтанку и Лебяжью канавку. Потом мы снова повернули на Литейный проспект, проехали по тихой улице Каляева.

Я люблю Ленинград в неяркие дни, когда улицы наполнены мягким сизоватым светом. В этом свете очертания шпилей и дворцов становятся легкими, воздушными, и лепнина фасадов похожа на тонкое кружево, и не видно щербин на граните от бомбовых и снарядных осколков. А когда светит солнце, эти щербинки зияют как раны. Колонны Исаакия и парапеты набережных были избиты осколками. Мы с Киркой не могли смотреть на эти колонны без боли. Но мы верили, что фашисты заплатят за все: за гибель наших сверстников, за голод, за бомбежки, за убитого в зоопарке слона и за эти израненные колонны. Но в тот день спокойный сизоватый свет замаскировал раны на фасадах, сделал незаметнее замурованные кирпичом окна первых этажей с пулеметными амбразурами; и казалось, что нет никакой войны.

Гараж размещался в старинных кирпичных конюшнях. Над полукруглыми воротами красовались лепные лошадиные головы. В бывших денниках стояли трофейные легковые машины и были устроены мастерские.

Мы с Киркой никогда не видели столько машин сразу. Здесь были длинные черные «оппель-адмиралы», маленькие прямоугольные «кадеты», обтекаемые «капитаны» с утопленными в передние крылья фарами, что казалось тогда необычным и новым. Были и наши «эмки», «козлики» и огромные черные, похожие на бегемотов ЗИСы с красными, отделанными никелем флажками на капотах. Но больше всего нас поразила кузница.

В отдельном кирпичном сарае что-то монотонно и глухо гудело и раздавались тонкие частые звоны, а потом тяжело ухало. Мы с опаской растворили железную дверь, и полыхнули в лицо добела раскаленные куски кокса в горне и яркое бездымное пламя над ними. Горн — это такая кирпичная печь, открытая сверху, а над ней жестяной колпак для вытяжки дыма. А снизу в горн насосом подается воздух, чтобы жарче было пламя. В кузнице стоял смешанный запах горького коксового дыма, раскаленного металла и горячего воздуха. Наконец наши глаза, ослепленные ярким пламенем, привыкли к полутьме, и мы увидели большую темную наковальню на толстой деревянной плахе. Двое высоких мужчин в длинных фартуках ковали что-то искрящееся и ослепительное. У одного в руке был молоток, которым он звонко стучал по наковальне, а другой со всего маха бил

и бил большой тяжелой кувалдой. И металл под ударами сыпал искры и сминался податливо, как пластилин. Зачарованные, стояли мы и смотрели на раскаленный брусок железа, который менял свою форму под ударами кувалды. Вот он вытянулся, стал тоньше, на концах его появились круглые плоские площадочки. Кузнец отложил молоток и взял пробойник. Придерживая раскаленный брусок клещами, он наставлял пробойник на площадки, а молотобоец тихонько ударял кувалдой, и в площадках появлялись аккуратные круглые отверстия; и уже что-то знакомое напоминал мне этот красный кусок железа, будто я где-то уже видел такой раньше, и я силился узнать, что это. А в это время кузнец положил уже темно-вишневое железо на край наковальни и молотобоец несколькими точными ударами согнул его под прямым углом. И тут Кирка толкнул меня в бок локтем:

— Смотри, кронштейн для подножки.

Я молча кивнул, а сам почувствовал досаду, что не смог узнать первым этот кронштейн. Ведь именно такой сломался у Феди на машине. На этом кронштейне, привернутая маленькими болтиками, держалась подножка автомобиля. Кирка оказался наблюдательнее меня.

Кузнец несколькими легкими ударами молотка оправил уже готовый кронштейн, швырнул его в угол кузницы на пол, посыпанный крупным песком, и положил клещи.

— Перекур! — весело крикнул он молотобойцу и повернулся к нам. — А вы кто такие? — Кузнец сделал страшные глаза, но мы поняли, что он просто шутит.

— Это мои хлопцы, — сказал Федя, появившийся позади нас. — Вот на ремонт приехали.

— Ну, с помощниками легче. Это для тебя кронштейн? — спросил кузнец.

— Да, — сказал Федя, — старый был штампованный, полетел.

— Ну, этого тебе до Берлина хватит. Остынет, пришьешь парней.

— Спасибо, — поблагодарил Федя, угостил кузнецов махоркой, и мы пошли к машине.

Мы провели в гараже весь день и открыли для себя новый увлекательный мир. Было что-то неодолимо влекущее в полуразобранных автомобилях, во вскрытых промасленных утробах моторов, в самом воздухе, пахнущем угаром автомобильного выхлопа, бензиновыми парами и смазочным маслом.

Мы помогали Феде, зачищали мелкой шкуркой поверхность тормозных барабанов, подавали гаечные ключи, когда Федя стоял в смотровой канаве под машиной, светили лампой-«переноской». Федя объяснял нам назначение разных деталей, переспрашивал, чтобы убедиться, что мы запомнили и поняли его. Попутно учил нас первым приемам работы. Когда он попросил отвертку, я подал ее лезвием вперед. Федя взял, посмотрел на меня и сказал:

— Запомни: инструмент нужно подавать ручкой вперед. Человек берет не глядя, и ты должен вложить ему сразу в руку.

И я запомнил это первое рабочее наставление, и потом оно со служило мне добрую службу.

В тот день мы узнали много нового, но самым главным было

сознание того, что автомобиль — не просто механизм, на котором приятно прокатиться по городу, а сложное умное устройство, состоящее из множества частей. И у нас с Киркой появилась надежда, что и мы когда-нибудь сумеем управлять автомобилем. Но тогда мы еще не думали, что станем шоферами...

3

Осенью сорок четвертого года оборвалась наша дружба с Федей и девушками аэроостатного расчета.

Сентябрь выдался ясный и теплый, и в школу мы ходили без пальто. Вообще этот год был первым послеблокадным учебным годом. Мы пришли в непривычно светлую, свежеремонтированную школу. В чистых классах поблескивали заново покрашенные парты, и в окнах были теперь стекла вместо старой фанеры. И у всех было радостное ощущение нового, предчувствие уже близкой победы. Фронт отодвинулся далеко от города, наша армия гнала врага все быстрее на запад. Но аэроостатный расчет еще оставался в церковном сквере, и мы прибегали к Феде после уроков. Воздушные тревоги теперь объявлялись редко. Федя скучал, с нетерпением ждал, когда его часть двинется за наступающими войсками.

Нам было грустно от предстоящей разлуки с Федей и девушками, хотя мы не думали, что она произойдет так неожиданно и скоро. Но в один ветреный день мы пришли к церковному скверу, а там уже никого не было. На чуть примятой траве не осталось даже мусора. Исчезли газгольдеры и аэроостат, исчезли палатка и грузовичок. Песчаная дорожка была аккуратно подметена, только неглубокая траншея — укрытие — напоминала о том, что здесь были люди, да еще тускло переливалась поверхность пруда. Было грустно оттого, что мы не попрощались с Федей и девушками. Так и ушли из нашей мальчишеской жизни эти хорошие люди. Но я запомнил всех, и Кирка тоже запомнил. Только мы не говорили об этом, но я знаю, что он не забыл.

Феди уже не было, но он помог нам еще один раз.

С самого начала учебного года в нашем классе иногда стали пропадать завтраки, кто-то вытаскивал их из портфелей. Впрочем, название «завтрак» было весьма условным для двух-трех тощих ломтиков хлеба с маргарином или повидлом, но мне до сих пор кажутся вкусными бутерброды тех времен.

Пропажи обычно обнаруживались на большой перемене. Чаще всех страдал Вовка Бурыгин, тихий безобидный мальчик, живший неподалеку от нас. У Вовки умерли в блокаду мать и сестра, и он остался с бабушкой, которая почти не выходила из дому. Вовка никогда не играл с нами в футбол, не болтался по улицам, потому что на нем лежала вся домашняя работа и стояние в очередях. Я испытывал какое-то смешанное чувство вины и неловкости, когда жевал свои бутерброды, сидя верхом на парте, а Вовка Бурыгин, обнаружив пропажу, с грустной покорностью расправлял розовый бумажный пакет, в котором всегда носил свои завтраки. Еда пропадала и у других

ребят, но больше всех мне было жаль Вовку Бурьгина, потому что он был самым безответным.

Из-за этих пропаж в классе сгустилась подозрительность, мы уже не верили друг другу. Но по какому-то молчаливому соглашению никто не говорил учителям о пропажах. Может быть, казалось, что и учителя теряют доверие к нам.

Классное собрание организовалось стихийно. После уроков никто не сорвался с места, как обычно. Только Бурьгин расправил свой розовый пакет, уложил его в матерчатую сумку, с которой после школы ходил в магазин, и направился к дверям.

— Ты куда? — окликнул его Валерка Парамонов. Валерка был у нас старостой и уже занял место за учительским столом.

— Мне крупные карточки отоварить надо, — ответил Вовка. Он постоял, глядя в пол, переминаясь с ноги на ногу, и вышел, притворив дверь.

Несколько мгновений в классе стояла тишина, потом закричали все сразу. Валерка Парамонов поднялся и заорал:

— Тише! Давайте по очереди!

Но по очереди не получалось, и хоть в классе стало потише, но все равно говорили одновременно несколько человек. В основном поступали предложения, что сделать с тем, кто ворует завтраки: набить морду, выставить на позор с плакатом на груди и так далее. Кто-то недоуменно спрашивал время от времени:

— Почему всегда у Бурьгина?

Шума и возмущения было много, а толку мало. Конец всему положил Кирка. Он вскочил на парту, дождался, пока наконец немного утихнут беспорядочные выкрики, и спокойно, но внятно сказал:

— Надо поймать этого гада, а потом придумаем, что с ним сделать.

И сразу стало тихо.

— А как поймать? — неожиданно громко в этой тишине раздался вопрос Вовки Земскова.

Мне не понравилась интонация Земскова. Чувствовалась в ней скрытая насмешка. Я посмотрел на него. Земсков исподлобья глядел на Кирку и криво улыбался.

— Поймаем, — спокойно ответил Кирка, соскочил с парты и взял портфель.

Домой мы возвращались, как всегда, вместе. Кирка, насупившись, помахивал портфелем, а я все не мог забыть ехидный вопрос Земскова «А как поймать?». Собственно, в этом вопросе не было ничего неожиданного, но я не мог отделаться от неприятного чувства, вызванного Вовкиной интонацией. Я не хотел говорить об этом Кирке, не хотел высказывать вслух свои подозрения. Мы оба не очень любили Вовку Земскова, но эти подозрения шли вразрез с нашим понятием о справедливости. Поэтому я и гнал их от себя. Ведь очень неприятно, когда тебя в чем-нибудь подозревают, а ты не виноват.

Взрослые часто думают, что только у них есть чувство справедливости. И в этом они не совсем справедливы. В мире детей она проще и яснее — там за проступком сразу следует возмездие, но там нет тайной подозрительности. Да и не такими уж мы были детьми. Мы рядом со взрослыми пережили блокаду, голодали вместе с ними,

вместе с ними верили в нашу победу. И потом, дети всегда ведь живут рядом со взрослыми. Так неужели они не могут научиться у них хотя бы справедливости.

Нет, я не мог высказать вслух подозрения насчет Вовки Земскова, хотя мне и не нравилась ехидная интонация его вопроса. Я только озабоченно спросил у Кирки:

— Что будем делать?

Честно говоря, я считал, что Кирка поступил опрометчиво, так уверенно пообещав поймать похитителя бутербродов. Но слово было сказано и уже требовало поступков.

— Нужно поймать, — коротко ответил Кирка.

— А как поймать? — разозлился я и вдруг услышал в своем вопросе интонацию Вовки Земскова. — Нашелся Шерлок Холмс, — добавил я насмешливо.

Кирка хмуро посмотрел на меня, усмехнулся и спросил:

— Помнишь, ты штаны разорвал?

Неделю назад, перед тем как аэроstatный расчет снялся с места, со мной приключилась неприятность. Я сорвался с балки в разрушенном доме, куда мы лазали за старыми книгами, разорвал штанину и рассадил ногу. Потом мне пришлось сидеть дома вечер и следующий день, потому что мать, прежде чем зашить, выстирала брюки.

Я не любил вспоминать этот случай и потому обиделся на Кирку за его вопрос.

— При чем здесь штаны? — пробурчал я.

— При том, что, когда ты дома сидел, я к Феде ходил.

— Ну и что?

— Рассказал, что кто-то завтраки ворует, а он посоветовал, как поймать вора.

— Как, говори! — нетерпеливо крикнул я.

— Надо таблетку чернильную раскрошить и подложить в хлеб. Он слопает, а потом рот весь в чернилах будет.

— Что же ты молчал до сих пор? — с обидой сказал я.

— Так, не хотел, — набычившись, ответил Кирка.

— Чего не хотел?

— Ну, я думал, он сам поймет и таскать перестанет.

— Кто поймет?

— Тот, кто завтраки ворует.

Я с удивлением уставился на Кирку, даже с шага сбился. Кирка поглядел на меня искоса и сказал неуверенно:

— Вот поймает его, и все узнают, что это он воровал. Представляешь, что будет? Ему в класс больше не прийти.

— Подумаешь, пожалел кого, — презрительно протянул я.

— А вот представь, что это ты, — сказал Кирка и поглядел на меня, усмехаясь.

— Ну, я!

— Да, ты. И все тебя презирают. Что бы ты стал делать?

Я постарался вообразить эту картину — получалось не очень весело, и я промолчал.

— Вот такие дела, — сказал Кирка озабоченно.

— Так что же делать будем?

— Не знаю, — сказал Кирка. — Подождем еще немного.

Но ждать мы не стали. На следующий день у Вовки Бурыгина снова пропал хлеб, а злополучный розовый пакет каким-то образом очутился в Киркиной парте. Кирку в классе уважали, и, конечно, никто не подумал, что это он таскает завтраки. Но мы поняли: вор бросил нам вызов.

После занятий мы пошли провожать Вовку Бурыгина. Тайный план поимки вора был разработан.

На следующее утро мы, как было условлено, встретились с Бурыгиным, не доходя до школы. Зашли в парадную большого серого дома, и на подоконнике лестничного окна каждый из нас выделил по ломтю хлеба из своего завтрака. Их щедро начинили толчеными чернильными таблетками и аккуратно сложили в Вовкин розовый пакет. К школе подходили поодиночке.

Два первых урока я ерзал от нетерпения и почти не слышал объяснений Владимира Семеновича. На второй перемене Вовка Бурыгин издал незаметно покачал головой, давая понять, что пакет на месте. Валерка Парамонов тоже был посвящен в наш план и в этот день особенно настойчиво требовал, чтобы на переменах все выходили из класса. Мы с Киркой специально уходили подальше, в самый конец школьного коридора, чтобы не насторожить вора.

На третьем уроке Бурыгин, сидевший на первой парте, вытащил свой замызганный платок и шумно высморкался. Это был условный сигнал, что завтрак исчез.

На большой перемене я, Кирка, Бурыгин и Парамонов слонялись по коридору и заговаривали со всеми. Никаких следов чернил ни у кого замечено не было. Прозвенел звонок на урок, и мы с Киркой, обескураженные, потащились в класс. Урок начался, учительница немецкого языка уже вызвала кого-то отвечать, и тут, тихо скрипнув дверью, появился опоздавший Земсков.

Я посмотрел на него и оцепенело замер. Будто издавека, донесся удивленный вопрос учительницы:

— Вас ист дас, Земсков, ду тринкст тинте? (Что такое, Земсков, ты пил чернила?)

Вовка беззвучно зашевелил фиолетовыми губами. Класс взорвался смехом.

— Зэтсэн зи зих (садись), — сказала учительница.

Вовка Бурыгин обернулся к нам с улыбкой. Кирка приложил палец к губам, показывая, чтобы он молчал. Валерке Парамонову была отправлена длинная записка.

Как только прозвучал звонок, Кирка подошел к Земскову и сказал глухо:

— Пойдем, потолкуем.

Земсков поднялся и покорно поплелся за Киркой. Бурыгин, Парамонов и я пошли следом. На чердачной площадке школьной лестницы было сумрачно. Земсков прислонился спиной к стенке и затравленно смотрел на нас. Валерка молча съездил его по уху. Земсков сжался, закрыл лицо руками и пискляво захныкал. Парамонов снова замахнулся.

— Погоди, — остановил его Кирка.

— Ребята, я больше не буду. Не надо, — пропищал Земсков.

— Ну, теперь знаешь, как ловят? — спросил его Кирка.

Земсков заплакал.

— Пять дней будешь Вовке Бурыгину жратву отдавать. Понял?

— Понял, — всхлипывая, отозвался Земсков.

Кирка спросил у Бурыгина и Парамонова:

— Никому не говорили?

— Нет, — сказал Валерка, — я же получил записку.

— И я не говорил, — тихо ответил Бурыгин и попросил: — Не надо его бить.

— Ладно, не будем, хотя стоило бы. — Кирка подошел вплотную к Земскову. — Но смотри, засекнешься еще раз — всему классу скажем. А тогда сам знаешь, что будет.

— Честное слово, Кирка! — запищал Земсков.

— Уже звонок, — сказал Бурыгин.

Мы побежали вниз по лестнице. На бегу Парамонов сказал мне:

— Эх, надо было все-таки врезать ему пару раз.

Я был согласен с Валеркой, но промолчал.

Киркина воспитательная мера помогла. Вовка вел себя тихо потом, а после шестого класса ушел в ремесленное училище, и наши пути разошлись надолго. Но до этого он устроил нам еще одну неприятность.

Апрель той весной выдался теплый и солнечный. Улицы очистились от снега и подсохли, лишь кое-где во дворах еще оплывали ноздреватые серые сугробы.

В ту весну всеми владело особенно радостное настроение. Наша армия приближалась к Берлину, освобождала город за городом в Польше, Чехословакии и Югославии, и весеннему настроению людей сопутствовало предчувствие близкой победы.

Мы с Киркой той весной ходили какие-то шальные, часто беспричинно смеялись. Еще приходили письма от отца, тоже радостные, полные надежд на скорую встречу. Но мы так и не встретились. Отец погиб пятого мая, а его последнее письмо пришло уже после победы, на несколько дней опередив «похоронку».

Но все равно апрель сорок пятого года запомнился мне радостным ожиданием близкой победы и еще двумя событиями, к одному из которых имел отношение Вовка Земсков.

Наша классная воспитательница Вера Васильевна спросила:

— Сероницын, вы не знаете, почему нет Земскова?

У нас были кое-какие предположения на этот счет, но мы ответили, что не знаем.

— Зайдите к нему домой, узнайте, — попросила Вера Васильевна.

Вовка не был в школе уже три дня. Он и раньше пропускал занятия, и мы знали, что он не болен, а просто «мотает», но Вера Васильевна просила зайти, и мы пошли.

Дом двадцать девять, в котором жил Земсков, был необычным: всего три этажа, но зато огромной высоты. В лестничном вестибюле белел большой мраморный камин с потемневшей бронзовой решеткой, широкие ступени пологой лестницы тоже были беломраморными, а в окнах кое-где еще сохранились цветные витражи.

Вовки Земскова дома не оказалось, и мы с Киркой решили

заглянуть на всякий случай во двор. Двор в этом доме был обыкновенный: три стены из четырех глухие, черно-серая брусчатка, остатки деревянных сараев.

Мы прошли под аркой, и я сразу почувствовал запах дыма, а потом увидел догорающий костерок в углу возле глухой стены. Во дворе никого не было.

— Пошли, — сказал Кирка и повернул к воротам. А меня словно черт дернул подойти к этому костерку поближе. Уже тускнели уголья и тихо потрескивали. Я поднял возле останков сарая какую-то гнилушку и хотел подбросить на тлеющие уголья, уже прицелился, чтобы попасть в самую середину кострища, и тут позади кто-то тонко, испуганно крикнул:

— Стой!

Я повернулся на крик, никого не увидел, и вдруг что-то стукнуло меня по ноге, сразу раздался грохот, и я упал, больно ударившись плечом и локтем о брусчатку. На миг стало темно в глазах, потом я увидел, что сверху мне на лицо медленно опускаются хлопья копоти. Я оперся на руки, встал и снова упал, но уже не ушибся. Кирка выскочил из-под арки и подбежал ко мне. Я сел и удивленно посмотрел на него. Я никогда не видел у Кирки такого лица. Потом я заметил, что Кирка смотрит мне на ногу, и тоже посмотрел. Штанина ниже колена была в крови. Потом я услышал, что кто-то тихо хнычет надо мной, поднял глаза и увидел Земскова.

— Валь, я не хотел, честное слово, нечаянно, — сказал Земсков и заплакал.

— За нечаянно бьют отчаянно, — сказал Кирка и дал ему по шее. — Говори, гад, что там было?

— Запал от эр-гэ-дэ, — пропищал Земсков. — Я же кричал, я из окна черного хода увидел...

— Молчи, змей. Помоги лучше. — Кирка наклонился, взял меня за плечо. — Бери за другую руку! — прикрикнул он на Земскова.

Они помогли мне подняться, и я встал на одной ноге.

— Больно, Валь? — спросил Кирка.

— Нет, — сказал я. — И правда, боли я не чувствовал.

— Осколки от запала большие не бывают, — сказал Кирка. — Попробуй, идти сможешь?

Я осторожно опустил ногу. Боль была несильной.

— Ладно, отпустите, — сказал я. — Надо по улице пройти незаметно.

Медленно проковылял я по улице до нашего дома. Кирка и Земсков прикрывали меня сбоку, чтобы не была видна окровавленная штанина.

— Чеши отсюда, еще займешь, — сказал Кирка Земскову, когда мы добрались до дверей квартиры.

Ранка была небольшой. Кирка принес из кухни воды, и мы промыли ее, потом замотали чистой тряпицей.

— Застирай холодной водой, — сказал я Кирке, и он пошел отмывать штаны.

Я лег на диван и стал глядеть на медленно сереющее небо с легкими прозрачными облаками. Нога не болела, но настроение у меня было неважное. Я знал, что из-за этой пустяковой царапины очень

расстроится мать. Она даже будет плакать. Мать у меня очень добрая, но со странностями, как все взрослые.

Ну зачем ей плакать из-за этой царапины, думал я, если она совсем не болит.

Из кухни вернулся Кирка. Он здорово намочил штанину, но кровь отстиралась. Я надел брюки и снова лег на диван.

— Ну, как? — спросил он.

— Ничего. Ты скажи Земскову, чтобы не болтал, ладно?

— Ты что, думаешь, так пройдет?

— Заживет, конечно, — ответил я и почувствовал некоторую гордость тем, что я — раненый и могу проявить все свое мужество и презрение к боли. Но на Кирку это не произвело никакого впечатления.

— Зря, — сказал он. — Нужно к врачу, осколок вынуть, а то заражение может получиться.

— Подожду до завтра, — ответил я.

Кирка еще немного посидел возле меня и пошел домой. А я остался лежать на своем диване, глядеть на кусок неба в окне и думать.

Я думал, что теперь знаю, как раненый солдат лежит на поле боя, когда его товарищи ушли вперед. Солдат лежит, радуется тишине и тому, что жив, и ждет санитаров. Потом мне показалось, что я сам — солдат, лежащий на поле боя. Я долго отстреливался от наседавших врагов, бился с ними врукопашную, когда они дошли до моего окопчика. Они тяжело ранили меня, но я уничтожил их всех — и вот лежу теперь на исходе дня и смотрю на тусклый закат; мой верный ПППШ лежит рядом и остывает после боя, и так тихо вокруг, а где-то вдалеке играет музыка, как в кино. Я даже чуть приосанился лежа, потому что не может же солдат лежать кое-как, даже если тяжело ранен...

Но все это я воображал одной половинкой сознания, а второй думал о матери.

Моя мать — странный человек, как, впрочем, и все взрослые. Она скорее поверит тому, чего никогда не было, чем тому, что случилось на самом деле. Вот если я расскажу ей все как было. Что во дворе двадцать девятого дома догорал костер и я зачем-то подошел к нему, а в огне калился запал ручной гранаты, а запалы — такие штуки, которые имеют привычку взрываться, если их кидают в огонь... Нет, моя мать ни за что не поверит в такую простую и правдивую историю. Она, конечно, не станет прямо обвинять меня во лжи. Она просто начнет говорить о том, что мне четырнадцатый год и пора бы уже взяться за ум, не делать глупостей. И выйдет так, что мать этими своими словами начисто перечеркивает мою правдивую историю, не верит в то, что я несколько не виноват в случившемся.

Вообще все взрослые всегда считают, что в любом происшествии должен быть кто-то виноват. Они отрицают случайности, по крайней мере те случайности, которые происходят с детьми. Вот недавно мать шла из магазина и разбила бутылку постного масла — просто оборвалась ручка старой авоськи и бутылка вывалилась. Понятно, что произойдет со стеклянной бутылкой, если она грохнется на плиты тротуара. Мать, конечно, огорчилась, было жаль масла, но ничего не поделаешь — случайность. Она так и сказала: «Ах какая досадная случайность». А вот если бы бутылка разбилась у меня, то это уже не

было бы случайностью. Нет, все взрослые любят, чтобы случайности имели конкретных виновников.

И я стал придумывать для матери какую-нибудь такую историю о моем ранении.

Конечно, проще всего было бы сказать, что я сам бросил запал в костер — и он взорвался. Но как-то не очень приятно брать вину на себя, когда ты же еще и пострадавший. Нет, эта история мне не понравилась, и я стал придумывать другую.

Я перебрал несколько вариантов, среди которых был случай с бешеной собакой, ворвавшейся в наш двор. Я уже красочно представил себе огромную, ростом с мотоцикл, собаку со вздыбившейся шерстью и оскаленными кривыми клыками, между которыми извивается мокрый красный язык. Я сражался с этой собакой и выгнал ее со двора, чтобы она не причинила вреда нашим соседям по дому... Вот... Только один раз собака изловчилась укусить меня за правую икру...

Да, это была эффектная история, я чуть было сам не поверил в нее. Но в ней были недостатки: во-первых, у меня на ноге была только одна ранка, а от укуса должно было остаться несколько; во-вторых, в то время в городе не водилось вообще никаких собак, не было даже кошек, не было и голубей — все они исчезли в блокаду. Словом, история с бешеной собакой не подходила. Ведь когда хочешь, чтобы тебе поверили, нужно изобрести ложь, которая выглядела бы правдивее самой правды.

Я пожалел о том, что такая интересная история пропадает зря, и начал сочинять другую. Но тут стала немного побаливать нога, и я стал думать, задета или не задета кость и как там сидит в моей ноге кусочек красной меди, из которой делают гранатные запалы. Я думал, а нога болела. Пришлось размотать тряпицу, она присохла к ранке, и я не стал отдирать. А вокруг ранки кожа покраснела и чуть припухла. После того как я увидел все это, боль стала казаться еще острее. Я уже не думал ни о каких историях и не знал, что говорить матери.

Незаметно для себя я задремал, но когда мать стукнула дверь, сразу проснулся и почувствовал преднюю боль.

— Ты чего валяешься? — спросила мать.

— Так, ничего.

— Набегался?

— Ага. — Я старался отвечать покороче, чтобы только мать ничего не заподозрила. Вообще-то моя мать очень догадливая.

Я старался оттянуть неприятный разговор, чтобы мать спокойно поужинала. И еще потому, что за давнишнее всегда попадает меньше. Вот если бы ранение это произошло неделю назад, то как бы сейчас просто было сказать: «Знаешь, ма, тут неделю назад мне железика попала в ногу, но уже прошло». Тогда мать повздыхала бы, конечно, сказала чего-нибудь, и все бы обошлось мирно. А теперь я предчувствовал крупное объяснение, да еще со слезами. А кому приятно видеть, как плачет его мать.

Пока мать возилась на кухне с ужином, я готовился сказать ей о случившемся — ведь скрывать было уже невозможно, потому что я не был уверен, что смогу встать к столу.

Я прислушивался к звяканью посуды на кухне и со страхом ждал объяснения. Но объяснять ничего не пришлось. Раздался зво-

нок у входной двери, потом — шаги матери и чьи-то голоса. Я почему-то заволновался, даже отвлекся от боли в ноге и невеселых мыслей.

Шаги по коридору приближались к нашей комнате, дверь отворилась. Я скосил глаза и увидел Киркину мать Марию Сергеевну. Она решительно переступила порог, за ней вошла моя мать с испуганным лицом, а позади, потупясь, проскользнул Кирка.

— Лежит, герой, — громко сказала Мария Сергеевна и шагнула ко мне. — Показывай ногу!

— Да ну, там нет ничего, — буркнул я, чтобы скрыть растерянность.

Мария Сергеевна схватила меня за ногу, стала задира́ть штанину, и я вскрикнул от боли.

— Нет ничего, говоришь?

Ее длинные проворные пальцы разом размотали тряпицу, но она не отделилась, потому что присохла к ране. А мне сразу стало как-то легче от прикосновения пальцев Марии Сергеевны. Ведь она работала в госпитале медсестрой и умела обращаться с ранами.

Пальцы ее быстро ощупали мою ногу, потом она вдруг рванула тряпицу.

— А-а-а! — заорал я.

— Все! Все прошло. — Мария Сергеевна уже отбросила тряпицу. И снова ее пальцы успокаивающими прикосновениями ощупывали ногу вокруг раны. А я старался не смотреть на мать, застывшую в напряженном молчании.

— Немедленно в госпиталь, нужно вынуть осколок, — сказала Мария Сергеевна.

Я облегченно вздохнул. Это меня устраивало, потому что избавляло от объяснений с матерью.

4

Я почти не помню шестой класс. Слишком много было в то время необычных и ярких впечатлений, и, наверное, они заслонили в памяти школьные будни.

Хорошая тогда выдалась осень. Улицы выглядели празднично и непривычно, потому что на них было много мужчин. И у всех, военных и гражданских, на груди — ордена и медали.

Мы встречали солдат-победителей. Колоннами с развернутыми знаменами они возвращались в наш город по Выборгской стороне и от Пулковских высот. Стройными шеренгами шли гвардейские дивизии в стальных касках, с черными автоматами на груди. Люди на тротуарах приветственно махали руками, бросали солдатам цветы, а мы, мальчишки, старались втереться в колонну и пройти вместе со строем. И тогда нам казалось, что мы — тоже солдаты, что мы тоже победили в этой долгой, трудной войне и теперь возвращаемся в свой родной город.

Временами меня охватывала горечь оттого, что отец уже никогда не вернется домой, не пройдет победителем по Невскому и Литейному.

Теперь бы он не брал меня за руку, как малыша, — мы шагали бы рядом, как ходят солдаты.

Я не говорил об отце ни с Киркой, ни с матерью. Я не умею говорить о таких вещах, да и вообще о них лучше молчать. И еще — я надеялся... Нет, я не верил в разные истории о том, что отец выполняет какое-то секретное задание и не может написать нам с матерью. Мой отец был простым солдатом, и такого задания ему дать не могли. Но я все-таки надеялся, сам не знаю на что. Где-то в самой потаенной глубине теплилась эта надежда. «А вдруг!» — думал я иногда, хотя уже знал, как редко сбываются такие «а вдруг». На нашей улице только отец Генки Кузьмина вернулся вот так, вдруг. Полтора года от него не было известий, и пришла похоронка. А он вернулся в сентябре сорок пятого года. Вернулся с тремя орденами и пустым рукавом гимнастерки.

Долго, несколько лет была во мне тайная надежда, что отец жив. Я просто не хотел верить в то, что его нет. Мне кажется, Кирка тоже надеялся, что вернется и его отец. Мы надеялись оба. Но наши отцы не вернулись.

Может быть, оттого, что в первые послевоенные годы не верилось еще в смерть отцов, мы грустили недолго и редко.

Во многих местах города работали пленные немцы. Они восстанавливали разрушенные дома, заново отстраивали котельную на Артиллерийской улице неподалеку от нашего дома; ремонтировали магазин «Динамо» в первом этаже бывшей городской думы на Невском.

Мы ходили смотреть на пленных, подолгу простаивали у дощатых заборов, огораживавших восстанавливаемые дома. В оконных проемах мы видели людей в мышиного цвета френчах с большими карманами; пленные работали старательно и не спеша, иногда переключались громкими голосами, улыбались. Мы улавливали знакомые по учебнику немецкие слова, видели мирные улыбки, и тревожно-любопытное чувство охватывало меня. Эти люди в потасканной грязно-серой военной форме как-то не были похожи на врагов, которых мы так ненавидели. И было странно видеть, что столько бывших врагов сторожит всего лишь один наш солдат с простой винтовкой.

Иногда удавалось увидеть пленных поближе. Я с волнением пристально вглядывался в лица. И вдруг мелькала у меня мысль: «А может быть, один из них убил моего отца?» Но лица были совсем не страшные, и я не испытывал к ним неприязни.

Много любопытного было тогда в городе. И мы старались успеть везде. Порой даже пропускали занятия в школе, чтобы сбежать в Соляной городок. Там, на небольшой площади, стояли трофейные танки и самолеты. Их привозили для музея обороны Ленинграда, который только начали создавать.

Самолеты и танки стояли на асфальте и под деревьями маленького скверика, и пожелтевшие листья, кружась, медленно планировали на темную, кое-где покрытую ржавчиной броню. Боевые машины охранял часовой. Но нам всегда удавалось упросить его, и он разрешал забраться в кабину самолета или в танк.

Мы с Киркой взбирались по броне, царапающей ладони грубыми сварными швами, с трудом отваливали тяжелую крышку башенного люка и ныряли в сумеречное, пахнущее гарью и пылью нутро танка.

В душноватой, прогретой солнцем стальной коробке еще стояли запахи недавнего боя. Мы садились в тесные, низкие сиденья, и сквозь тонкую обивку наши тела ощущали жесткость металла. Я брался за рычаги, Кирка щекой прикинул к прикладу пулемета... Сдавливало грудь, и казалось, что танк рванулся с места и в смотровом окне видно уже не бывшее училище Штиглица, а задымленное, изрытое воронками поле. Машину подкидывало на кочках, по броне барабанили осколки, пороховой дым ел глаза. Я вел машину прямо на вражеские окопы, а мой верный друг Кирка строчил из пулемета, и уши закладывало от грохота дизеля и пулеметных очередей...

Оглушенные, шатающиеся от странной внезапной усталости, вылезали мы из танка, щурились от яркого дневного света и неверными шагами шли прочь, еще ощущая жесткость металлических танковых сидений и пахнущий гарью воздух.

Долго, еще несколько лет, не уходили от нас воспоминания о войне.

Но за пропуски занятий приходилось расплачиваться. Потому что наступил момент, когда Вера Васильевна перестала верить в наши оправдания — слишком уж они были похожими. Ну разве не странно, что у нас с Киркой одновременно начинало болеть горло или одновременно портились водопроводные краны в наших квартирах и нужно было днем ждать водопроводчика. Мне кажется, Вера Васильевна и раньше не верила, но почему-то не говорила об этом. Может быть, это был воспитательный прием, и она надеялась, что совесть наша проснется в один прекрасный день, и мы, устыдившись своей неумелой лжи, сами пойдем возмутительность своих поступков и оценим доброту учительницы, которая не хотела унижать нас разоблачением. Но наша совесть спала крепче, чем наработавшийся грузчик. Убедившись в этом, Вера Васильевна применила более действенные приемы. После очередного пропуска занятий она велела привести в школу наших матерей. Это было уже серьезно.

Я не очень боялся, что мать накажет меня после разговора с Верой Васильевной. Она никогда меня не наказывала, если не считать подзатыльников, которые я получал, попавшись под горячую руку. Подзатыльники эти казались мне даже забавными, потому что после них на лице матери появлялся легкий испуг. Я догадывался, что мать считает меня впечатлительным и болезненным ребенком. И вот после подзатыльника она, оступив от гнева, со страхом вглядывалась мне в лицо, стараясь понять, не вызвало ли рукоприкладство к голове трагического надлома в моей душе. Но я-то давно убедился, что мой затылок крепче материнской ладони. Кроме того, моя мать не имеет никакого понятия о том, как надо наносить удар, и я даже сочувствовал ей, когда она трясла рукой, пострадавшей от соприкосновения с моим затылком. Видимо, мать в детстве не приобрела никакого опыта по части драк. Ведь девчонки не дерутся почти никогда. Правда, попадают такие, которые вступают в драку с удовольствием, но таких единицы, и с ними лучше не связываться. Если она побьет тебя — обидно, а если ты ее — тоже невелика честь.

Так вот, видимо, моя мать не дралась в детстве. Так что ее подзатыльников я не боялся. Но я опасался другого.

Раньше моя мать часто плакала по разным поводам, важным и

не важным. Из-за разбитой мною нечаянно чашки, порванных брюк, случайного синяка, время от времени украшавшего мою физиономию. Иногда она плакала просто так, садилась вечером у окна и тихонько плакала. Мне от этого всегда становилось грустно, иногда я даже вторил матери, но старался скрыть это. Она плакала, когда приходили какие-нибудь радостные вести, плакала и тогда, когда вести были плохие. Но я заметил, что после слез настроение у нее улучшается, и даже привык к тому, что мать часто плачет. А в тот день, когда пришла похоронка на отца, мать не заплакала. Я хорошо запомнил этот день.

Был светлый, теплый вечер, и в наши раскрытые окна доносился смех и шарканье подошв с улицы; радио передавало тихую веселую песню, и в комнате было празднично от большого букета черемухи и потому, что неделю назад была объявлена победа и недавно пришло письмо от отца.

Мать, устроившись в уголке дивана, тихонько подпевала песне и чинила мне рубашку. А я сидел за столом и притирал на бруске решетку от нашей мясорубки. Всю войну мясорубка бездействовала, и вчера мать впервые за несколько лет взялась за нее, чтобы приготовить котлеты. И оказалось, что решетка покрылась ржавчиной, а шнек вертится с трудом. Я принялся за ремонт мясорубки с удовольствием, потому что люблю котлеты и давно их не ел. Плотно прижав стальной диск решетки к бруску, я равномерно водил им взад и вперед, чтобы поверхность стала блестящей и гладкой, а сам думал о всякой всячине: о том, что завтра кончатся занятия, о мороженом, которое впервые с довоенных лет стали продавать на Невском возле ограды Екатерининского сада. Мороженое казалось нам с Киркой чудом; мы даже позабыли, что такая штука существует на свете. И вот оно появилось вдруг, и его продавали из голубых кубических ящиков с крышкой — совсем как до войны. Нам очень хотелось мороженого, но попробовать его мы не могли, потому что этот небольшой брикет в бело-синей обертке стоил целых тридцать пять рублей, а мы с Киркой никогда не располагали суммой больше рубля. Вовка Земсков в последнее время хвастал, что ест мороженое каждый день. Мы, конечно, не верили ему — Земсков известный трепач. Но однажды он повел нас на Невский к саду, купил там один брикет мороженого и съел на наших глазах. Мы глядели на него, как на фокусника. А он, довольный произведенным впечатлением, облизал губы и сказал небрежно:

— Я могу и второе купить, только неохота: у меня горло может заболеть.

Мы с Киркой, пораженные, стояли у решетки Екатерининского сада, смотрели на гордое лицо Вовки Земскова, на голубые ящики, на людей, изредка подходивших к ним, и не могли скрыть своего удивления. Кирка спросил у Земскова тихо:

— А где деньги взял?

— Достал, — таинственно ответил Вовка. И мы не стали его спрашивать дальше. Слово «достал» звучало серьезно, по-взрослому, и расспросы лишь подчеркнули бы нашу беспомощность и удивление.

И вот я шлифовал решетку мясорубки, мечтал о том, что у нас с Киркой появятся когда-нибудь деньги и мы купим мороженое.

Правда, я и представить не мог, откуда бы нам с Киркой взять столько денег, но как-то верилось, что они появятся. И мне было очень уютно сидеть за столом в нашей комнате, вдыхать черемуховый запах, слушать, как тихо напевает мать, и предвкушать тот момент, когда мы с Киркой сможем съесть хотя бы один брикет на двоих. Честно говоря, у меня были надежды на то, что теперь уже скоро вернется отец, и уж у него-то я попрошу на мороженое. И вот, когда я совсем раз мечтался, вдруг позвонили у входной двери. Я подумал, что это пришел Кирка, и побежал открывать.

На площадке, освещенной широким лестничным окном, стояла женщина с коричневой сумкой почтальона через плечо. Она пристально посмотрела на меня и сказала:

— Серовой заказное.

— Я получу.

— А ты кто? — спросила женщина, не протягивая мне конверта.

— Сын, — ответил я и почему-то испугался.

— Распишись. — Женщина протянула бумажку и огрызок желтого карандаша.

Я зачем-то поглядел в окно на белесый кусок вечернего неба, потом — на женщину, на цветные плитки лестничной площадки и вдруг почувствовал, что вокруг стоит густая странная тишина. И уже торопливо приложил квитанцию к дверям и непослушной рукой, чувствуя, как грифель натывается на шероховатости двери, проступающие под тонкой бумагой, коряво вывел свою фамилию.

Еще с минуту стоял я на площадке, когда ушла почтальон, и тупо рассматривал конверт. Непривычен был вид этого желтоватого большого пакета — за войну все мы привыкли к маленьким треугольникам, сложенным из тетрадного листа. На конверте крупным острым почерком было написано: «Серовой Е. А.» и стоял размытый бледно-фиолетовый штамп, который невозможно было разобрать. Я переминался с ноги на ногу в густой тишине на лестничной площадке, и рука, державшая конверт, казалась мне чужой.

— Валя, кто там? — Мать вышла в коридор.

Я не ответил, даже не повернулся к ней, а так и стоял одной ногой на плитах лестничной площадки, а другой — на пороге квартиры. Конверт казался тяжелым, и буквы на нем плыли перед глазами.

Неслышными шагами мать подошла и встала за спиной, и я почувствовал на затылке ее легкое дыхание. Потом она молча взяла конверт и так же неслышно пошла в комнату. Я еще постоял на площадке, тупо глядя в окно, потом машинально закрыл дверь и побрел по коридору, вдруг показавшемуся очень темным.

В комнате было совсем сумеречно. Мать сидела за столом на моем месте, подпершись обеими руками, и смотрела на темный брусок и решетку мясорубки. Вскрытый желтоватый конверт лежал чуть в стороне от бруска, и возле него белел небольшой прямоугольный лист бумаги. Мне в глаза бросились жирные черные буквы грифа, подчеркнутую толстой чертой. Я шагнул к столу, наклонился над бумагой. Сердце стало биться часто и неровно, а глаза выхватывали на листе только отдельные слова: «...сообщает... Ваш муж... Серов Петр Николаевич...» — больше я ничего не смог прочесть — глаза перестали видеть,



но я и так понял все. Сразу пересохло во рту, а ладони стали мокрыми, и я положил их на прохладную клеенку, покрывавшую стол.

Словно из тумана выступили материнские глаза, и я увидел, что в них нет слез. Сухими глазами смотрела мать куда-то сквозь меня, будто я стал прозрачным или не существовал вовсе. С того самого майского дня моя мать больше никогда не плакала и никогда не смеялась. Но часто я замечал, как смотрит она сухими глазами куда-то вдаль и ничего не видит. Тогда мне самому хотелось заплакать.

И вот, когда Вера Васильевна велела привести в школу мать, я представил себе ее сухие невидящие глаза... Я не мог сказать ей, что нужно пойти в школу, потому что мы промотали два дня.

И, посоветовавшись с Киркой, мы решили пока не говорить нашим матерям, а просто прийти в школу, как будто ничего не было. Мы надеялись, что Вера Васильевна позабудет про нас, но недооценили ее память. После первого урока она остановила нас в школьном коридоре.

— Серов, Синицын, когда придут ваши родители?

Что мы могли ответить? Я просто опустил голову, стал смотреть в пол и слышал, как рядом смущенно посапывает Кирка.

— Что молчите? Серов, ты сказал матери? — повысила голос Вера Васильевна.

— Она не может, — выдавил я из себя, не поднимая головы.

— Почему?

Я молчал.

— А ты, Синицын?

Кирка засопел громче, но тоже промолчал.

— Собирайте ваши сумки, отправляйтесь домой и без родителей можете не являться, — сказала Вера Васильевна.

В пустом классе окна были открыты для проветривания, из коридора доносился обычный шум перемены, а мы с Киркой медленно, нехотя закидывали в сумки учебники и старались не встречаться взглядами. Я уже застегивал ремешок сумки, когда в класс ввалился Земсков.

— Эй, вы куда? — с любопытством спросил он.

Я не ответил.

— Отрываетесь, да? Я тоже с вами. — Вовка засуетился со своим портфелем.

Мы с Киркой понуро брели улицей прочь от школы. Говорить не хотелось, да и что можно было сказать.

А Вовка Земсков шел рядом и успокаивал:

— Да наплюйте. Веруша, конечно, вредная училка. Но придете завтра, скажите, что больше не будете. Она может клянуть на это.

Мы не отвечали. Вовка сбоку заглядывал мне в лицо. В последнее время он старался держаться возле нас и в школе, и на улице, все время выказывал нам дружеское расположение. Может быть, чувствовал себя виноватым перед нами из-за того случая с запалом. Он, наверное, продолжал тогда дня три — все боялся, что я или Кирка скажем, что это он подрывал запал. В то время за это запросто могли оштрафовать родителей. Но мы, конечно, не сказали про него. Да и не было в этом смысла, хотя и следовало набить Земскову морду. Уж

если подрываешь что-нибудь, то сделай так, чтобы никто не пострадал. Хорошо, что все обошлось. А если бы во двор зашел кто-нибудь из малышей?

И вот Вовка, чтобы загладить свою вину, вился вокруг нас с тех пор, как я вышел из госпиталя. И сегодня тоже увязался за нами и никак не отставал.

Мы бесцельно таскились по улице в сторону Невского. Я смотрел на желтые деревья в больничном саду, занимавшем целый квартал, и чувствовал уныние. И день начинал портиться: стали густеть облака, задул порывистый, преддождевой ветер, подхватывая палые листья.

В такую погоду не очень погуляешь. А домой идти было нельзя: могли заприметить соседи и сказать матери. Видимо, такие же мысли доносили Кирку, потому что он спросил:

— Что будем делать?

Я понимал, что вопрос относится не только к текущему часу, но у меня не было ответа, и я сказал:

— Не знаю.

— Ребя! Айда в кино, — вмешался Земсков. — В «Авроре» новое кино идет.

Мы с Киркой обменялись понимающими взглядами. Денег на кино у нас не было.

— У меня гроши есть, — сказал Земсков, перехватив наши взгляды.

Я пристально посмотрел на него: уже не подвох ли это? Но Вовка глядел прямо и даже немного просительно.

— Ладно, пошли, — согласился Кирка.

И уже бодро, целеустремленно мы направились на Невский.

В «Авроре» сеанс начинался через час. Земсков взял три билета и сказал:

— Пошли в Елисеевский.

— Да ну, чего там делать? — ответил Кирка.

Мы с ним не любили ходить в этот магазин. В те времена там продавали продукты по коммерческим ценам без карточек. За стеклянными витринами лежали толстые семужьи туши, тускло поблескивали косые срезы разных колбас, укутанных в цветную тонкую бумагу, лежали здоровенные копченые окорока; сыры с красной яркой кожурой пускали «слезу» из круглых крупных дырочек; а кондитерский отдел вызывал только восхищенный вздох: пирожное стоило двадцать пять рублей, а другие сласти имели и вовсе баснословные цены. И нам с Киркой ничего не оставалось, как только презирать Елисеевский магазин и не ходить в него. Поэтому я тоже поддержал Кирку:

— Давайте лучше смоемся отсюда, а то мы с портфелями. Кто-нибудь пристанет, почему не в школе, — сказал я.

— Плевать, скажем, что во вторую смену, — ответил Вовка. — Пошли, купим чего-нибудь рубануть.

Тут уж мы ничего не могли возразить, хотя я и не верил Вовке, что он собирается чего-то купить в Елисеевском. Когда он брал билеты, у него был лишь червонец, а теперь осталось четыре рубля. Разве на эту сумму купишь что-нибудь? Да и вообще, с чего бы это Вовке угощать нас?

В высокие двери Елисеевского Земсков вошел первым. В огромном зале магазина было очень мало народу. И почти никто ничего не покупал, просто приглядывались к яствам за стеклами витрин.

Вовка деловито шел вдоль прилавка.

— Это несвежее, это тоже, — небрежно, с видом взрослого, цедил он сквозь зубы.

Кирка хмурился, а мне было забавно. «Во, кривляется, — думал я, — а сам-то и купить ничего не может».

На нас подозрительно поглядывали продавщицы, и я поеживался от их взглядов, как от холодного ветра.

— Пошли отсюда, — громко и зло сказал мне Кирка.

— Стойте. — Земсков ухватил Кирку за рукав. — Давайте считать. Значит, три эклера — семьдесят пять рублей, французская булка — семнадцать, все в один отдел. — Он вопросительно посмотрел на меня.

Я машинально как-то выпалил:

— Девяносто два. — Я уже почти поверил, что Вовка может все это купить.

— Так, теперь двести ветчины и бутылку лимонада. Все, я пошел платить. — Земсков полез куда-то за пазуху и вытащил целую пачку красных «тридцаток».

Мы ошеломленно застыли, глядя на деньги, а Земсков подмигнул мне и вразвалочку пошел к кассе. А потом казалось, что мы смотрим какое-то кино. От кассы такой же небрежной походкой Вовка прошел к винному отделу, получил бутылку лимонада и широким жестом протянул ее Кирке.

— Подержи-ка.

Кирка молча взял бутылку, а Земсков двинулся к колбасному отделу.

— Вам нарезать? — вежливо, как у взрослого, спросила продавщица.

— Да, пожалуйста, — ответил Земсков.

Пирожные он попросил положить в корзиночку.

Мы вышли из магазина на проспект. Я нес пирожные, Кирка — лимонад, а Земсков — булку и ветчину.

— Пошли в Катькин сад, там порубаем, — сказал он и спросил: — Валька, у тебя нож при себе?

— Да, — ответил я.

День стал совсем хмурым, и первые капли дождя пролились на землю, на пожелтевшие деревья Екатерининского сада. Но мы почти не замечали дождя. Мы сидели на скамейке, отрезали моим ножом ломти французской булки и ели с ветчиной. А потом по очереди прикладывались к бутылке. Лимонад приятно щекотал горло. Такой пир нам с Киркой мог присниться только во сне.

— Ну как, ничего порубали? — спросил Вовка, когда все было съедено.

— Да-а, — только и протянул я.

— Ничего, — сказал Кирка. — Только где ты столько денег взял? Тебе дома не влетит?

— Что ты думаешь, я дома, что ли, свистнул? Нет, я так не поступаю... — Вовка усмехнулся, прищурил левый глаз и тряхнул

головой, чтобы косая челка сползла на бровь. — Деньги валяются везде, только подбирай, но умеючи.

— Где же это они валяются? — хмуро спросил Кирка.

— Ладно, потом расскажу. И у вас будут, если, конечно, не струсите. Пошли в кино.

Зал «Авроры» был полупустым. Группками в разных рядах сидели такие же мотальщики, как и мы; было несколько старушек в передних рядах. Свет погас почти сразу, как это обычно бывает на утренних сеансах.

Я сидел рядом с Киркой, рассеянно смотрел на экран, чувствовал еще во рту сладость пирожного и думал о Вовке Земскове.

Год с лишним назад, когда мы только познакомились с ним, это был ничем не выдающийся парень, только ростом чуть повыше нас. Но за это время мы почти сравнялись. Мы всегда немного презирали его за трусость, пронырливость, за то, что таскал завтраки. Земсков был понятен нам до самых печенок, и даже то, что он постарше нас на целых два года, не играло роли, потому что учился он с нами вместе и вообще не вызывал никакого уважения. Другое дело, что мы никогда не могли враждовать с ним подолгу. Он был какой-то несамостоятельный. Бывало, надаем ему по шее за что-нибудь, а на следующий день Вовка уже улыбается и, как ни в чем не бывало, протягивает руку, чтобы поздороваться. Были на нашей улице мальчишки, с которыми мы с Киркой не поддерживали никаких отношений потому, что они не нравились нам. А с Вовкой Земсковым так не получалось. Да и жил он в соседнем доме. Но вот сегодня Земсков показался не так уж прост. Была в нем даже какая-то таинственность. И кино я смотрел невнимательно, хоть оно и было интересным. Я вертелся в жестком, скрипучем кресле — так, что Кирка даже толкнул меня в бок, — и все недоумевал, откуда у Вовки деньги и что он хочет нам рассказать.

Пока шла картина, дождь перестал, небо немного очистилось и сквозь рыхлые облака стало проглядывать солнце.

— Пошли по Фонтанке, — сказал Кирка.

— Айда, — отозвался Земсков.

Мы свернули на узкую набережную и зашагали в сторону Инженерного замка. У меня было отличное настроение, как-то позабылось, что Вера Васильевна выгнала нас, что на самом деле сейчас мы должны находиться в школе. И я шагал по плитам набережной Фонтанки, слушал, как Кирка с Земсковым обсуждали кинофильм, изредка сам вставлял замечания невпопад и смеялся.

Мы миновали цирк, подошли к замку. Обрамляя сквер, шеренгой стояли старые каштаны в побуревшей трехлопной листве, кое-где в кронах виднелись плоды с кожурой, усеянной длинными колючками. Мы знали, что каштаны есть нельзя, но решили сшибить несколько штук и долго кидали в деревья камнями и попадавшимися тут же палками, пока Кирка не сшиб ветку с тремя плодами сразу. Мы сняли кожуру с колючками, вынули аккуратные полшария орешков в коричневой гладкой скорлупе и пошли дальше.

Мне все не терпелось услышать от Земскова, где он достает деньги, но разговор об этом не заходил, а спрашивать было нельзя, чтобы не показать заинтересованности.

Мы пришли в Летний сад, сели на скамейку возле пруда и стали смотреть на воду. Народу в саду было мало: случайные прохожие деловым шагом направлялись к Неве да на главной аллее сидели на скамейках женщины с малышами.

— Здесь, наверное, караси есть, — сказал Кирка.

Когда-то мы с ним рыбачили на Неве, и у меня еще валялись дома в ящике лески с поплавками, крючки и грузила, и я предложил:

— Можно завтра попробовать — может, будет клевать.

— А-а, — протянул Земсков, — на кой они вам сдались, эти караси. Только время убьете.

— Их жарить можно, — поддержал меня Кирка.

— Жарить... Чего там жарить? Вот на Мальцевском рынке, я видел, продают лещей, вот таких. — Земсков развел руками, показал каких.

— Ну, — сказал я, — они и стоят.

— А-а, ерунда. Самая лучшая рыба — это колбаса, потому что без костей. Я почти каждый день грамм двести рубую, — похвастал Вовка. И на этот раз я уже не сомневался, что он говорит правду.

Мы с Киркой ничего не ответили.

— Хотите со мной? Будут и у вас гроши, — вдруг спросил Земсков.

— Ну, хотим, — осторожно ответил Кирка.

— Только никому не болтать и не дрейфить.

— Не разболтаем, не бойся, а насчет дрейфить... — Угрожающие нотки послышались в Киркином голосе.

— Ладно, это я так. У вас дома кошелки найдутся, так килограмм на десять?

— Ну, найдутся, — сказал я.

— Тогда заметано. Рвем домой. Вы берете кошелки — и едем. — Земсков поднялся со скамейки. Я тоже вскочил, но Кирка хмуро поглядел на меня, и я снова сел.

— Куда едем? Ты сначала объясни, — спросил Кирка.

— Куда, куда. Туда, где деньги растут, — сказал Земсков и сел.

— А где они растут?

— Уже пузыри пускаешь, да? — Земсков прищурил по привычке левый глаз и стряхнул на бровь свою косую челку.

Кирка набылчился, исподлобья посмотрел на него. Я знал, что такой Киркин взгляд не сулит ничего хорошего, а мне не хотелось ссориться сейчас с Земсковым, и я сказал:

— Никто пузыри не пускает. А ты не темни, скажи сразу. Ты же не с Гориллой дело имеешь.

— Только никому ни слова, даже если это вам не подойдет, — сдался Земсков.

— Ну, валяй, — буркнул Кирка.

— Вы в Удельной были когда-нибудь? — Вовка посмотрел сначала на Кирку, потом на меня.

— Нет, — сказал я, — мы всегда в сторону Пулкова таскались.

— Ну вот, а в Удельной интереснее. — Вовка, скривив губы, усмехнулся. — Там картошки — ну вот как сто этих прудов. А сторож один — правда, с винтарем. — Вовка снова взглянул на нас, чтобы проверить впечатление от своих слов, но Кирка задумчиво смотрел на

пруд, а я ничего не ответил. Тогда Вовка сбавил тон и заторопился: — Ну вот, мы подберемся с краю поля, накопаям по кошелке. А картошка там — во! — Он сложил вместе два кулака. — На барыге по шесть рублей кило сразу оторвут. — Последние слова он произнес снова пискляво и стал ждать, что скажем мы.

Я посмотрел на Кирку, Кирка — на меня.

В войну нам случалось стащить турнепсин или корень кормовой свеклы, когда очень уж сводило кишки. Все бульвары и скверы города были превращены в огороды. Но тогда было другое время, да никто всерьез и не принимал такой поступок, потому что в посадке огородов участвовали все: и дети и взрослые. Так что турнепс и кормовая свекла считались общим достоянием. А здесь было совсем другое...

...Мы сидели в уже по-осеннему поредевших зарослях ивняка над канавой, а перед нами расстиралось картофельное поле с поникшей жухлой ботвой. За полем стояли редкие постройку, купы деревьев, подернутые сизоватой дымкой.

Было тихо, и легкий ветер доносил горьковатый запах дыма от дальнего костра на краю поля. Мы сдерживали дыхание и переговаривались только шепотом. Тревожно шуршала подвысохшая листва.

— Сторож у костра. Когда пойдет в ту сторону, поползем, — прошептал Земсков.

Я вытянул шею, увидел возле колеблющегося султана дыма голову человека в фуражке и пригнулся ниже. Сердце учащенно билось, но я думал про себя, что не боюсь. Кирка прикусил толстую нижнюю губу и сидел, поджав колени к подбородку.

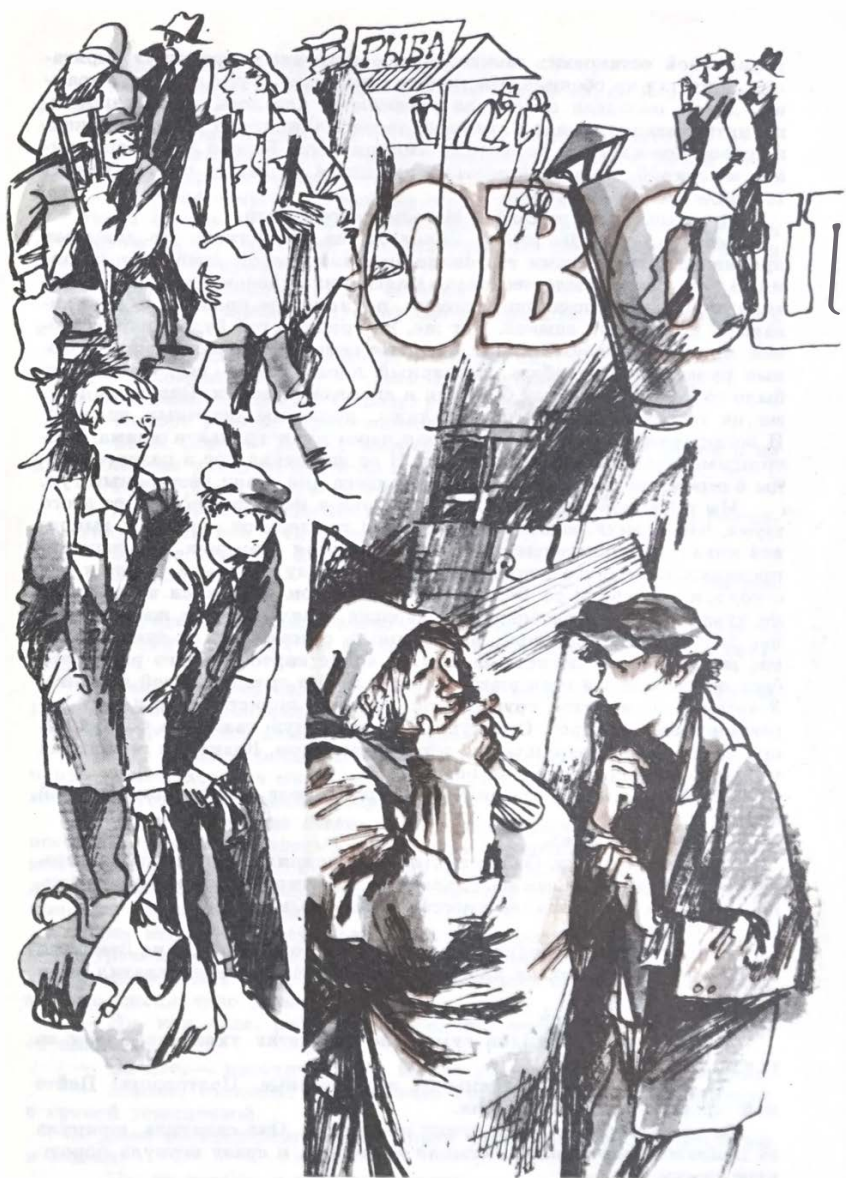
— Пошли! — шепнул Земсков. — Только ботву не шевелите, подкапывайте сбоку. А то заметит и палить начнет. — Он поглядел на нас внимательно, но не пополз первым. Секунду мы сидели неподвижно. Потом Кирка подхватил свою авоську и пополз.

Я лежал в борозде на краю поля и быстро-быстро, как крот, разгребал податливую сыроватую землю под картофельными кустами. Холодные тяжелые картофелины сами попадали в ладони, я отправлял их в свою клеенчатую сумку, и глухой стук клубней казался мне очень громким, я боялся, что сторож может услышать этот стук. Руки сновали в липкой земле, пот катил по лицу, а надо мной висело облако мошек, они впивались в лицо и шею, но я не отгонял их. Сумка наполнялась медленно, хотя я часто опускал в нее картофелины. Так полз я в борозде от куста к кусту, обливаясь потом и задыхаясь. Сумка стала тяжелой, и тащить ее за собой приходилось двумя руками, и я понимал, что уже пора уходить, но какой-то азарт, смешанный со страхом, заставлял меня вырывать из земли все новые клубни до тех пор, пока они не посыпались из переполненной сумки.

Задыхаясь, волоча за собой сумку, я переполз канаву и, обессиленный, упал в ивняке, приник лицом к жесткой редкой траве и закрыл глаза. Я ни о чем не думал, лишь дышал хрипло и тяжело и чувствовал чужунную усталость рук и ног.

Послышались легкие шорохи осыпающейся земли, и я открыл глаза. Кирка и Земсков переползали канаву правее меня. Я не окликнул их, а снова закрыл глаза в тупом безразличии ко всему.

Потом мы долго добирались по пыльной безлюдной дороге до



трамвайной остановки; завидев вдали встречных прохожих, прятались в кустах на обочине. Мы не разговаривали друг с другом в трамвае. Мною овладела опасливая угрюмость; казалось, что женщины, посматривающие на нас в трамвае, догадываются, что у нас в сумках, и только дожидаются появления милиционера. Горело лицо, искусанное мошкаррой, тело покалывали впившиеся в одежду семена каких-то придорожных растений.

Мы вышли из трамвая у Мальцевского рынка.

Деревянные ряды рынка выходили на три улицы. На дощатых прилавках под навесами торговали овощами, рыбой, грибами и ягодами. В углу рынка было несколько маленьких будочек, в которых работали холодные сапожники, слесари, починявшие примуса и выпиливавшие ключи для замков. Тут же, на грязноватой булыжной мостовой, продавали разный хлам: помятые самовары, позеленевшие дверные ручки, старую обувь, столярный инструмент — все, что можно было собрать в разбитых бомбах и снарядами домах. Отдельно, прямо на булыжнике, сидели инвалиды, продавцы штучных папирос. И везде ходили люди, перешагивая через кучи тряпья и хлама, что-то примеривая на ходу и торгуясь. И от шарканья ног и разноголосицы в сером предвечернем воздухе осеннего дня стоял нестройный гул.

Мы с Киркой редко бывали на рынке и немного оробели от этого шума, перебранки, возникавшей то там, то здесь, от зазывных выкриков инвалидов-папиросников, от взвизгивания гармоник, которых тут продавалось великое множество. Сумки сразу оттянулись руки, и мы с трудом поспевали за Вовкой, который ужом извивался в толкотне, но чувствовал себя свободно. Он изредка оглядывался и жестом звал нас за собой. Оглушенные, растерянные, с ноющими от сумок руками, мы старались поспеть за ним. В конце картофельного ряда Земсков остановился и стал шептаться с теткой в грязной белой косынке. У тетки было испитое, грубое лицо, красный пористый нос и чуть перекошенный, злой рот. Она курила здоровенную газетную сигарку и, щурясь от дыма, сверлила нас острым взглядом. Вовка все говорил ей что-то в ухо и указывал на нас.

Тетка вынула изо рта сигарку и прохрипела, потянувшись к моей сумке:

— Ну-ка, покажь.

Я отдал ей сумку. Она несколько раз подняла и опустила ее, взвешивая, поставила на землю, сделала то же самое с Киркиной и Вовкиной сумками и выдохнула вместе с едким дымом:

— Сто двадцать.

У меня радостно подпрыгнуло сердце. Это сумма! Но на Земскова такая цифра, видимо, не произвела впечатления. Он подхватил свою сумку и сказал нам:

— Пошли дальше.

Мы послушно подняли сумки, но тут тетка ухватила Вовку за руку.

— Ладно, ладно! Маленькие, а настырные. Полтораستا! Пейте мою кровь, — прохрипела она.

Земсков поставил свою сумку к ее ногам. Она схватила, юркнула за прилавок, наклонилась, ссыпая картошку, и сразу вернула порожнюю сумку.

— Давай твою, — сказала она мне.

Я ухватился за ручки авоськи, чтобы подать ей, но Земсков остановил меня.

— Гроши давай сначала, — сказал он тетке и протянул руку.

— Такой молодой, а уже всех жуликами считаешь. Давай быстрее картошку, пока спокойно, — вкрадчиво сказала тетка.

— Сначала деньги, — стоял на своем Земсков.

Тетка шумно вздохнула, выплюнула сигарку себе под ноги и, отвернувшись от нас, стала доставать деньги. Потом повернулась и протянула их Земскову.

— На-на, думаешь, тут все жулики.

Вовка взял измятые замусоленные пятерки, не спеша пересчитал и усмехнулся.

— Здесь только сто двадцать, — сказал он.

— А сколько же тебе? — сделала удивленные глаза тетка.

Вовка положил деньги за пазуху и сказал нам:

— Пошли, ребята. Берите картошку.

— Стой! Стой! — Тетка выбежала из-за прилавка. А Вовка и не думал никуда уходить, он стоял и спокойно смотрел на тетку.

— Гони тридцатник, а то правда уйдем, — сказал он.

— Да нате, нате, разбойники какие-то, а не дети! — Тетка разжала кулак, и Земсков взял у нее деньги.

— Ну вот. Отдайте ей сумки.

— Здорово ты ее, — сказал Кирка, когда мы вышли на Басков переулок.

— Ерунда, — снисходительно отмахнулся Вовка. — А вообще-то тут надо шустрым быть. Вы бы сразу без картошки и без денег остались.

Усталые, еле передвигая отяжелевшие ноги, шли мы по тихой улице Радищева. Настроение было хорошее.

Во дворе нашего дома Земсков сказал:

— Ну, давайте разделим, — и вытащил деньги. — Вот вам на пару — восемьдесят, а мне — семьдесят, потому что вместе прожрали мои. В другой раз разделим поровну.

Но другого раза не было. С того сентябрьского дня жгучая и постыдная тайна появилась у нас. Деньги неудобным угловатым комком лежали в кармане, и то, что их нужно было скрывать от всех, лишало нас обычной уверенности. А матерей нам с Киркой все-таки пришлось привести в школу.

Через несколько дней Вовка Земсков подошел к нам на улице после уроков. Все эти дни мы как-то сторонились его, и он сам не старался заговорить с нами в школе, а домой шел один. А вот сегодня, видимо, специально увязался за нами.

— Ну, как дела, ребя? — спросил он, когда отошли подальше от школы.

— Ничего, — пробурчал я, а Кирка не ответил, только засопел.

— Может, съездим? — вкрадчиво спросил Вовка и подмигнул с кривой усмешечкой.

Я даже не стал отвечать, а Кирка хмуро взглянул исподлобья и сказал:

— Мы не поедem, и тебе не советую.

— Ладно, я не боюсь, как вы, — задиристо сказал Вовка, и мне захотелось дать ему по морде.

— Не в боязни дело, — спокойно ответил Кирка.

— А в чем же?

— А в том... Вспомни-ка прошлый год, как тебя на чердаке защемили за бурыгинские горбушки.

Я увидел, как белеют от злости Вовкины щеки, и подумал, что сейчас будет драка, и на всякий случай переложил сумку в левую руку. Но Земсков только сказал:

— Ладно, честняги, я вам припомню. — Он резко повернулся и перешел на другую сторону улицы. С тех пор он не подходил к нам в школе, не здоровался, если встречались на улице. А после шестого класса вообще ушел в ремесленное училище.

Но некоторое время из-за этих денег мы ходили возбужденные. Мятые пятерки эти лишали покоя и уверенности, вводили в соблазн. Мы заходили в магазины, рассматривали товары и ежились под холодными взглядами продавщиц. И то, что у нас были деньги и мы могли купить любую вещь, стоящую не дороже этой суммы, несколько не радовало. Мы рассматривали катушки для спиннингов и только что появившиеся в продаже кожаные футбольные мячи, боксерские перчатки, даже радиолампы и нотные тетради, которые нам были и вовсе не нужны, и не чувствовали удовольствия от возможности обладать всеми этими вещами, а беспокойство росло. Я даже не спал несколько ночей. Кончилось тем, что мы с Киркой купили по мороженому, а десятку простреляли в тире на углу Фонтанки и Невского. Там, в длинном подвале, на двадцатипятиметровой дистанции давали стрелять из малокалиберных винтовок и пахло настоящим порохом.

Когда не стало этих денег, мы вздохнули свободно, хотя снова почувствовали себя презренными малышами, которых несправедливо преследует классная руководительница и ругают матери. И уже весь учебный год мы не пропускали занятий. Лишь изредка воспоминания о минувшем богатстве и постыдной тайне смущали и тревожили нас.

5

Летом сорок шестого года во дворе появилась Надька Мухина. Она и раньше жила в нашем доме, но в войну уехала с матерью, а теперь они вернулись из эвакуации. Раньше мы не обращали на Надьку никакого внимания. Обыкновенная девчонка с дурацким бантом на голове. Мы даже недолюбливали ее, потому что учились в первом классе вместе и часто нам ставили в пример Надькину аккуратность. Для нас с Киркой чистописание было самой мудреной наукой. Мне с большим трудом удалось научиться вписывать в косые клетки тетрадей по чистописанию более или менее ровные буквы. Чаше всего буквы получались разномерными, некоторые просто не влезали в эти клеточки, а другие помещались в них сразу по две, а то и по три штуки. У Кирки был другой недостаток: ему быстро надоедало выводить прописи, и он начинал пририсовывать к буквам руки, ноги, носы и уши — так, что они походили у него на забавных человечков.

Когда учительница спрашивала, зачем он это делает, Кирка наливался краской, удрученно сопел, но не отвечал. И еще нас обоих преследовали кляксы. Коварные чернильные пятна садились на белые листы тетрадок, на нашу одежду. Кирка даже умудрялся ставить кляксы себе на нос. И вот учительница вечно приводила в пример Надьку Мухину, и матери наши, которые тогда часто бывали в школе, только и говорили о том, какие у Наденьки чистые тетрадки, какой у нее красивый почерк и чистые руки. Из-за этого мы недолюбливали Мухину — правда, ни разу не поколотили. И вот теперь, когда встретились снова почти через пять лет, Надька сначала не вызвала у нас интереса. Тем более, что учились мы теперь отдельно от девчонок. Правда, Надька выглядела уже не прежней пигалицей с немыслимым бантом. Она здорово выросла — на целых полголовы выше нас ростом. Мы с Киркой даже не сразу узнали ее.

Это произошло на улице, возле арки нашего дома. Был нежаркий, ясный день, пушинки старых тополей, рядом стоявших у дома в начале нашей улицы, медленно плыли в неподвижном воздухе; стекла полуоткрытых окон противоположного дома отбрасывали на мостовую косые солнечные зайчики. И мы с Киркой стояли и раздумывали, куда пойти — в Михайловский сад, поиграть в волейбол, или на пляж к Петропавловской крепости, чтобы искупаться. Пруд наш на площади перед церковью давно зарыли, а волейбол стал в то лето повальным увлечением. Мы стояли так, раздумывали и выбрали наконец волейбол, потому что вода еще была холодноватой и после купания бросало в дрожь. Только мы с Киркой пришли к этому решению, как из-под арки вышла длинная, тощая девчонка с короткими прилизанными волосами. Девчонка была в ковбойке красного цвета, синей юбке и белых спортивных тапочках. Она зыркнула хитрыми глазами в нашу сторону, а мы сделали вид, что не замечаем ее. Тогда она шагнула к нам и протянула руку.

— Привет, — сказала девчонка громко.

Мы слегка опешили от неожиданности, но пожали ей руку — сначала Кирка, потом я — и молча уставились на нее.

— Что, не узнаете? — Она засмеялась, прищурив глаза и откидывая голову назад. И тогда я сразу узнал ее.

— Ты — Надька Мухина!

— Ага, точно. — Она провела ладонью по прилизанным волосам. перестала смеяться и смотрела на нас. — А я вас сразу узнала.

— Ты когда приехала? — спросил Кирка.

— Вчера. Рада ужасно. Только двор у нас какой-то не такой стал. Я думала, он меньше.

— Флигеля-то одного нет — разбомбили. Вот и стал больше, — объяснил Кирка.

— Ну, пошли, — сказал я ему.

— А куда вы? — полюбопытствовала Надька.

— В волейбол играть, в Михайловский, — выпалил Кирка.

— Ой, возьмите меня!

Мы с Киркой переглянулись.

— Ладно, — сказал я, — пошли, — а про себя подумал: «Вот привязалась еще».

Всю дорогу до Михайловского Надька трещала без умолку. Она

рассказывала, как они с матерью жили в эвакуации в Ярославской области, как научилась ездить на лошадях, которых вместе с мальчишками гоняла в ночное. Потом засыпала нас вопросами, как мы тут жили, и все говорила, что соскучилась по Ленинграду, расспрашивала о мальчишках и девчонках, живших на нашей улице. Она примолкла лишь тогда, когда мы сказали, что Вовка Шушарин и Колька Егоров умерли в блокаду, а многие еще не вернулись. Она молчала долго, шла понуриив голову, потом подняла, посмотрела на нас и спросила:

— Ребята, здорово плохо было, да?

Кирка промолчал, а я только пожал плечами. Нам не хотелось рассказывать. И Надька ничего больше не спросила.

В молчании мы прошли по аллее весь Михайловский от Садовой улицы. У выхода на канал Грибоедова был большой пустырь, обрамленный толстыми липами. На этом пустыре выстраивались кружки, над которыми подпрыгивали мячи.

В этот день на пустыре было очень много народу, потому что учебный год закончился накануне и школьники еще не успели разъехаться на лето. По всему пустырю в воздух подлетали мячи разных цветов. Мы остановились под липами и стали оглядываться, к какому бы кружку прибиться. Потому что неинтересно играть с неумеющими или с одними девчонками. Чаще всего в таком кружке мяч катается по земле после двух-трех пасовок. Мы с Киркой избегали таких кружков. Но нас тоже не везде принимали. В хорошем круге, где играли парни постарше нас, мяч, конечно, долго держался в воздухе, там были красивые длинные пасы, резкие удары. Но нас с Киркой в такие кружки принимали неохотно, да мы и сами чувствовали, что портим игру старшим парням. И вот мы стояли на краю пустыря и подыскивали подходящий кружок. А Надька Мухина тоже стояла рядом и вертела головой.

— Вот там вроде ничего играют, — показал Кирка на один крайний кружок. — Пошли?

— Нет, — вдруг решительно заявила Надька. — Там мяч плохой. Во-он, видите, где красный мяч? Пошли туда.

— Да ну, — неуверенно протянул я и посмотрел на Кирку. В этом кружке, на который показала Надька, играли одни ребята, и все постарше нас, наверное, девятиклассники. И не хотелось услышать от них презрительное: «Эй, мелюзга, отваливайте!» Мы с Киркой нерешительно затоптались на месте, а Надька пошла к этому кружку.

— Сейчас ее турнут оттуда, — сказал Кирка. И мы подошли поближе, чтобы увидеть, как Надька опозорится.

А она смело, чуть покачиваясь на своих длинных, тонких, как ходули, ногах, подошла и встала в круг.

Парни играли очень хорошо, мяч у них не падал на землю, они умудрялись поднять его вверх из самых трудных положений, и снова он взмывал свечой, и следовал резкий сильный удар, кто-нибудь бросался вперед, принимал этот трудный мяч под дружные веселые возгласы, и красивый красный шар поднимался над кругом. Мы с Киркой даже позабыли про Надьку — так красиво и хорошо играли парни. Да ей и не досталось еще ни одного паса. Она стояла

между парнями, по-спортивному чуть согнув ноги в коленях и подавшись вперед, а руки положила на пояс. Но ей так и не доставалось паса. Парни словно не замечали ее. И когда с противоположной стороны круга пошел резкий удар, она вдруг сделала быстрый шаг вперед, опустилась на одно колено и плавно, будто нехотя, подняла руки... Красный мяч высокой крутой дугой снова отлетел к противоположному краю, и сразу оттуда последовал резкий удар. Надька небрежно, одной рукой, отпасовала мяч в сторону и встала в круг.

— Ого! — удивленно воскликнул кто-то из парней.

Мы с Киркой были ошеломлены. Надька, видно, умела играть в волейбол получше нас. Потом парни стали уже подкидывать ей под резкий удар, а Надька прыгала вверх и резала так, что они иногда не могли взять мяч после ее удара. А мы все стояли и удивленно смотрели, пока она не обернулась и не позвала:

— Ребята, идите сюда.

Мы тоже встали в круг, и никто из парней не возражал, но я понял, что это из-за Надьки. Они, наверное, подумали, что мы тоже играем так, как она. И мы старались не ударить в грязь лицом. У Кирки вообще-то был хороший сильный пас, и он легко перекидывал мяч через весь довольно большой круг, а я подхватывал низкие пасы, выскакивал в середину, чтобы не дать мячу упасть. И все эти почти взрослые парни приняли нас на равных, и никто из них не смеялся.

Домой мы возвращались усталые, но довольные. И уже без всякого высокомерия разговаривали с Надькой. Мы снова прошли весь Михайловский сад, у павильончика Росси спустились по зеленому откосу к Мойке и вымыли руки. А потом медленно шагали по улице Пестеля мимо Инженерного замка и Летнего сада.

— Если бы вы знали, как я рада, что вернулась, — сказала Надька, растягивая слова и запрокидывая голову. — Тут и небо какое-то другое.

— Ты где так научилась играть? — спросил я.

— А там, в Ярославской. Я даже на районных соревнованиях играла за колхоз во взрослой команде.

— А вот здесь музей, — вмешался Кирка, потому что мы проходили мимо Соляного. — Тут все про блокаду. Даже пайка хлеба за стеклом на весах лежит. И танки есть, и самолеты, бомбы невзорвавшиеся. Мы с Валькой тут все знаем.

— Ребята, а покажете мне? Я очень хочу, — попросила Надька.

— Конечно, — сказал я, — возьмем и сходим завтра. А потом — в «Спартак», там «Ленинград в борьбе» идет. Только ты выходи пораньше во двор.

Так Надька Мухина стала нашим товарищем.

Но мое обещание сводить ее завтра в кино оказалось опрометчивым. Когда она ушла домой, Кирка спросил меня хмуро:

— Ну хорошо, музей бесплатный. А как ты ее в кино поведешь? У тебя на билеты есть?

Денег у меня, разумеется, не было, и Кирка знал это. Он и спросил-то для того, чтобы подковырнуть. Мы уселись во дворе на самодельной скамейке и стали думать, как быть. По неписаному рыцарскому закону мы не могли отказаться от нашего обещания сводить Надьку в кино; не могли также допустить, чтобы она покупала

билеты на свои деньги. И вот мы с Киркой сидели во дворе, прислушивались к шуму машин, доносившемуся с улицы, и думали.

Конечно, мы могли попросить денег у наших матерей, но уже понимали, что им и так приходится нелегко. И за годы войны у нас появилась привычка ничего не просить. В трудное блокадное время ни у меня, ни у Кирки матери не запирали еду под замок, как у некоторых мальчишек. Но мы никогда не брали без спросу. Утром мать отрезала мне и себе по ломтю от пайки, и мы пили чай с сушеной морковкой или с сахаром, когда он был. Я, конечно, не наедался, вообще тогда все время хотелось есть и часто думалось о еде, но я не просил еще. Чему меня научил один случай, который я до сих пор вспоминаю со стыдом.

Это было весной сорок второго года, уже кончилась самая голодная, первая блокадная зима. Я здорово отощал и выходил на улицу, пошатываясь и опираясь на лыжную палку. Даже на солнце мне было холодно, и мать поверх пальто и шапки повязывала мне старый шерстяной платок. В этом платке я чувствовал себя какой-то куклой; голова не поворачивалась, но зато было теплее. Осторожно и медленно спускался я по нашей пологой лестнице, выходил на парадную, прислонялся к дверям и стоял, закрыв глаза и подставив лицо еще несильному солнцу. Голодный человек очень остро чувствует запахи, и я стоял и принюхивался к мокрой земле на газоне нашей улицы, к запаху отсыревшей штукатурки на стенах и ржавого железа крыш. От этих запахов еще сильнее хотелось есть. Почему-то зимой я меньше чувствовал голод, чем теперь, хотя уже прибавили хлеба на карточки. И меня стали донимать мысли о еде. Я уже знал, что чем больше о ней думаешь, тем сильнее хочется есть, но ничего не мог поделать с собой. Я даже потерял сон, и в сутемии белеющей ночи представлял себе жареные макароны, румяные оладьи, котлеты, которые готовила мать до войны. И вот, возбужденный этими ночными видениями и обострившимся из-за них чувством голода, однажды утром, когда мы с матерью позавтракали, съев по обычному ломтю хлеба от дневной пайки, я попросил еще. Я понимал, что поступаю плохо, что вот эта небольшая горбушка, оставшаяся на обед и ужин, — все, что есть у нас на день. Но желание поесть было непреодолимым, и я первый раз за всю блокаду заканючил:

— Ма, я хочу еще кусочек... — Для убедительности я даже заплакал. Тогда мне шел десятый год, и я еще не научился стыдиться слез.

Мать строго посмотрела на меня, встала из-за стола, убрала чашки и тарелочку с сушеной морковкой, потом взяла в руки нашу горбушку, оглядела ее со всех сторон, вздохнула и сказала:

— Ты ведь знаешь, у нас больше ничего нету. Мы всегда с тобой делились поровну, хотя я большая, а ты еще маленький. Мне тоже хочется съесть еще кусочек, но я не беру. — Мать убрала хлеб в застекленный шкафчик и укрыла его белой салфеткой.

Мне уже стало стыдно, я понимал, что мать права, но из какого-то странного озлобленного упрямства продолжал настаивать на своем, захлебываясь слезами:

— Хочу-у еще-о-о!

— Вон, хлеб в шкафу. Ты сам уже все понимаешь. Поступай,

как хочешь, — зазвеневшим голосом сказала мать, и у нее на глазах тоже появились слезы.

Она быстро собралась и ушла на работу. А я, уже никого не стесняясь, заревел во всю глотку. Плакать почему-то было приятно, слезы как бы поддерживали сознание своей правоты. Я ходил по небольшой нашей комнате, плакал и глядел затуманенными глазами в стекло шкафчика, за которым лежал хлеб, укрытый салфеткой. Потом я перестал плакать и все ходил и смотрел на шкафчик. Что-то удерживало меня, но сквозь стекло были видны дразнящие очертания горбушки под белой материей, и я представлял себе, как отрежу ломтик — совсем тоненький, — откушу сначала верхнюю румяную корку и буду жевать медленно-медленно, чтобы продлить удовольствие. Я подошел и выдвинул ящик шкафчика, достал из него хлебный нож. На лезвии пристало немного сыроватой хлебной массы, я соскреб ее ногтем, отправил в рот и хотел положить нож обратно и не трогать хлеб до прихода матери. Пусть она не думает, что я такой уж нетерпеливый. Но малюсенький этот комочек хлебного мякиша, который я соскреб с ножа, вдруг вызвал такое чувство голода, что я не смог удержаться. Вороватым быстрым движением я открыл стеклянную дверцу и вытащил хлеб из-под салфетки.

Я держал эту горбушку на ладони, смотрел на нее и не мог решиться. В материнских руках горбушка казалась мне гораздо больше, а теперь я увидел, что она совсем маленькая. Я все смотрел на нее и прикидывал, как отрезать тоненький ломтик, чтобы это было совсем незаметно. Правая рука с ножом сама потянулась к хлебу. У меня получился какой-то косой, тонкий до прозрачности ломтик. Он мгновенно истаял во рту. И уже ничего не воображая, я отрезал еще... Наверное, это было какое-то помрачение. Я помню только, как работали зубы и челюсти, как судорожно я глотал хлеб. А потом вдруг пришла ясность, и с ужасом я понял, что съел всю пайку. Я лег на диван, укрывшись с головой материнским старым халатом, чтобы не видеть дневного света. И лежал так без сна и без мысли в тупой безразличной подавленности. Я не высунул головы из-под халата, даже когда вернулась с работы мать. Мне стыдно было смотреть ей в глаза.

Мать ничего не спросила у меня. Она молча подметала комнату — я догадался об этом по шарканью веника, — долго чего-то делала на кухне, потом пила кипяток с морковкой. А я все лежал и старался дышать совсем тихо и незаметно заснул.

Утром мать разбудила к завтраку. Увидев ее усталое, осунувшееся лицо, все сразу вспомнил и снова закрыл глаза. Но мать наклонилась ко мне, ее волосы зашевелили мне шею, и она прошептала прямо в ухо:

— Ну, вставай, дурачок, я на работу опаздываю. — и поцеловала в лоб.

И все было, как всегда. Мы съели по одинаковому ломтю хлеба и напились кипятку с сушеной морковкой. И пайка по-прежнему лежала в стеклянном шкафчике, укрытая белой салфеткой, но я и не думал дотрагиваться до нее.

С тех пор я никогда ничего не просил у матери — ни лишнего куска, ни денег. Я знал, что она и так отдает мне все, что может.

Кирка тоже никогда ничего не просил у своей матери. Возможно, и в его жизни был какой-нибудь похожий случай, но мы никогда не говорили о таких вещах.

Вот поэтому мы сидели во дворе и думали, как раздобыть нам денег, чтобы сводить Надьку Мухину в кино.

Выход нашелся неожиданным. Я уже не помню, кому первому пришло в голову продать книги. У нас с Киркой накопилась порядочная библиотека. Мы очень любили книги, собирали их в войну в разрушенных домах, выменивали у других парней на боеприпасы и снаряжение, добытые в Пулкове, иногда даже находили на помойке. Потому что в старые квартиры вместо умерших вселялись новые жильцы и вместе с хламом прежних владельцев часто выкидывали книги, особенно старые и рваные. Наша с Киркой библиотека охватывала, пожалуй, все отрасли знаний. Многие книги мы читали с удовольствием, часть — без интереса, а некоторые были нам совсем непонятны, но мы добросовестно перелистали их и не выбросили; даже непонятные книги вызвали уважение к себе добротностью тисненых переплетов, потускневшими кожаными корешками, легким сырным запахом, исходившим от пожелтевших ломких страниц.

И вот мы с Киркой наскоро пересмотрели нашу библиотеку, выбрали несколько книг потолще, которые казались нам неинтересными, и побежали на Литейный в букинистический магазин.

Миновав небольшой зал, все стены которого были закрыты полками со старыми книгами, мы по двум ступенькам спустились в тесную, пыльную каморку, на двери которой было написано: «Покупка книг».

С низкого потолка на шнуре висела тусклая пыльная лампочка, в уголке стоял стол, покрытый серовой бумагой, а кругом были книги — они громоздились пачками на полу, стояли шеренгами на полках, занимали почти весь стол. И среди всей этой тесноты на низкой табуретке сидел маленький, похожий на гнома старичок. Его длинные седые волосы блестели в тусклом свете и отливали желтизной, лицо было желтым, как пергамент. Старичок сверкнул на нас яркими синими глазами из-под лохматых белых бровей и сказал тонким скрипучим голосом:

— Все, молодые люди, покупка кончилась, — и засунул маленькие руки в карманы коричневой жилетки.

Обескураженно застыли мы на пороге каморки, переглянувшись.

— Скажите, пожалуйста, — спросил Кирка, — а во сколько завтра можно прийти?

— А завтра вообще не будет. У нас покупка только через день, — сказал старичок и, отвернувшись от нас, стал перебирать книги на полке. А мы так и стояли на пороге, огорченные неудачей.

— Пошли, — тихо сказал я Кирке и перехватил поудобнее книги под мышкой. Но тут старичок повернулся и спросил:

— А что у вас, молодые люди? Может быть, вам и приходиться не стоит. Мы ведь не всё покупаем. — Он быстро шагнул ко мне и вытащил книги из-под мышки. — Так... — Он поднес одну книгу близко к глазам, осмотрел, даже обнюхал. — Эта подойдет, — бережно положил он книгу на стол.

Кирка подмигнул мне. А старичок уже перелистывал другую

мою книгу, осматривал корешок и переплет, почему-то покачивал головой и шумно вздыхал, потом посмотрел на меня внимательно.

— А это ваши книги, молодой человек? Как они к вам попали?

Кирка рассказал, как мы собирали книги в войну, как подбираем их и сейчас, если встречаем на помойке.

— Это хорошо, — сказал старичок. — Вы молодцы.

Потом он посмотрел те книги, которые держал Кирка, положил их на стол, а одну оставил.

— А вот эту бы продавать не надо, — сказал он. — Вы подрастаете, и она станет вашим другом. Даже ради этой одной книги стоит изучить английский. — Старичок полистал книгу, подошел и встал под самую лампочку, пошевелил губами, водя пальцем по строчкам, и сказал нам тихим взволнованным голосом:

— Послушайте только. «За боль мы платим всем, что радость может дать, и умираем лишь от жажды жить». — Он закрыл книгу и постоял, задумчиво опустив желтоватую длинноволосую голову. — Да, конечно... Вам это пока рановато, — сказал он печально.

Я молча смотрел на него. Слова, которые он прочел, были красивы, но непонятны нам. Я только почувствовал, что где-то в груди кольнуло холодной иголкой волнения.

— Сейчас я выпишу вам квитанцию, и в кассе получите деньги, — сказал старичок, усаживаясь за стол.

В кассе нам выдали пятьдесят семь рублей. Это ошеломило нас. Мы никогда не думали, что наши книги стоят так дорого.

На следующий день мы пошли в музей с Надькой Мухиной.

В холодных просторных залах было безлюдно и тихо, и звук наших шагов по цементному полу казался особенно громким. Мы сразу повели Надьку туда, где стояли самолеты ИЛ-2 и ЯК-5 и где под потолком на толстых стальных тросах был подвешен двухмоторный бомбардировщик, летавший бомбить Берлин. Этот зал особенно нравился нам с Киркой, потому что там все было настоящее: стояли танки, орудия и даже торпедный катер. А тех залов, где висели разные фотографии, газеты военного времени и картины, мы не любили. Еще мы с интересом смотрели диорамы боев за стеклом. Весь фон — белое поле озера, далекие деревья с угольно-черными стволами — был нарисован, а на переднем плане колонной шли маленькие грузовики с продуктами, стояли маленькие зенитные орудия, фигурки регулировщиков с флажками; сверху на прозрачных незаметных ниточках были подвешены макеты истребителей, охранявших трассу, — и все это подсвечено скрытыми лампами, будто холодным зимним солнцем, и выглядело очень натурально. Была еще в музее диорама прорыва блокады. Там наши солдаты шли в атаку, взрывались мины, стреляли орудия, и тоже все выглядело всамделишным. Но ни диорама, ни самолеты и танки не произвели на Надьку никакого впечатления. А вот у картины, на которой была нарисована зимняя блокадная улица с бело-синими сугробами до окон второго этажа и закутанные в разное тряпье люди с темными лицами и пронзительно светлыми глазами, повисшие провода и трамвай с выбитыми стеклами, наполненный снегом, Надька стояла долго-долго. Я тоже смотрел на эту картину, и Кирка смотрел. В музейном зале было тихо, лишь изредка

слышался шум шагов. И я вдруг почувствовал, что забну, будто зимняя стужа сорок первого года из этой картины потекла в большой музейный зал, наполненный тишиной. Я даже сжался от холода, но уже не мог отвести глаз от картины. Где-то в глубине сознания мелькала радостная мысль, что на дворе — июньская теплынь и мирный сорок шестой год, но картина в простой квадратной раме была как дверь, распахнутая в наше недавнее прошлое. И за этой дверью я увидел себя.

Я увидел себя маленьким, в зимнем пальто, крест-накрест перевязанным материнским шерстяным платком, в старых ботах. Я брел ущельем между стенами домов и снеговыми горами, часто перекладывая дужку трехлитрового бидона из руки в руку. Когда я оставался отдохнуть, то не ставил бидон на снег, боялся, что он замерзнет. И путь от проруби на набережной Невы до нашего дома казался мне бесконечным...

Потом я увидел чердак нашего дома, освещенный белым слепящим светом зажигательной бомбы, увидел Кирку в затлевшей кургузой шубейке, поднимающего тяжелый мешок с песком, чтобы бросить его в это слепящее пламя...

Увидел ряды пожилых ополченцев в подпоясанных стеганках, нестройно шагавших по Лиговскому проспекту туда, к Московской заставе, где уже был фронт...

«Ленинградцы, дети мои! Ленинградцы, гордость моя!» — вспомнились мне стихи Джамбула. Они были отпечатаны крупными буквами и, как плакаты, расклеены на стенах домов...

Я посмотрел Надьке в лицо и увидел, что глаза у нее стали такими же пронзительно светлыми, как у людей на этой картине, и что две крупные слезы повисли и качаются на ресницах.

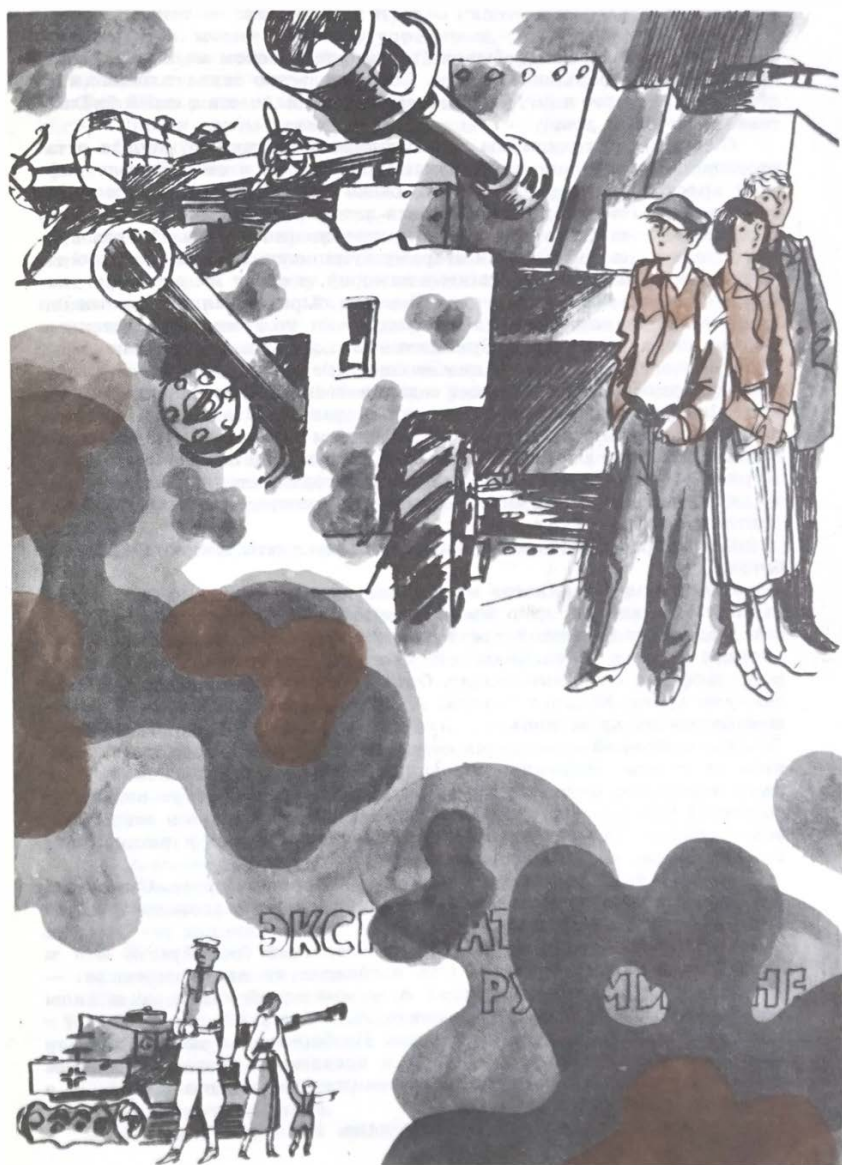
Она вдруг повернулась к нам с Киркой и, не стесняясь слез, попросила:

— Ребята, уйдемте отсюда. Я не могу.

И мы, стараясь не топать, прошли через тихие залы и вышли на желтый от солнца и теплый Соляной переулок.

По улице Пестеля спешили по своим делам люди, пронеслись машины. Надька и Кирка о чем-то тихо разговаривали, а я шел и думал о том времени, которое осталось лишь там, в холодных залах музея. Мы, конечно, были тогда малышами, мы не стреляли из пушек, не держали оборону в окопах под Пулковом, не водили машины по Дороге жизни, и десяток «зажигалок», потушенных нами, пожалуй, не в счет, но почему-то у меня такое чувство, что мы тоже воевали. Воевали уже тем, что старались не хныкать, не жаловаться на голод и холод, старались учиться в холодных классах, где в чернильницах замерзали чернила. Во все времена в осажденных городах и крепостях дети были слабостью и обузой защитников, а мы в Ленинграде старались быть их поддержкой и силой — это и была наша война. И мы выстояли вместе с солдатами, вместе со взрослыми.

Медленно шли мы по теплой солнечной улице нашего города. Надька и Кирка тихо разговаривали, а я молчал и смотрел на белоколонный портик церкви, замыкавший перспективу. В кино уже не хотелось.



После того как мы побывали в букинистическом магазине, книги пробудили еще больший интерес. Собираательство захватило нас в то лето, и было много книг, которые мы хотели бы иметь в своей библиотеке, но не было денег.

С тоской проходили мы мимо книжных магазинов, иногда останавливались у лотков, листали пахнущие клеем и свежей типографской краской брошюры и томики, бегло прочитывали две-три отрывочные фразы и со вздохом клали на лоток. Мне всегда казалось, что самая интересная книга та, которую невозможно купить. Иногда просто заходили на Литейный к старому букинисту. Стоило сойти по деревянным ступенькам, ведущим в каморку, и сразу же в ноздри ударял аромат старых книг — легкий запах сыра и пыли. Таинственно глядели в тусклом свете слабой лампочки толстые, переплетенные в кожу фолианты. И сам букинист — мы уже знали, что его зовут Петр Борисович, — казался нам волшебным гномом, стерегущим старую премудрость. Его длинные седые волосы и желтое пергаментное лицо были чем-то сродни этим старым томам. Мы с наслаждением дышали пыльным воздухом, пропитанным ароматом старых книг, помогали Петру Борисовичу перекладывать толстые пачки старых журналов, перевязанные шпагатом, смотрели старинные гравюры в книгах по искусству и молча страдали от того, что не можем купить приглянувшийся томик.

Но вскоре случай помог нам получить почти постоянный заработок.

Как-то под вечер, когда солнце освещало только один угол и развалины флигеля, во двор въехал грузовик. Кузов его выше бортов был нагружен березовой трехметровой. Грузовик развернулся, попятился задом к развалинам и остановился. Из кабины вылезли сержант-шофер и еще один солдат. Они откинули задний борт и быстро скинули дрова. Машина уехала. А во дворе сладковато запахло свежей березовой древесиной.

Мы с Киркой спустились со стены разбитого флигеля, где грелись на солнце, полазали по завалу из толстых бревнышек, поговорили о том, что самые лучшие дрова — это береза, и тут вышла во двор тетя Ира Рощина. Она медленно обошла кучу бревен вокруг, зачем-то потрогала срез одного комля и сказала тихо и растерянно:

— Что же я с ними делать-то буду?

— Как что? — переспросил Кирка. — Хорошие дрова. Сыроваты, правда, но к зиме подсохнут. Распилите, расколете, сложите клеткой в подвал, они и высохнут.

— Вот-вот, — сокрушенно покачала головой тетя Ира. — Кто ж их пилить и колоть будет? — Она поглядела на нас и спросила: — Может, вы возьметесь, мальчики? А то мне одной никак, да и пилы у меня нету. Я заплачу сколько надо. А, мальчики?

Кирка молча посмотрел на меня. Вообще-то мы раньше пилили дрова, но только так, для себя. Да и дровами-то назвать те старые доски и трухлявые балки из разрушенных домов было нельзя. И я сказал не очень уверенно:

— Попробуем... только денег не надо.

— Ну, нет, — сказала тетя Ира. — Работа есть работа. Начинайте завтра с утра, может, к вечеру управитесь.

— Ладно, — ответил Кирка. — Мы сегодня пилу поточим и козлы сделаем.

Тетя Ира ушла. А Кирка сказал хмуро:

— Пошли скобы искать на разрушке.

— Зачем? — удивленно спросил я.

— А чем козлы скреплять? Тоже мне пильщик. Будем тут неделю с этой березой возиться — весь дом насмешим.

— Да ну, — отмахнулся я, — не пугай. За два дня осилим.

Скобы мы нашли сразу в развалинах котельной на Артиллерийской улице. Шесть здоровых ржавых железяк с острыми загнутыми концами — они и вправду были похожи на квадратные скобки в алгебраических примерах. Ладони наши стали коричневыми от ржавчины, пока мы несли их. А во дворе на толстом бревне сидела Надька Мухина. Завидев нас, она вскочила и крикнула:

— Ребята, вы Рощиной дрова пилить будете, — можно, и я с вами? У нас колун большой есть. А я умею и пилить, и колоть. Что, не верите? — Она засмеялась, прищулив глаза и откинув голову назад.

Я с сомнением посмотрел на ее тонкие руки и уже хотел сказать что-нибудь етакое недоверчивое, но Кирка опередил.

— Ладно, — ответил он ворчливо. — Сперва козлы надо сколотить.

Мы с Надькой остались во дворе, а Кирка сбегал за пилой и топором.

— Вот из этого выйдет хребтина, — указал он на толстое бревно. — А эти пойдут на ноги. Выволакивай.

Я ухватился за конец с лохматой распушившейся берестой, потянул на себя, но он не поддался. Надька тоже взялась и скомандовала:

— Ну, раз-два — взяли!

Мы вытащили бревно, положили под него полено потоньше и стали пилить. Надька уселась на бревно верхом, чтобы оно не катилось.

Крупные зубья двуручной пилы легко вошли в верхний слой древесины, но потом протягивать пилу стало труднее, и я взялся за ручку двумя руками.

— Равномерней води, не дергай, — сказал Кирка и тоже взялся двумя руками.

Плотно пилы вошло в бревно еще только наполовину, а я почувствовал, что взмокла спина. А у Кирки лицо покраснело.

— Валь, давай подмену, — сказала Надька.

Я только помотал головой.

Наконец короткая плашка со стуком упала на булыжник. Мы с Киркой выпрямились. У меня началась одышка, но это было даже приятно, потому что от кучки опилок сильно пахло свежестью, и я глубоко вдыхал этот запах.

— Вот, — сказал Кирка, — я буду пазы вырубать. А вы эти две жерди распилите пополам.

С Надькой Мухиной пилить было легче. Она как-то плавно

тянула пилу к себе, а Кирка дергал. Я подчинился заданному Надькой ритму и даже не заметил, как мы распилили два тонких бревнышка. Кирка сосредоточенно тюкал топором, вырубая пазы, а мы сели тут же на дрова и стали смотреть за его работой.

— Ты где так научилась пилить? — спросил я у Надьки.

— А там, в эвакуации. У нас печь в доме была с плитой, труба прямая навывлет, а вьюшка расколота, щербатая. Дров не напасешься. Сами с матерью и в лес ходили. Найдем большую сушину, снег разгребем и спилим... Иногда на неделю хватало, если морозов больших не было, — ответила Надька, задумчиво глядя куда-то в угол двора.

— Здорово. А потом на лошади возили? — спросил я.

— Нет, так, на себе.

— Как — на себе?

— Впрягались с матерью в санки и возили по три-четыре швырка, а уж потом в палисаднике на короткие плашки пилили. Да и летом пилили. Обед-то надо варить, — не поворачивая головы, сказала Надька, и голос у нее был грустный и тихий.

Кирка вырубил пазы в хребтине и взялся затесывать ноги. Я встал и сказал:

— Пойду за напильником, будем с Надькой пилу точить.

Кирка не ответил, только кивнул головой. Он вообще, когда делал какую-нибудь работу, становился серьезным и очень молчаливым. Раньше мне казалось, что он задается, потому что многое умеет делать хорошо, но потом я понял, что это у него такая привычка. Он умеет сосредоточиться на том, что делает, и поэтому у него хорошо получается.

В ящике с инструментом у меня давно лежал новый ромбический напильник. Я берег его, все собирался сделать обоюдоострый кинжал, но так и не собрался. Да и зачем мне кинжал. И вот я достал этот напильник, вколотил его острый хвостовик в подходящую чурку, строганул несколько раз ножом, чтобы получилось подобие ручки, и спустился во двор.

Кирка не спеша тюкал топором. Надька держала полотно пилы, а я подтачивал напильником зубья. Тюк-тюк, тюк-тюк — ритмично выговаривал топор; дзинь — протяжно отзывалась под напильником пила. И наш старый двор, наполненный запахом свежей березы, казался таким уютным в красноватом предвечернем свете.

Мы уходили, когда солнце уже село, и в сизоватых светлых сумерках во дворе оставался сделанный нами козел — хребтина, четыре раскосых ноги и торчащие вверх рога, — береста была с серыми пятнами, точь-в-точь козлиная шерсть, не хватало только хвоста и борды.

— Завтра в семь утра, — командирским тоном сказал Кирка. — Не проспи.

Но я почти и не спал. Ворочался всю ночь на своем диване, время от времени открывал глаза и смотрел на циферблат ходиков и только под утро забылся беспокойным сном. Но проснулся раньше матери, и когда она встала, то даже удивилась:

— Куда это ты спозаранок?

— Мы дрова пилить будем. Рощина просила.

— Ладно, — сказала мать. — Все дело какое-то. Только пообедать не забудь.

Во дворе еще никого не было. Я уселся на козла верхом и стал ждать. Первой пришла Надька. Ее длинная тощая фигура появилась в пролете арки, потом послышалось тихое насвистывание. В руке Надька несла здоровенный колун на длинном желтом черенке.

— Здорово, — сказал я.

— Здравствуй. А Кирки еще нет?

— Он только других торопить любит, а сам — копуха... Выйдет сейчас. Я бы его выvisteал сразу, да люди еще спят.

— Ну, подождем, — сказала Надька, перехватила черенок двумя руками и с размаху всадила колун в торец бревна. Я соскочил с козла и дернул за черенок, чтобы вытащить колун, но он не поддался.

— Да не так, — сказала Надька. — Так никогда не вытащишь. Ударь просто ладошкой по концу топорнища.

Я послушался Надькиного совета, и колун шатнулся в бревне. Я покачал за черенок и вытащил его.

— Ловко, — сказал я Надьке с уважением.

Она не ответила, оторвала кусочек бересты и стала жевать его. И тут как раз появился Кирка.

— Мы не опоздали? — ехидно спросил я.

Кирка со звоном положил пилу на кучу бревен, набычившись, взглянул на меня и достал из-за пазухи две пары брезентовых рабочих рукавиц.

— Вот я чего искал. Помню, были у отца, а где — не знаю, и мать не знает. Еле нашел. Надевай. — Он бросил мне пару.

Я поймал рукавицы на лету и надел. Тускло-зеленый брезент был неподатливым и шершавым, пальцы в рукавицах сгибались с трудом, но казалось, что от этого руки стали сильней.

— Начнем, — сказал я.

— Ребята, сначала вот это, толстое распилите. И будет плаха, на которой колоть можно, — сказала Надька.

— Ладно, давайте откатим, а потом подыдем, — согласился Кирка.

Еле-еле подняли мы это толстое бревно на козла, положили между рогов.

— Ничего, — успокоила Надька. — Таких толстых больше не видно.

Кирка поплевал на рукавицы, поднял пилу и поставил ее поперек бревна.

— Не длинно?

— Не, в самый раз, — ответил я и взялся за ручку.

— Мне надо короче плаху, а то на ней колоть неудобно, когда она высокая, — сказала Надька.

— Да ну, — отмахнулся Кирка. — Нашелся древокол.

— Ладно, давай отпилим короче, — сказал я Кирке и спросил у Надьки, передвинув пилу: — Так нормально?

— Ага, — кивнула она.

Я потянул пилу на себя, и заточенные зубья с легким шорохом вгрызлись в бересту и коричневую корку под ней, потом брызнули

желтоватые опилки и пахло свежестью. Мы с Киркой почти сразу вошли в ритм, и руки наши двигались словно отдельно от тела.

После третьего бревна мы уже взмокли и скинули рубашки. А Надька спокойно и на вид не сильно тюкала колуном, но горка наколотых поленьев возле ее плахи все увеличивалась. Потом я уже перестал замечать что-либо вокруг, только тянул и тянул пилу, чувствовал жар на лице, слышал монотонное вжиканье зубьев, ритмичные глухие удары колуна и стук поленьев по булыжнику. И момент, когда мы, допилив бревно, клали на козла следующее, казался мне отдыхом. Кирка тоже притомился, я видел это по его загоревшемуся лицу и одышке. Но никто из нас не хотел говорить об отдыхе первым. Выручила Надька.

— Ребята! Перерыв, — крикнула она.

Мы допилили плаху и сели на чурбаки. Ладонью я вытер пот со лба, посмотрел на кучу дров — и меня поразило то, что она почти не уменьшилась. А мне казалось, что мы распилили так много.

— Да, — сказал я отдышавшись, — тут и за два дня не справиться.

— Ерунда, — ответила Надька. — Глаза боятся, а руки делают. Я тебя подменю, — сказала она, — а потом — Кирку.

— Нет, не надо, — глядя в землю, ответил Кирка. — Ты коли, у тебя хорошо идет. А мы еще напилем, чтобы тебя обеспечить, и потом начнем в подвал кидать через окошко — вот и отдохнем от пилки. Все равно колотые поленья во дворе оставлять нельзя — растащат. — Кирка поднялся и стал надевать рукавицы. Я тоже встал, почувствовал, как ноют плечи, но ничего не сказал, сунул руки в неподатливые рукавицы и похлопал в ладоши.

— Берись, — сказал Кирка, ухватившись за конец бревна.

Я взялся за другой конец, и мы положили бревно на козла.

И снова вжикала пила, глухо ударял колун, со стуком падали поленья на булыжник, и пот заливал глаза. Но пилить уже было не так трудно, как вначале. Дышалось ровно, ну, может быть, чуть чаще, чем обычно. И пила, казалось, легче входит в желтоватую березовую древесину. Потом мы отдыхали и снова принимались пилить. Кидали наколотые Надькой поленья в маленькое, вровень с землей, подвальное окно. Укладывали поленья клетками возле стены в прохладной полутьме подвала и снова пилили, пилили, пока не почувствовали, что совсем обессилели.

— Хватит! — крикнула Надька. — Давайте закинем в подвал все наколотые и пойдем купаться, пока солнце есть. Завтра закончим.

Молчаливые от усталости, пришли мы на пляж под стеной Петропавловской крепости. Былолюдно, играли в волейбол, загорали. Мы разделись у самой стены и вошли в знобкую, искрящуюся под солнцем воду. У меня ныли спина и плечи. Я отплыл метров на десять от берега и, перевернувшись, лег на спину, раскинул руки и закрыл глаза, наслаждаясь легкостью тела и теплом солнца. Потом мы втроем валялись на горячем песке и лениво перебрасывались словами.

Домой возвращались посвежевшие и бодрые. Медленно шли через Летний сад, потом по Пестеля. Мы молчали, но какое-то особое чувство, родившееся в работе, соединяло нас.

Мы пилили эти дрова еще два дня и, честно говоря, устали здорово. Но когда последнее полено было уложено в подвале на верх аккуратной клетки, я почувствовал радость оттого, что мы все-таки справились с этой работой. Мы с Киркой хотели распилить и нашего козла, но Надька сказала:

— Не надо. Он красивый. И мы еще кому-нибудь будем пилить.

— Когда это еще будет, — сказал я.

— Сейчас многие дрова покупают, а пилить некому, — возразила Надька.

И мы с Киркой послушались ее и затащили козла в подвал. А за работок поделили на троих.

После этого Надька все шныряла по окрестным дворам и расспрашивала, не нужно ли кому пилить дрова. И желающие находились. Так что почти все лето у нас была работа.

На заработанные деньги Надька покупала конфеты, альбомы для рисования и краски. Она вообще хорошо рисовала, у нее все получалось очень похоже. А мы с Киркой охотились за интересными книгами. Но, честно говоря, мы все больше и больше увлекались накопительством. Правда, сами по себе деньги нас не интересовали, но интересовало то, что можно было на них купить. Как раз в то время в магазинах появились велосипеды. В огромном зале первого этажа универмага ДЛТ они выстроились колесо к колесу в специальной деревянной стойке и голубовато сверкали никелем под электрическим светом. Мы с Киркой могли часами стоять возле велосипедов, любуясь желтыми, блестящими новой кожей седлами и треугольными, похожими на пистолетные кобуры сумками для инструмента, пристегнутыми к продольной трубе рамы. Мы смотрели на тускло поблескивающую смазкой цепь, на обрезиненные педали и уже воображали себя несущимися по улице. Шелестит ветер в ушах, и бежит-бежит навстречу асфальтовая лента, а пешеходы остаются позади...

Мне даже один раз приснилось, что я еду на таком велосипеде.

Мы с Киркой мечтали накопить на велосипед. Конечно, сначала даже нам самим эта мечта казалась несбыточной, лишь позже появились надежды, что она исполнится.

Иногда мы ходили на барахолку поглазеть на диковинные старинные вещи, просто пошататься в сутолоке среди крикливых и чем-то необычных людей и, конечно, посмотреть велосипеды. На барахолке был целый ряд, где продавались мотоциклы, велосипеды и даже автомобили. Мотоциклы и машины нас не интересовали, потому что были большей частью допотопными, как какие-нибудь ископаемые ящеры. Мы один раз видели даже автомобиль с деревянными колесами и чуть ли не с паровым двигателем. Вокруг этого чуда техники собралась такая толпа, что нам с Киркой с трудом удалось пробиться поближе и посмотреть. Автомобиль произвел на нас такое же впечатление, какое мог бы произвести мамонт, появившись он на ленинградской улице. Его дубовые тележные колеса были больше моего роста, и вообще он был похож на карету, в которой Золушка ездила на бал: стеганый плюшевый диванчик синего цвета стоял на прямоугольной тележной платформе, покрытой ковром, над диванчиком была натянута



та крыша из черной потрескавшейся кожи, по краям крыша была отделана выцветшей золотой бахромой, а по углам ее еще вдобавок болтались большие, тяжелые кисти из золотого шнура. Сиденье для шофера было высоко на козлах, а впереди—огромный, похожий на лежачую медную бочку двигатель с какими-то паровозными рычагами, идущими вниз, к осям колес, и над всем этим тускло-медным удивительным устройством на стойках были укреплены два граненых фонаря, точь-в-точь таких, как на мосту через Мойку у Летнего сада. Вообще на этой барахолке было интересно, как в музее. Но мы околачивались больше всего возле велосипедов и даже приценивались к тем, что выглядели поплотнее — с ржавыми ободами колес, помятыми щитками и погнутыми спицами. Но все равно даже такие велосипеды были нам недоступны. И оставалось лишь ждать, когда мы заработаем достаточную сумму. Но она никак не собиралась, эта сумма, хотя мы еще четыре раза пилили дрова в разных дворах. Правда, мы часто тратились на книги. Вот так мы купили «Петербург» Курбатова — большой том с красивыми видами старого города. Мы смотрели его у Петра Борисовича и знали, что это хорошая книга, но тогда на ее покупку у нас не было денег. И вот однажды, когда мы уже, обессилев от восхищения велосипедами и от желания обладать одним из них — хоть самым невзрачным, шли к выходу с барахолки, Кирка заметил в кучехлама у торговца старьем, расположившегося прямо на земле, «Петербург» Курбатова.

Мы робко подошли к продавцу и спросили, сколько стоит «Петербург». Продавец, сидя среди своего товара, пытливо взглянул на нас снизу и хрипло выкрикнул:

— Для вас, студентки, недорого отдам. Вот еще две книги в придачу за червонец, и забирайте. — Он наугад вытащил из кучи еще две книги и бросил их поверх «Петербурга».

Ну как тут было утерпеть.

Радостные, задыхаясь от волнения, тащили мы три этих тяжелых тома по улице и только у Кирки в комнате стали рассматривать. «Петербург» был в хорошем состоянии, с коричневым кожаным корешком и голубоватомраморными разводами по обрезу страниц, даже сохранилась папиросная бумага, предохраняющая цветные иллюстрации. Вторая книга была неинтересной — какой-то старинный справочник по строительству деревянных домов. Третья из книг, купленных на барахолке, тоже показалась нам неинтересной. Скромный переплет из жесткого картона с уголками и корешком из потертой кожи, желтоватые страницы простой, не глянцевои бумаги и ни одной картинки. На титульном листе тонким удлинненным шрифтом было напечатано: «Капиталь» и стояла дата: 1872 год.

— Покажем Петру Борисовичу, — может, ему пригодятся, — сказал Кирка и, помолчав, добавил: — А «Петербург» у нас поновее, чем в магазине был.

Я протер переплеты влажной тряпкой, чтобы они хоть выглядели свежее, а кожаные корешки начистил сапожной щеткой до мягкого блеска, и мы отправились в магазин к Петру Борисовичу. День уже склонялся к вечеру, на Литейном скрежетали трамваи и было много людей, спешащих домой с работы. Мы с Киркой тоже спешили — не терпелось похвастать Петру Борисовичу нашей покупкой. И мне

казалось, что знакомый проспект сегодня просто бесконечен и нам никак не добраться до лавки.

Старый букинист был в хорошем настроении.

— Здравствуйтесь, здравствуйтесь, молодые люди, — встретил он нас улыбкой. — Ну-с, что нового?

— Здравствуйтесь, — ответил я, стараясь придать голосу спокойствие. А Кирка поздоровался совсем тихо, почти шепотом.

— Вот, Петр Борисович, купили «Петербург» и вот эти книжки, — сказал я и почувствовал одышку.

Старый букинист неспешным движением взял книгу у меня из рук. Яркие синие глаза из-под лохматых бровей на мгновение задержались на моем лице. Я отвернулся.

— Так-с, Курбатов Владимир Яковлевич... — Петр Борисович по обыкновению поднес книгу близко к лицу, обнюхал и осмотрел, положил на стол, быстро перелистал.

Тускло светила пыльная лампочка, пахло старыми книгами, и было совсем тихо, только шелестели страницы под тонкими пальцами Петра Борисовича, а мы с Киркой стояли и сдерживали дыхание. Наконец он поднял глаза и улыбнулся нам.

— Знаете ли, молодые люди, курбатовский «Петербург» — книга редкая, а хороший экземпляр даже бывалым книжникам не доставался. И, как бы это сказать, ну, словом, хотелось бы знать откуда. — Петр Борисович чуть смущенно, но усмешливо смотрел на нас.

— Мы его на барахолке сегодня купили, и вот эти еще.

— Да-с, это фантастическая удача, — задумчиво произнес Петр Борисович и открыл другую нашу книгу.

И я вдруг почувствовал, что он не верит нам.

В каморке сгустилась такая тишина, что у меня зазвенело в ушах. Я опустил голову и ждал, что Петр Борисович сейчас на нас накричит и выгонит. Сразу стало некуда деть руки и лоб покрылся испариной. Рядом тихо посапывал Кирка. И я почему-то вдруг вспомнил наш двор и войну, когда мы с ним были еще маленькими и нам не нужно было никаких денег. Вспомнил развалины правого флигеля, служившие нам «штабом». Я увидел это памятью ясно-ясно. И старую кирпичную кладку полуразрушенных стен, и тополек, взошедший на угловом выступе стены флигеля из занесенного ветром семени; увидел нас самих — себя и Кирку, — сидящих в проломе стены. Я — в серых брюках и разбитых сандалиях, а на Кирке — вельветовые короткие штаны с помочами, и он босой, потому что ноги у него здорово выросли и ботинки стали малы. Мы сидели в проломе стены, разомлев от солнечного тепла, и мечтали о том времени, когда кончится война и нам будет хотя бы лет по четырнадцать, и мы сами построим парусную лодку и пойдем на ней вверх по Неве, туда, где на карте обозначена вытянутая голубая округлость Ладожского озера и в нее вдаются острые языки суши с чуть страшноватыми и такими влекущими названиями — мыс Волчий Нос, мыс Воронов — и много маленьких необитаемых островов. Мы сидели в проломе стены, нагретой солнцем, и верили, что все это обязательно будет. Только нужно быстрее подрасти, пробежать скучные годы, когда все считают тебя малышом. И вот мы пробежали эти годы, нам уже по четырнадцать. Но где наша парусная лодка? Мы ее не построили, а ладожские

мысы с таинственными названиями и зеленые необитаемые острова так и остались на затерявшейся карте. А мы стоим здесь, в книжной каморке, наполненной старыми фолиантами и пыльной тишиной, и сдерживаем дыхание от неловкости...

— Ребята! — вдруг услышал я голос Петра Борисовича. — Ребята, вы знаете, что это за книга? — Он двумя руками бережно поднял томик в скромном переплете жесткого картона с уголками и корешком из потертой кожи и взглянул на нас пытливо и зорко.

«Вот оно, начинается», — тоскливо подумал я и промолчал, отведя глаза.

— Нет, вы ответьте, пожалуйста, знаете ли вы, что это за книга? — потребовал букинист.

— «Капитал», — тихим, виноватым голосом произнес Кирка.

— Совершенно верно! — громко ответил Петр Борисович. — Но какой «Капитал», чья это книга?

— Мы не знаем, мы не хотели ничего такого. Честное слово, мы купили ее на барахолке... в придачу...

Петр Борисович отмахнулся от меня.

— Подойдите сюда, к свету, — строго приказал он. — Какой здесь год стоит?

Я посмотрел на желтоватый титульный лист, но все как-то расплывалось перед глазами.

— Тысяча восемьсот семьдесят второй, — неуверенно сказал Кирка.

— Именно, именно, молодые люди. — Петр Борисович вдруг тихо засмеялся, кашлянул коротко и сказал торжественно: — Это, запомните, мальчики, первое русское издание великой книги Карла Маркса и вообще первый перевод этой книги в мире. — Он помолчал, любовно погладил том. — Это очень редкая и нужная книга, ребята. Вы молодцы, что спасли ее. Там она могла просто погибнуть.

Петр Борисович иногда рассказывал нам о редких и старых изданиях, о переплетном искусстве. Ценились первые и прижизненные издания классиков, и для того, чтобы распознавать их, нам с Киркой пришлось выучить даты жизни Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Толстого и Достоевского, прочитать биографии, чтобы знать, когда впервые издавались «Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Мертвые души». Я подозреваю, что старый книжник советовал нам читать биографии не только для того, чтобы мы разбирались в редких книгах. Он сам был большим книголюбом и, наверное, хотел заразить нас этой любовью. И мы заразились. Прочитав биографию писателя, уже хотелось знать и все его книги. И мы читали, читали помногу, проглатывая книгу за книгой. Правда, проку от такого глотания было, пожалуй, меньше, чем от неторопливого, вдумчивого чтения. Но тогда мы еще не понимали этого.

Все лето занимались мы охотой за книгами. И наши капиталы убывали, хотя и не очень заметно, потому что интересных книг попадалось мало. Но перед самым началом занятий произошла неприятность.

В этот день мы пришли на барахолку поздно, потому что с утра зарядил неприятный, мелкий и назойливый дождик. Хламевщиков было совсем мало, да и те, что были, жались под стенку домов со

своим ржавым, рваным и трухлявым товаром, потому что возле домов было хоть чуть-чуть почище и суше.

Мы начали обход с Лиговки. Медленно, подолгу задерживаясь у каждой кучи хлама, двигались вдоль Обводного канала к Предтеченской улице (теперь это улица Черняховского). Какие-то старушки, стоя, продавали обветшалые кружевные шали, веера со страусовыми перьями, пожелтевшие бальные перчатки; инвалиды торговали штучными папиросами. «На пятерку три!» — выкрикивали они громкими хриплыми голосами. Велосипедный ряд пустовал, и только там, где торговали разными инструментами, подметками и голенищами старых сапог, было некоторое оживление. Мы брели вдоль ряда, присматриваясь к хламу, но книг не было. Перепрыгнули лужу и свернули на Предтеченскую. Здесь, разостлав на панели побуревшую клеенку, продавала барахло остроносая старуха с зычным голосом. Мы уже знали ее. Всякий день сидела она на этом месте и громко зазывала покупателей, предлагая помятые самовары без кранов, почерневшие мясорубки, кастрюли без ручек, самодельные бумажные цветы. Книг у старухи никогда не бывало, и мы не стали задерживаться возле нее, но, проходя мимо, я машинально бросил взгляд на ее товар и вдруг увидел целую стопу больших толстых книг в зеленых переплетах. Я толкнул Кирку в бок.

— Смотри, у крикуньи — книги, — почему-то шепотом сказал я.

Мы, не сговариваясь, прошли мимо. С этой сварливой старухой нужна была осторожность. Если бы она догадалась, что нас интересуют ее книги, то заломила бы несусветную цену. Мы потолкались в толпе сапожников и уже медленно направились назад. Я остановился возле старухи и, наклонившись, небрежно взял тяжелый том и увидел, что он с потускневшим золотым обрезом. Чуть потер переплет ладонью, и выступило мелкое тиснение на гладкой, матово блестящей зеленой поверхности. «Марокен!» — подумал я. Петр Борисович уже объяснил нам, что такое марокен. Это такой тонкий, самый лучший сафьян с тиснением и называется так потому, что сначала его привозили из Марокко. Марокен использовали только на очень хорошие переплеты. Петр Борисович рассказывал о знаменитых переплетчиках начала века Ариничеве, Шнеле и Ро. И вот я стоял над кучей хлама и держал в руках тяжелый том в зеленом марокене с мелким кружевным тиснением и четкими выдавленными рамками по краям крышек; на выпуклом жестком корешке выступали аккуратные кантики шнуров, на которых были сшиты тетрадки страниц. Я открыл книгу. Форзацы из кремового переливчатого муара выглядели такими свежими и чистыми, будто книга совсем новая. На титуле крупным шрифтом в виньетке из воинских доспехов и оружия было написано: «Историческое описание одежды и вооружения Российских войск с древнейших времен до 1855 года. А. В. Висковатова». В книге было много цветных литографий во весь лист — солдаты и офицеры различных родов войск с оружием и в полной форме; литографии тоже блестели как новые. Мы давно мечтали об этих книгах.

— Сколько стоит книжка? — спросил я старуху, небрежным жестом откинул том к стопе других и скучающим взглядом обвел все вокруг. Кирка отвернулся, будто его это совсем не интересовало.

— Иди-иди, гуляй, все равно не купишь! — на всю улицу закричала старуха.

Я спокойно ответил:

— Как хотите, а вообще-то я бы купил из-за картинок, — и показал ей кончик тридцатки, зажатой в кулаке.

— Ну тогда бери и уходи, а то стоишь, торговлю сбиваешь, — снова выкрикнула старуха.

Я прикинул на глаз, что томов больше десятка, и сказал вроде бы неохотно:

— Давайте все за двадцать рублей.

— Уходи-уходи, — замахала руками старуха, и я повернулся, делая вид, что сейчас уйду.

— Давай тридцатку и бери, — поспешно крикнула старуха, и я повернулся.

— Веревочку дадите?

— На тебе веревку. Такая веревка одна пять рублей стоит, — ворчливо, но тихо сказала старуха, подавая моток грязного шпагата. Я отдал ей деньги, а Кирка стал увязывать книги в пачку. Она получила большой и тяжелой. И я предложил:

— Давай разделим пополам.

— Лучше понесем попеременно, — ответил Кирка. — Помоги взять на плечо.

Кирка медленным, плавным шагом, чуть согнув колени, шел по самой бровке у откоса канала, а я топал следом и на ходу вертел головой — нет ли еще каких-нибудь книг. Кирка уже подошел к Предтеченскому мосту, а я притотстал немного, потому что все разглядывал товары хламьевщиков. И я прибавил шагу, обогнул небольшую толкучку, перешагнул через кучу тряпья, и тут чья-то рука, тяжелая и решительная, легла на мое плечо. Я повернул голову и обмер — это был милиционер.

— Что ты тут делаешь? — спросил он.

— Так просто, ничего, — ответил я кислым, как простокваша, голосом.

— Разве не знаешь, что школьникам сюда ходить нельзя?

— Не знаю, — соврал я плаксиво. Вообще-то я знал, нам в классе еще зимой объявили, что школьникам запрещается ходить на эту барахолку.

— Ну вот, пойдем в отделение, там узнаешь, когда матери штраф платить придется. — Милиционер снял с плеча руку и перехватил меня за рукав.

— Дяденька, я больше не буду, отпустите, — заканючил я, а про себя подумал: «Хорошо, что Кирка с книгами уже на мосту, а то и его бы забрали и отобрали бы все», — и я посмотрел в ту сторону. Кирка стоял на мосту возле перил с книгами на плече и смотрел на нас с милиционером. Я опустил голову и заканючил еще плаксивее:

— Честное слово, я не знал, что нельзя, отпустите, я больше не буду.

Но пожилой милиционер, словно не слыша, повел меня вперед, к Лиговке.

Кирка все стоял на мосту, а мы приближались к нему, и я подумал: «Почему он не уходит, почему?» И когда мы поравнялись с ним

на мосту, я хотел ему сделать знак — отрывайся, мол, пока не поздно. Но Кирка, чуть согнувшись под тяжестью книг, вдруг шагнул от перил к милиционеру и спросил громко и как-то требовательно:

— Товарищ милиционер, вы за что его забрали?

Милиционер остановился, удивленный. Прохожие бросали любопытные взгляды, но проходили мимо, не останавливаясь. Пованивала гнилая вода Обводного канала. На повороте с Лиговки скрежетали трамваи. На том берегу канала, наискосок, у пожарной команды, люди в серо-желтых куртках скатывали пожарные рукава с блестящими медными наконечниками.

— А ты кто такой? — спросил милиционер Кирку.

— Я его товарищ. Мы — вместе, и он ничего такого не сделал.

— Ах, вместе? Тогда пойдем с нами.

«Детская комната» в отделении милиции была просторной и светлой. На столе валялось несколько потрепанных букварей и какие-то резиновые слоники, куклы — игрушки для самых маленьких.

Мы долго сидели, запертые в этой комнате. В окна смотреть было неинтересно, потому что они выходили в глухой большой двор, мощный булыжником и пустой.

Мы не разговаривали, от уныния слова не шли на язык. Кирка только сказал со вздохом:

— Влипли плотненько.

А я не ответил, потому что был зол на него. Кто его просил подходить, когда милиционер вел меня. Я бы один отвертелся, чего-нибудь соврал бы, а теперь с этими книгами уж никуда не денешься, придется говорить правду. Я развязал пачку, взял один том наугад и стал листать его. Том был тяжелый, и держать его на весу было трудно. Тогда я сел на пол, а книгу положил на сиденье стула. Кирка поглядел на это и последовал моему примеру.

Я сидел на полу и рассматривал цветные картинки: офицеры в зеленых и красных, шитых золотом мундирах, в высоких киверах и треуголках; буки, пудренные парики, косы, прямые шпаги и кривые сабли с золочеными рукоятками, протазаны, старинные и немного смешные ружья с примкнутыми штыками и всякие перевязи, пояса, шарфы с кистями и без кистей — золоченые, лаковые, белые и черные, с медными пряжками и бляхами — все сверкало и пестрело, вызывая у меня одновременно и любопытство и усмешку, потому что я знал, что с современным ППШ можно было бы разогнать целый полк такого ярко разряженного войска. Но все равно смотреть картинки было интересно. А рядом тихо шелестел страницами Кирка. И как-то позабылось, что мы не дома, а в милиции, в комнате, которая странно называется «детской» и заперта на замок. И я не услышал, как открылась дверь.

— Здравствуйте, мальчики, — раздался спокойный женский голос.

Мы с Киркой вскочили и от неожиданности забыли ответить.

Невысокая худенькая женщина села за стол с игрушками, посмотрела на нас и спросила сначала Кирку:

— Тебя как зовут?

— Кирилл.

— А фамилия?

— Синицын.

Кирка стоял набычившись, опустив глаза в пол, и я увидел, как он покраснел.

— Ладно, садитесь, пожалуйста. — Женщина кивнула ему и посмотрела на меня. Я ответил, не дожидаясь ее вопроса:

— Серов Валентин.

— А где вы живете?

Я назвал адрес и тоже сел на стул. Женщина стала писать что-то в большой, похожей на классный журнал тетради. Потом подняла голову и снова спросила:

— Ну, расскажите, что вы делали на толкучке? — Она посмотрела на меня, и я почувствовал, что краснею, и забормотал отрывисто и бессвязно:

— Ничего... просто так... смотрели... книжки...

— Нет-нет, не так. Расскажи ясно, четко. Вы же в седьмой класс пойдете в сентябре, а строить свою речь не умеете.

«Умею я строить речь, если надо», — мелькнуло у меня.

— Мы ходили покупать книжки, — спокойно сказал Кирка, встав со стула.

— Что же вы в магазине не купили? — спросила у него женщина.

Я с удивлением наблюдал, как Кирка, не смущаясь, отвечает ей, и все у него получается складно и просто.

— Таких книг в магазине нет. Это старинные.

— А зачем вам старинные?

— Нам интересно.

— Ну-ка покажите, что это за книги? — Женщина протянула руку над столом. Я взял тот том, который рассматривал до ее прихода, и подал.

— Ого, какая тяжелая. — Она понюхала книгу почти так же, как Петр Борисович, и поморщилась. — Фу, пахнет затхлостью, помойкой. Неужели вам не противно? И заболеть можно, тут всякие микробы, наверное.

— От микробов и запахов протирают слабым раствором марганцовки, — сказал Кирка. Этому нас научил Петр Борисович.

— Да? — Женщина удивленно посмотрела на Кирку и раскрыла книгу. Я вытянул шею и тоже заглянул через стол. На картинке во весь лист был изображен зеленый гусар в красных сапогах и золотом кивере. Женщина перелистала еще несколько иллюстраций, потом посмотрела титульный лист.

— Все война, война... Как вам не надоело? Ведь только кончилась... — Она тяжело вздохнула, чуть прикрыла глаза и сразу стала похожа на мою мать, когда она усталая приходит с работы. И я подумал, что у этой женщины тоже есть сын и тоже, наверное, непослушный вроде нас с Киркой.

— Отцы-то живы?

— Нет, — ответил Кирка. — И у меня, и у него.

— Ну вот, — тихо сказала женщина, — вместо того чтобы пособить матери, вы по толкучкам ходите. А теперь еще штраф платить придется. — Она снова вздохнула, брезгливо отодвинула книгу.

— Мы больше не будем, — на всякий случай сказал я.
Она устало отмахнулась.

— Штраф все равно будет. Не могу я вас отпустить так, раз дежурный записал, что задержаны на барахолке. — Она помолчала, не глядя на нас, потом сказала: — Эх вы, вояки.

Мы вышли на улицу. После милиции с ее сумрачными коридорами Лиговка казалась светлой и праздничной. Напротив, у Московского вокзала, на трамвайной остановке было много народу, шумели машины, и небо светлело голубыми яркими окнами на серо-лиловом сплошном фоне. Я нес книги и даже не чувствовал их тяжести.

— Обошлось, — сказал Кирка.

— Да погоди, вот пришлют штрафы — тогда узнаешь, — сказал я, но сам несколько не чувствовал беспокойства.

— Подумаешь, — ответил Кирка. — Нужно только, чтобы матери не увидели. А заплатим сами.

— Законно! — обрадовался я.

Так, легким испугом, закончилось наше первое знакомство с милицией. Штрафы мы заплатили сами. Подстерегли эти желтоватые открытки с типографским шрифтом в почтовых ящиках и заплатили по десять рублей в инкассаторском пункте, где принимали плату за свет, телефон и квартиру. В этих извещениях о штрафе было написано: «За оставление несовершеннолетних детей без надзора». Но наши матери так ничего и не узнали до поры. Они вообще ни о чем не догадывались: ни о нашей букинистической деятельности, ни о походах на барахолку, ни о желании иметь велосипеды, ни о сбережениях. То, что наша библиотека здорово выросла, они тоже не замечали. В квартире у Кирки был небольшой чулан, в котором раньше была столлярная мастерская его отца. Этот чулан Кирка и занял по праву наследства. Мы с ним сами сколотили стеллажи и рядами расставили свои книги. Верстак Киркиного отца заменял нам стол, а скамейку мы тоже смастерили сами. Киркина мать никогда не заглядывала в этот чулан — очень уж она уставала на дежурствах у себя в больнице. Да и моя мать уставала здорово. Вообще тогда мы не понимали, как трудно нашим матерям, — вернее, понимали, но были слишком эгоистичны, поглощены собой, своими желаниями, чтобы по-настоящему задуматься об этом. Мы воспринимали как должное то, что наши матери, вернувшись с работы, тут же принимались за стирку, уборку и стирку. Я только потом понял, что моя мать почти всю жизнь провела на ногах. Она стояла на кухне у примуса, стояла за корытом, стирая мои вечно грязные рубашки, стояла в очередях за продуктами. Даже очень устав, мать отдыхала стоя. Она подходила к окну и стояла, опустив руки и прикрыв глаза, и по ее неулыбчивому лицу я понимал, что она смотрит на улицу, но ничего не видит.

Не знаю, замечал ли я все это тогда и понимал ли; может быть, только сейчас, когда усталое и красивое лицо матери, с полузакрытыми глазами стоящей у окна, всплывает в памяти, я начинаю понимать, как трудно ей было тогда и каким тупым и черствым был я.

Вот говорят: «переломный возраст». Может быть, у нас с Киркой и был тогда переломный возраст — тот возраст, когда человек уже

не ребенок, но еще не взрослый; когда мечта о велосипеде и невозможность ее осуществить как бы загораживает все остальное, становится самым главным в жизни. Как будто на этом велосипеде можно уехать из детства, умчаться во взрослую жизнь, которая совсем близко. Ты промчишься по знакомой улице, оставляя позади старые дворы, где гонял в футбол, подрывал боеприпасы, дрался со сверстниками и проказничал; светофоры на перекрестках будут подмаргивать тебе зеленым глазом, а ветер — освежать лицо, и где-то там, за дальним поворотом в конце улицы, начнется твоя взрослая жизнь...

Нам так не терпелось прийти к этому повороту.

7

Занятия в седьмом классе мы начали охотно, с твердой решимостью учиться как можно лучше. Мы уже подумывали о летней спецшколе и понимали, что для поступления в нее нужен аттестат с различными оценками.

Увлечение самолетами и решение поступить в спецшколу пришли как-то неожиданно.

Мы были поглощены мечтой о велосипеде. По-прежнему, но уже с опаской, таскались на барахолку за старыми книгами, еще дважды пилили дрова, и наши накопления заметно увеличились. До покупки велосипеда оставалось совсем немного, не хватало лишь маленькой суммы, но иногда, не удержавшись, мы тратили на мороженое или еще на что-нибудь. Много раз мы с Киркой зарекались не тратиться, но разве можно удержаться от искушения зайти в магазин, а как уж тут не купить чего-нибудь, если в кармане есть деньги.

Вот так в один летний день мы с Киркой зашли в осовавихимовский магазин на Невском. Магазин был узкий, длинный. На полках стояли противогазы в зеленых брезентовых сумках, висели на стене разные плакаты, на которых показывалось, как стрелять из малокалиберки, преодолевать пересеченную полосу, управлять мотоциклом. Плакаты нас не интересовали, а противогазы мы и в войну не считали чем-нибудь интересным. Но под стеклом прилавка лежали большие продолговатые пакеты с надписью «Авиапосылка» и еще — фанерные коробки, на которых были нарисованы синие самолеты и стояла надпись «Авиаконструктор».

Продавец, совсем молодой парень с комсомольским значком на куртке, подошел к нам и сказал:

— Ну, ребята, покупайте авиапосылку. Всего пять рублей, а удовольствия на целую неделю.

— А чего в ней, ну, в этой посылке? — спросил Кирка настороженно.

Парень удивленно посмотрел сначала на Кирку, потом на меня и спросил:

— А что, вы не знаете? — И нотки пренебрежительного сожаления слышались в его голосе.

— Нет, мы сюда первый раз зашли, — ответил я, как бы извиняясь.

— Сейчас покажу, — сказал продавец и скрылся за дверью, которая вела из магазина в кладовку.

С минуту мы с Киркой были одни в тесном зальчике и смущенно разглядывали полки и сероватый, в трещинах потолок.

Потом дверь широко распахнулась и белоснежный маленький самолет вплыл в сумеречный зальчик магазина. Молодой продавец держал его на вытянутой вперед и вверх руке, и мне казалось, что самолет плавно и медленно летит.

— Во, видали! — Продавец, победно улыбнувшись, поставил самолет на стекло прилавка. И сразу стало светлее вокруг от белых, сужающихся к концам крыльев, от сигарообразного фюзеляжа. Самолет стоял на маленьких фанерных колесиках с настоящими резиновыми шинами. Он чуть задрал вверх свой острый нос с красным лакированным пропеллером и, казалось, был готов взлететь в любую минуту.

Я смотрел на ребристый цилиндр бензинового моторчика, торчащего из передней части фюзеляжа, на крутой профиль кия и боялся даже дотронуться до этой белоснежной модели.

— Вот это из такого авиаконструктора сделано. Ну, а в посылке, конечно, попроще модель, схематическая и с резиномотором. Но если точно сделать, она летает дай бог, — сказал продавец. — Правда, повозиться надо и руки иметь. Если человек в руках инструмента не держал, то дело гиблое — ничего не выйдет.

— А сколько авиаконструктор стоит? — спросил Кирка и впился в продавца глазами.

— Да стоит-то десятку. Но начать надо со «схематички». Я уже пять лет занимаюсь моделизмом, а такую первую модель делаю. Да и бензомоторчик достать трудно, их в продаже почти не бывает. Так что берите для начала эту. — Он вытащил посылку и положил на прилавок рядом со своей моделью.

Кирка посмотрел на меня, и я молча достал пять рублей.

— На угол Желябовой сходите, там в магазине книги по моделизму есть, — напутствовал нас продавец.

Так началось наше авиапомешательство. Все свободное время мы мастерили в Киркином чулане модели или читали книги о самолетах, даже меньше интересовались велосипедами. Но все же иногда, после уроков, направлялись на барахолку.

Так, среди увлечения самолетами, мечты о летной спецшколе и непроходящего желания занять велосипед, прошло первое полугодие седьмого класса. В седьмом мы с Киркой учились сносно, даже хорошо, несмотря на все увлечения, которые требовали уйму времени. Но наша классная руководительница Вера Васильевна почему-то невзлюбила нас. Я почувствовал это еще в прошлом году, когда она велела привести родителей за то, что мы промотали занятия. Нет, я вовсе не думал, что она похвалит нас за это, — с прогульщиками Веруша, как ее называли в классе, не церемонилась. Но я заметил, что она уж больно обрадовалась, когда мы с Киркой не смогли назвать уважительных причин своего пропуска занятий. И ни просьбы наши, ни обещания, что этого больше не повторится, не помогли. Веруша выгнала нас тогда до прихода матерей. А в седьмом классе мы вдруг оказались самыми главными разгильдяями, потому что Зем-

скова уже не было — он поступил в ремесленное, — и все раздражение Веруши обратилось на нас. Правда, этому были причины.

В зимние каникулы нас снова забрали в милицию на барахолке. Это была уже крупная неприятность. В каникулярные дни мы зачастили на толкучку, потому что хотели побыстрее, уже к весне, купить велосипед. Правда, зимой на барахолке было затишье. Ни велосипедов, ни мотоциклов не продавали, только изредка на площадке толклись какие-то люди, и среди их отрывочных разговоров мы улавливали чем-то волнующие названия марок мотоциклов: «индиана», «триумф», «ковентри», «цюнтап». Мы понимали, что на площадке идет заочная торговля. И там мы познакомились с одним дядькой. Он сам подошел к нам в морозный январский день.

Народу на площадке было человек десять, и дядьке, видимо, не с кем было поговорить. Приплясывая, чтобы согреть ноги, он подошел к нам. Маленький, толстый такой дядька в потертом коричневом треухе и кожаном полупальто-канадке. Он окинул нас хитроватым взглядом узких глаз из-под низко надвинутого треуха, хрипловато спросил:

— Ну, что ищете, ребята, что продаете? — Он вытащил пачку «Беломора», закурил, крутнув колесико самодельной зажигалки из гильзы винтового патрона.

Мне почудилась какая-то насмешка в его вопросе, а тогда я считал себя человеком очень серьезным и насмешек не любил. Поэтому я не ответил. Кирка тоже промолчал. Но дядька не отошел. Он опять усмехнулся и сказал:

— Таким ребятам надо технику осваивать. Сколько вам, лет по семнадцати? Самое время колеса приобретать. — Он выпустил длинную струйку папиросного дыма, смешанного с морозным паром, и снова стал приплясывать.

Я был польщен, что дядька принял нас с Киркой за семнадцатилетних, прибавив нам почти по два года. И его лицо и глаза уже не казались мне насмешливыми — просто веселый такой дядька. И я ответил ему:

— Да вот хотим купить велосипед, но не попадается такой... — Я чуть было не сказал «дешевый», но осекся. Почему-то говорить, что нам нужен недорогой велосипед, было стыдно.

— Хо! Велоси-пед! — Дядька махнул рукой в пестрой вязаной варежке. — Да это вчерашний день техники. Вело-сипед, — повторил он, пренебрежительно растягивая слово. — Много движений и мало достижений. Нет, ребята, на мускульном движке теперь далеко не уедешь. Мотор! Мотор, — он потряс поднятой рукой, — вот что теперь главное. Война у нас была какая? — Он сделал внушительную паузу и сказал негромко и значительно: — Война моторов. Смогли мы создать перевес в технике — и победили.

Мы с Киркой внимательно слушали дядьку. И мне казалось, что он прав: велосипед действительно не техника в сравнении с мотоциклом. Но о мотоцикле даже и мечтать не стоило.

— Мотоцикл дорогой, и права нужны, — сказал Кирка.

— Да я разве что говорю, — сказал дядька и, перестав приплясывать, подошел вплотную. — Вот я вам сейчас покажу одну вещь — заболаете сразу. — Он бросил окуроч, затоптал его в грязный

заслеженный снег и полез во внутренний карман канадки, достал небольшую фотографию с отломанным уголком и протянул нам.

Жесткий кусочек картона был теплым, я держал его на ладони и старался, чтобы пар от дыхания не попадал на него. Рядом сопел Кирка.

Мы рассматривали маленькую, тускловатую в зимнем дневном свете фотографию. На этой фотографии на фоне берез парень в майке и галифе, заправленных в сапоги, сидел на маленьком мотоцикле. Сначала я увидел мускулы на плечах парня, сильную, перевитую мышцами шею и наклоненную вперед лобастую голову с коротким и жестким на вид ежиком волос, а потом я уже рассмотрел мотоцикл. Нет, то был не мотоцикл, а что-то другое. Колеса были больше и тоньше, как велосипедные, и педали я увидел четко. Но это был и не велосипед, потому что в треугольной раме стоял одноцилиндровый оребренный мотор, а над ним — бензиновый бачок. На руле была маленькая фара, и солнце играло в щитках колес.

— Это веломото, — словно издали послышался голос дядьки. — Вот, сын привез с войны.

Я с трудом оторвал взгляд от фотографии, вернул ее. И почему-то тревожное и радостное предчувствие охватило меня, будто вот-вот должно случиться что-то удивительное и желанное.

Дядька смотрел на меня, и под его взглядом я почувствовал, что краснею на легком морозе, — лицу стало жарко.

— Вот, продаю. Недолго парень мой покатался, — сказал дядька и опустил голову. — Он и осколок привез с войны — здесь. — Рука в пестрой вязаной варежке постукала по груди.

На грязном заслеженном снегу площадки топтались одинокие редкие фигуры людей. Легкий мороз пах леденцами. Я смотрел на друг понурившегося дядьку и чувствовал одновременно и грусть, и радостное волнение.

Дядька поднял голову и сказал негромко:

— Вот, стало быть, продаю, не ржаветь же теперь машине. Пусть послужит другим. Я-то староват для такого транспорта, а вам — в самый раз. — Он снова достал папиросу и чиркнул зажигалкой.

— Но у нас денег не хватит, — сказал Кирка, и по его голосу я понял, что он испытывает те же чувства, что и я.

— Да я не заломлю, чего с вас брать. Просто охота, чтоб молодым достался, — сказал дядька.

Сердце у меня вздрогнуло.

Кирка шумно вздохнул, выпустив целый клуб пара.

— Да вы посмотрите, пойдёмте, — уже снова улыбаясь, сказал дядька. — Здесь близко, на Курской.

По крутой темной лестнице мы поднялись на третий этаж. Дядька достал ключи и сказал каким-то заговорщицким тоном:

— Меня Иван Николаевич зовут, вы уж меня так дома и величайте. И сами назовитесь.

— Я — Кирилл, а он — Валентин.

— Вот и хорошо, хорошо. Вы уж так... хозяйке моей постарайтесь показаться.

Вслед за Иваном Николаевичем мы вошли в тесную прихожую. Долго топтались на коврике, вытирая ноги. А Иван Николаевич

каким-то преувеличенно веселым голосом закричал в недлинный коридорчик:

— Маша, Машенька!

Высокая худощавая женщина медленно прошла по коридорчику к нам в переднюю. Мы поздоровались, она ответила только наклоном головы. Лицо ее было бледным и строгим.

— Маша, вот я мальчиков привел — хорошие мальчики, — продам им Колин мотоциклик. Чего уж теперь... — Он не закончил фразы, а только безнадежно махнул рукой.

Женщина подошла ближе и посмотрела на каждого из нас. Лицо у нее было старое, но красивое, а глаза — какие-то неподвижные.

— Мойте руки, будем обедать, — вдруг сказала она высоким чистым голосом и, повернувшись, пошла по коридору.

Иван Николаевич подмигнул нам и шепнул:

— Раздевайтесь, ребята.

Мы сидели за круглым столом в большой светлой комнате, а с портрета на стене на нас смотрел, улыбаясь, лейтенант в пилотке набекрень; на гимнастерке лейтенанта было два ордена Красной Звезды и несколько медалей. Я узнал в этом лейтенанте того самого парня, который сфотографировался на фоне берез, сидя на велосипеде.

Мы почти ничего не ели, хотя обед был вкусный — и борщ, и жаркое. Очень уж не терпелось посмотреть велосипеда.

Наконец обед закончился. Иван Николаевич закурил свою беломорину. Мы сказали «спасибо».

— Машенька, так мы пойдем, посмотрим. Должны же ребята видеть, что покупают, — сказал он тихо.

— Отдай им так. Зачем тебе деньги? — Она посмотрела на портрет лейтенанта на стене.

— Да я ведь немного с них прошу. А так отдавать нельзя, ценить не будут. Ну, пойдем.

Мы надели пальто и по черной лестнице спустились во двор. Иван Николаевич отомкнул дверь сарая. И в уже тускнеющем свете зимнего дня мы увидели велосипеда. Он стоял на хромированной подставке, поблескивая голубым лаком щитков и бачка, и, задрав переднее колесо, казалось, приготовился к прыжку. Нет, это был не какой-то там ржавый велосипедишко, о котором мы мечтали. У него были толстенькие колеса и два седла — переднее и заднее. От мотора шла цепь к заднему колесу, другая цепь — от звездочки с педалями — тоже к заднему колесу. Он соединял в себе сразу достоинства велосипеда и мотоцикла. Да, это была машина! Такая даже не снилась нам.

— А ну, сядь. Не высоко будет? — сказал мне Иван Николаевич.

Я торопливо и неловко сел в черное кожаное седло, дрожащими руками взялся за холодные, покрытые резиной рукоятки руля и замер.

Потом сел Кирка. Нос у него покраснел, губа была прикушена так, что стала белая.

— Ну вот, ребята, — сказал Иван Николаевич. — Нравится?

Я только кивнул.

— Правда, он сразу не заведется. Все-таки машина почти год простояла. Тут, конечно, руки приложить надо. Но это даже

полезнее — разберетесь в нем лучше, пока ремонтом будете заниматься. А так он весь в комплекте. Мой парень аккуратист был... Да. — Он полез в карман за папиросой.

— Мы его купим, — решительно сказал Кирка. — Только через неделю. Ну, от силы — десять дней. Только вы никому не продавайте, подождите, пожалуйста.

— Все! Уговор есть уговор, — сказал Иван Николаевич и протянул нам руку. Мы попрощались и выскочили на улицу. На Лиговке дул встречный ветер и бросал в лицо снежную колючую крупку, но мне было жарко.

А в первый день занятий было классное собрание, на котором разбирали сообщение из милиции. Мы с Киркой стояли у доски, и весь класс сверлил нас любопытными взглядами. А Веруша стояла у задней стены между второй и третьей колонкой парт и говорила злобным визгливым голосом:

— Посмотрите на них внимательно! Они — спекулянты! Им не дорога честь школы! Во втором полугодии многие из вас будут вступать в комсомол, и я охотно дам рекомендацию. Но разве можем мы принять в комсомол этих торгашей? Нет, не можем...

Веруша говорила много и громко. А я стоял понурившись и думал: «За что она нас так ненавидит?»

Вообще все было плохо. В классе нас прозвали барыгами. Правда, в глаза называть перестали почти сразу, потому что Кирка погрозился дать в морду любому, кто еще раз это скажет. Но мы знали, что за глаза нас все равно называют этой позорной кличкой. Настроение упало, в школу мы с Киркой шли, как на казнь. И нам еще больше захотелось иметь велосмота, чтобы хоть как-то утвердить свое превосходство над теми, кто называл нас барыгами.

В классе теперь мы почти ни с кем не разговаривали, а Вера Васильевна перестала замечать нас, даже не вызывала отвечать. И мы старались не замечать ее и весь класс. Все вечера просиживали мы в Киркином чулане, не выходя на улицу, ничем не интересуясь. Мы даже между собой разговаривали мало, не брали в руки любимых книг. Они молча стояли на стеллажах по стенкам чулана, а мы, грустно подперевшись, сидели за верстаком на жесткой скамейке, лишь изредка роняя отрывистые слова. Кирка был мрачен, все время жевал нижнюю губу и сопел.

Как-то я сказал в утешение себе и ему:

— Подумаешь, наплевать на все. Поступим в спецшколу и забудем про это.

Кирка долго не отвечал, смотрел куда-то в угол чулана, кулаком подперев подбородок, потом сказал, не разжимая зубов:

— Не поступим.

— Почему это? — так и подскочил я на скамейке.

— Туда характеристика нужна, — ответил Кирка, продолжая глядеть в угол.

Да, он, как всегда, был прав. На приличную характеристику теперь рассчитывать не приходилось.

Больше недели владело нами такое подавленное настроение. И горше всего и обиднее было то, что не видать нам чудесного голубого велосмота. Мы уже даже не вспоминали об Иване Николаевиче.

Казалось, что этот добрый человек и маленький, блестящий хромированными частями мотоциклик приснились нам во сне.

Матери тоже были рассержены на нас. Они вместе были в школе и беседовали с Верой Васильевной. Мы, конечно, не слышали этого разговора, но могли догадаться о его содержании. Моя мать сумрачно молчала после этого несколько дней, а Кирке досталось от Марии Сергеевны. И теперь, когда я приходил, она раздраженно ворчала:

— Опять собрались, заговорщики. Будете сидеть в своей конуре и плутни изобретать.

Я отмалчивался. Да и что я мог ответить матери своего друга, чем оправдаться...

Чтобы хоть как-то загладить свою вину перед матерями, мы с Киркой старались быть особенно внимательными к ним. Сами, без напоминаний, шли в лавку за картошкой или за керосином, приносили дрова из подвала, топили печки. Я даже один раз вымыл пол в комнате, но мать, придя с работы, сделала вид, что не заметила. В хозяйственном пылу мы решили навести порядок в Киркином чулане и протереть книги, потому что они довольно здорово запылились. Вообще в те дни мы старались в свободное от уроков время занять себя какой-нибудь работой, чтобы не думать о наших скверно сложившихся делах и не вспоминать о веломото.

И вот, вооружившись тряпками, мы стали протирать наши книги. Честно говоря, я не любил заниматься подобной работой, — в ней нет ничего такого вдохновляющего. Но перебирать книги было приятно. Я снимал томик с полки, клал на верстак, а Кирка обмахивал корешок и обрезы чуть увлажненной тряпкой, и я снова ставил книгу на место. С каждой книжкой была связана целая история, и я попутно вспоминал, где мы ее достали, когда прочли и какое она произвела впечатление. Я подавал книги, и сам думал обо всем этом и так увлекся, что даже не заметил, что Кирка давно положил тряпку и застыл, прикусив свою толстую нижнюю губу, а на столе уже целая стопка непротертых книг.

Я удивился и спросил:

— Ты чего?

— Это же книги! — сказал Кирка каким-то удивленным голосом.

— Ха, а ты только догадался? — съязвил я.

— Дурак! Ведь их можно продать! — заорал Кирка как сумасшедший.

Через минуту я уже сидел над листком бумаги, а Кирка диктовал мне названия и годы изданий. Тут не обошлось и без споров. То Кирка не хотел продавать какую-нибудь книгу, то я. Но в конце концов мы пришли к соглашению и со списком отправились к Петру Борисовичу. Старый букинист встретил нас приветливо.

— Здравствуйте, здравствуйте. Что-то давненько вы не появлялись, — улыбнулся он.

— Вот, посмотрите, пожалуйста, что из этого можно продать.

— Ну-с, давайте посмотрим. — Петр Борисович стал читать список. Мы молчали. Я все время следил за выражением лица старого букиниста. Он то щурился, то удивленно поднимал бровь, и я думал, что ему трудно разбирать мои каракули. Вот наконец Петр Борисович прочел весь список, положил его на свой стол и поднял глаза.

— Вы, похоже, свою библиотеку распродаете? — удивленно спросил он.

Врать было неохота, и я брякнул:

— Да, очень нужны деньги.

— Деньги... Да-с, — задумчиво пробормотал Петр Борисович, потом зорко глянул на нас. — А с книгами не жаль расставаться?

Я хотел сказать, что нет, но вдруг понял, что мне действительно жаль наших книг, таких знакомых и привычных на самодельных полках в чулане, книг, за чтением которых мы столько думали, огорчались, радовались, спорили... Я не ответил Петру Борисовичу и опустил голову. Промолчал и Кирка.

— А на что вам, позвольте полюбопытствовать, деньги? Неужто есть что-то привлекательнее книг? — спросил Петр Борисович.

— Мы мотоцикл хотим купить, только вот не хватает, — ответил Кирка.

— Что-что, мотоцикл?.. Да-да, понимаю. — Петр Борисович улыбнулся. — Будь я помоложе, наверное, тоже не устоял бы. Ну, что ж, приносите вот эти. — Он быстро поставил карандашом «галочки» в списке. И мы побежали увязывать книги.

8

На следующий день, сразу после школы, мы помчались к Ивану Николаевичу. Кирка нажал кнопку звонка и прикусил нижнюю губу.

— А вдруг продал уже? — срывающимся шепотом спросил я. Кирка только дернул плечом.

Мы напряженно прислушивались к тишине за дверью квартиры, наконец расслышали шаги. Дверь распахнулась.

— А, пришли, — сказал Иван Николаевич и улыбнулся. — Я уж думал-гадал, куда это вы запропали. Ну, проходите. — Он отступил, и мы вошли в переднюю.

— Маша, Машенька! — закричал Иван Николаевич в глубь коридора.

Вышла его жена, и мы поздоровались.

— Вот, пришли все-таки, — сказал ей Иван Николаевич.

— Мойте руки, будем обедать, — сказала своим высоким и чистым голосом жена.

Мне не терпелось заполучить мотоцикл, и вообще не хотелось есть, но отказаться я не решился, а Кирка сказал:

— Спасибо, мы уже обедали.

Иван Николаевич развел руками и посмотрел на жену. Она ничего не возразила и, повернувшись, пошла по коридору.

Иван Николаевич сказал нам шепотом:

— Вы не смущайтесь, она добрая. Просто Колю забыть не может. Как увидит мальчишек, так плачет.

— Простите, — так же шепотом ответил Кирка.

Мы тихонько вышли из квартиры и спустились во двор. Иван Николаевич отомкнул сарай. И мы увидели веломото. Он стоял на хромированной подставке, поблескивая голубым лаком щитков и

бачка, и, задрвав переднее колесо, казалось, приготовился к прыжку — теперь это была наша машина!

Я отдал Ивану Николаевичу деньги.

— Ну, счастливо владеть, — сказал он, пожимая нам руки. — Летом подьедте, покажитесь. И вот документы, не потеряйте.

Мы попрощались и выкатили веломото из сарая. Медленно двигались мы по Лиговке, через Невский, по улице Восстания. Я держался за руль, а Кирка — за седло, и прохожие оглядывались. А наша машина блестела голубым лаком и сверкала хромированными частями. У меня не было варезок, а руль был холодный от мороза, но руки не мерзли. По нашей улице мы катили машину еще медленнее, и очень хотелось, чтобы кто-нибудь из ребят попался навстречу и увидел нас. Но никого не было. И только у дома двадцать девять наперез нам метнулась долговязая фигура в какой-то потасканной шинели и бескозырке без ленточек.

— Эй, здорово, пацаны! — услышали мы писклявый знакомый голос.

Мы остановились. Секунду я смотрел на чем-то знакомое узкое лицо и не узнавал, а потом узнал и эти линияые глаза, и узковатое тускло-бледное лицо. Это был Вовка Земсков. Мы стояли и смотрели на него, на странную черную шинель и бескозырку без лент. Бескозырка была маленькой и мелкой, едва прикрывала темя, и было видно, что Вовка острижен под ноль, кожа головы покраснела от холода, и сильно торчащие уши тоже были красные. Полгода не встречались мы с Вовкой; за это время он здорово вытянулся и вообще стал какой-то другой.

— Ты где пропадал? — спросил Кирка.

— Отсюда не видать, — ответил Земсков, достал из кармана шинели кривой окурочок папиросы и спички. Огонь у него угасал, и он испортил несколько спичек, прежде чем прикурил. Потом затаился так, что на бледных щеках появились впадины, и сказал:

— А вы все шпаните?

— Чего? — не понял Кирка.

— Ничего, — криво усмехнулся Вовка, — попадете в колонию — узнаете.

— А мы туда не собираемся, — сказал я.

— Это как повезет. Где драндулет угнали? — спросил Вовка.

— Сам ты — драндулет. Это веломото дэ-ка-вэ, — ответил Кирка.

— И не угнали, а купили, — добавил я.

— Ничего себе, богачи, купили. Так я и поверил. Это в милиции заливать будете. Где вы столько грошей взяли? — сказал Вовка все с той же усмешечкой. А я разозлился за усмешечку и за недоверчивый тон.

— Денег достали. Сам же говорил, что деньги кругом валяются, только подбирай умеючи, — поддел его я.

— Ишь ты, да вы, какись, деловые, — с удивлением сказал Вовка и перестал усмехаться.

— Ладно, пошли, — сказал я Кирке и двинул машину вперед. Земсков пошел рядом.

— Летом покатаемся, да?



— Кто покатается, а кто и посмотрит, — бросил я на ходу.
— Ты где-нибудь учишься? — спросил Кирка.
— Не, я уже ученый. У меня свои дела. — Он выплюнул окурок. — Ну, бывайте. — И сунув руки в карманы шинели, пошел прочь. Мы даже не оглянулись, не до него было.

С трудом мы вкатили машину на второй этаж в Киркину квартиру и поставили в просторной передней. И здесь под светом двадцатипятисвечевой лампочки, среди стен, оклеенных желтоватыми обоями, велосмото выглядел большим тяжелым мотоциклом. Мы молча стояли в передней и смотрели, как в тепле запотевают лакированные голубые поверхности, и мне казалось, что все это неправда, что это только снится в обманном предутреннем сне.

С этого дня мы с Киркой все время испытывали тихое радостное возбуждение. Мы уже не замечали косых взглядов Веры Васильевны, не слышали шепотка ребят за нашей спиной — все это вдруг стало безразлично. Мы просто присутствовали в классе по необходимости и старались учиться получше, потому что получать «пары» было унизи-тельно, и еще нам не хотелось доставлять удовольствие ни Веруше, ни ее любимчикам, у которых на лицах сразу появлялось злорадное ожидание, когда меня или Кирку вызывали отвечать. И, как ни странно, приличная учеба не требовала особенного напряжения. Домашние задания давались нам легко, и делали мы их быстро. Может быть, все это получалось потому, что нам не терпелось заняться своей машиной. А мы с Киркой договорились, что, как приходим из школы, сначала по-честному делаем уроки и только потом занимаемся велосмотом. Вообще мы здорово изменились, даже наши матери были довольны тем, что мы не болтаемся целыми днями по улице и не приносим из школы двоек и замечаний в дневнике. Они, конечно, сначала насторожились — и Мария Сергеевна, и моя мать, — но потом поверили, что с велосмотом все в порядке, что мы его нигде не свистнули. Правда, пришлось признаться, что мы давно копили деньги, заработанные пилкой дров, и даже дать адрес Ивана Николаевича. Моя мать ходила к нему, выяснила, правду ли мы говорим, — она не верила сначала, что нам продали мотоцикл так дешево. Ну, а потом уж наши матери были довольны, что мы попристихли. Мария Сергеевна даже не ворчала на то, что весь коридор пропах бензином и смазочным маслом, потому что мы без конца смазывали и чистили нашу машину. Все вечера мы проводили около нее или за книгами о мотоциклах. Мы уже знали каждый болтик, любую гаечку в нашем велосмоте. Мы начистили его так, что он сверкал, как хирургический инструмент. И чем больше мы возились и чистили, тем сильнее хотелось нам испытать его. Мы уже пробовали прокатиться по коридору, не заводя двигателя. Это было здорово, хотя педали крутились туговато. И мы торопили время, чтобы быстрее пришла весна и можно было бы попробовать мотор. Нам казалось, что стоит только поднажать на педали, чуть разогнаться, отпустить сцепление — и мотор затарахтит задорным ритмичным таканьем, и машина рванется вперед. Я даже поху-дел от нетерпения. А весна все не наступала, дни тянулись медленно и нудно, и уже не было никаких сил терпеть. Мы решили завести мотор прямо в квартире.

Мария Сергеевна ушла на дежурство в больницу, мы перекатали

веломото на кухню и открыли форточку. Потом из двух чурбаков и доски устроили подмости, чтобы заднее колесо машины не касалось пола.

— Ну, — сказал Кирка и шумно вздохнул, — садись!

— Лучше ты, — хриплым от волнения голосом ответил я и, наклонившись, открыл бензиновый краник, несколько раз надавил на кнопку карбюратора.

— Держи за седло и руль сразу — мало ли, сорвется. — Кирка сел в седло и выжал рукоятку сцепления. Я ухватился за шейку руля и задний щиток.

— Давай.

Кирка нажал на педали, и заднее колесо сделало первый медленный оборот, потом завертелось быстрее.

— Еще! — крикнул я, хотя в кухне было тихо, только слышался легкий шорох цепи по звездочке и шелест воздуха в спицах колеса. Машину потряхивало, и я держал изо всех сил, а Кирка все крутил и крутил, пока не стало видно проблесков спиц.

— Отпускай! — снова закричал я и тут же увидел, как он плавно разжал пальцы на рукоятке сцепления.

Мотор зачихал, потом что-то в нем булькнуло и стихло, а колесо остановилось, сделав ленивый полуоборот.

— Эх ты. — Я отпустил шейку руля.

— На, попробуй сам, знаешь, как тяжело. — Кирка был красный и часто дышал.

— Слезай!

Он нехотя слез с седла.

— Держи-ка. Сейчас увидишь, как заведется, — сказал я. Была такая уверенность, что у меня-то мотор заведется, должен завестись.

— Погоди, передохну. — Кирка прошелся по кухне.

— Надо бы помочь мотору педалями, — сказал я.

— Вот садись и крути! — Он взялся за руль. Я быстро сел в седло, взялся за резиновые рукоятки.

— Ну, держишь?

— Давай.

Я нажал на педали и чуть пригнулся к рулю. Машина задрожала, телом я почувствовал эту дрожь и закрутил еще быстрее.

«Сейчас! Сейчас!» — торжествуя подумал я и, отпустив сцепление, стал помогать мотору педалями.

Мотор сначала звонко чихнул, потом раздалось «тук-тук».

— Газуй! — крикнул Кирка, и я крутанул рукоятку газа, но слышалось чавканье, а потом какой-то жалобный всхлип. Крутить педали стало очень трудно, и я перестал. Когда я слез с веломото, ноги были ватными.

Весь вечер мы сменяли друг друга в седле, но мотор так и не завелся. Только вся кухня провоняла бензином, потому что он стал вытекать из карбюратора.

Я вернулся домой поздно, и когда разделся и лег, то мне все казалось, что ноющие от усталости ноги крутят и крутят тугие неподатливые педали.

Мы еще несколько раз пытались завести мотор, но бесполезно,

и немножко загрустили от этого, хотя и надеялись, что рано или поздно двигатель должен заработать, потому что, судя по книгам, которые мы прочли, все детали у него были на месте. Конечно, тогда мы ничего не понимали в моторах — ни в мотоциклетных, ни в автомобильных, — даже не знали, как проверить, есть ли на электродах свечи зажигания искра, но было у нас какое-то чувство, что наш веломото в полном порядке и должен работать исправно. Нам очень хотелось этого. Но ничего не получалось, в цилиндре беспомощно всхлипывало, карбюратор становился влажным от переливающегося бензина, а двигатель не хотел заводиться. Только потом я понял, что техника не любит неумелых полузнаек, она подчиняется лишь сведущим. Но в то время мы с Киркой меньше всего понимали глубину своего невежества. Казалось, что мы все знаем и умеем. Лишь становясь старше, мы с некоторым смущением и удивлением убеждались в том, что это совсем не так. И когда двигатель нашего веломото упорно не хотел заводиться, мы загрустили. А тут, как назло, чуть ли не каждый день на улице попадался Вовка Земсков и со своей кривой усмешечкой спрашивал ехидно:

— Эй, делаши, когда драндулет на помойку выбрасывать будете?

Вовка уже не носил свою худую шинель. У него появилось полупальто с косыми карманами и меховым воротником, пушистый треух, который он лихо надвигал на вечно прищуренные глаза; обут он был в высокие русские сапоги с голенищами, старательно собранными в гармошку. И курил Земсков уже не окурки, а настоящий «Беломор», а иногда и «Казбек». И говорил он с нами слегка презрительно, не разжимая зубов. Честно говоря, мы немного робели перед ним, потому что это был уже не прежний Вовка. Теперь мы чувствовали разницу в возрасте. И поэтому насмешки его казались особенно обидными. И в то же время я ловил себя на том, что хочу быть похожим на него: носить лихо сдвинутую на глаза пушистую шапку и сапоги гармошкой, небрежно сквозь зубы сыпать блатной скороговорочкой, жевать в углу рта длинную папиросу, с независимым видом оглядывать прохожих и стоять, небрежно оперевшись на дверь парадного, засунув руки в косые карманы полупальто и остро растопырив локти. И чувство обиды мешалось во мне с самолюбивым желанием унижить Земскова.

«Погоди, — думал я, — вот заведем машину и будем кататься, тогда первый побежишь за нами».

А машина не хотела заводиться. И все стало не в радость: и начинающаяся дружная весна, и даже хорошие отметки в школе. А добавок от знакомого курсанта мы с Киркой узнали, что летная спецшкола существует последний год, ее расформируют, потому что теперь есть суворовское и нахимовское училища, — и мы совсем пали духом. Хмурые, молчаливые ходили в школу, а после занятий уныло шатались по окрестным улицам. И тут нам помог случай.

Мы бесцельно брели по тихой улице. День был бессолнечный, и спокойный сизоватый свет наполнял улицу до самого неба, ровного и тоже сизого, делал фасады старинных домов легкими, воздушными. Мы брели и молчали. Я опустил голову и старался идти по старому шву на асфальте, оставшемуся после ремонта кабеля или водопровода. Я старался ступать точно на темную, еле заметную полоску на асфальте и не терять ее из виду. Я увлекся этим занятием, потому

что полоска старого шва иногда петляла, а то и вовсе исчезала, и, чтобы не упустить ее, требовалось внимание. Я шел и воображал себя охотником, идущим по следу. И вдруг Кирка сильно ткнул меня локтем под ребра. У меня даже дыхание зашло. Я ошалело уставился на него и прошипел, отдуваясь:

— Ты что, сдурел?

— Смотри! — чуть ли не выкрикнул Кирка и ткнул пальцем куда-то на ту сторону улицы.

Я повернул голову.

По той стороне нам навстречу шел невысокий человек в зеленой брезентовой курточке и летном кожаном шлеме и нес на плече, просунув руку в отверстие, мотоциклетную раму с маленьким мотором. Ни руля, ни фары на раме не было, колеса тоже были сняты, но я сразу узнал по мотору, что это — точно такой же веломото, как наш, только красного цвета.

Человек на противоположной стороне поравнялся с нами и пошел дальше.

— Бежим, а то уйдет, — скороговоркой выпалил Кирка и кинулся через мостовую.

Мы свернули за человеком в зеленой брезентовой куртке в небольшой переулок с красными кирпичными строениями. И что-то такое шевельнулось во мне, какое-то воспоминание... Будто что-то связано с этим местом, с красными невысокими строениями. И грустная задумчивость вдруг нашла на меня, и только когда над полукруглыми воротами я увидел лепные лошадиные головы, то все вспомнил. В этом гараже, давно, во время войны, мы были с Федей! Я спросил Кирку:

— Помнишь?

Он молча кивнул в ответ.

Человека с рамой на плече мы остановили у самых ворот гаража. Я подошел сбоку и, стараясь быть изысканно вежливым, сказал:

— Извините, пожалуйста, за нескромность. Это у вас веломото дэ-ка-вэ?

Человек повернул ко мне лицо, и я увидел, что он совсем молодой, ну просто парень лет двадцати пяти. И что-то очень знакомое показалось в его лице, будто я уже где-то видел эти глаза и улыбку. Он поглядел на меня и сказал нараспев:

— Пожалуйста, пожалуйста, моя скромность удовлетворит вашу нескромность. Это действительно веломото дэ-ка-вэ. — Он смолк и вдруг расхохотался, запрокинув голову в летном шлеме. А я смотрел на него и сиделся вспомнить, где мы встречались до этого. — Ну ты и даешь, — сквозь смех сказал парень. — Тебе послом надо быть где-нибудь в Турции или Персии. Там такой разговор в моде.

Он стоял, чуть расставив ноги в крепких грубых ботинках, держал на плече раму, смотрел на нас, и глаза у него были веселые и отчаянные — сразу было видно, что такой парень ничего на свете не боится. И я невольно улыбнулся ему, а сам все думал: на кого же он похож и где мы встречались?

Кирка сказал:

— Как-то неудобно приставать с расспросами.

— Неудобно, когда ботинки жмут, — сказал парень. — Давайте выкладывайте ваше дело, а то у меня перерыв обеденный кончается.

И тут я узнал его!

— Федя! — заорал я.

Он внимательно и строго посмотрел на меня, потом на Кирку и вдруг, широко улыбнувшись, протянул нам руку.

— Живы, парни!

— Живы, — сказал я и пожал ему руку.

— Вот это здорово! — Федя дернул Кирку за руку. — А я думал, не выжили, ведь были совсем дистрофики.

— Не, все в порядке, — солидно ответил Кирка.

— Ну, что у вас за дело?

— У нас не заводится, — сказал я, не отрывая взгляда от Федина лица.

— Что не заводится?

— Ну вот такой же веломото.

— Крутим-крутим педалями, а мотор только чихает и хлюпает, — добавил Кирка.

— Искра-то на свече есть? — по-деловому спросил Федя.

— Есть, наверное, — ответил я неуверенно.

— «Наверное», — передразнил Федя. — Эх вы, мотоциклисты. А может, у вас магдина не в порядке? — Он посмотрел на часы. — Ну, ладно, некогда. Прикатывайте машину ближе к вечеру — посмотрим, что в ней не ладится. Спросите меня. Ну, пока. — Он хлопнул меня по плечу и покачал головой. — Ну и выросли же вы.

Домой мы возвращались возбужденные и веселые; было радостно оттого, что Федя остался жив на войне, что мы снова встретились.

На следующий день, ровно в пять часов вечера, мы стояли у ворот под лепными лошадиными головами. Веломото мы прислонили к красной кирпичной стене, и он стоял, такой блестящий, голубой, и на улице казался совсем маленьким.

Кирка попросил пожилую женщину-вахтершу позвать Федора, и мы стали ждать.

В ворота гаража, возвращаясь с работы, въезжали чумазные самосвалы и просто грузовики. Федор вышел из ворот в промасленном комбинезоне, с черными от мазута руками.

— Здорово, мотоциклисты! — весело крикнул он. — Погодите минут пятнадцать, я закончу тут, и посмотрим. — Он бросил беглый взгляд на веломото и улыбнулся. — О, в порядке машинка, совсем новая, — и ушел.

Я смотрел, как он проходит широкую арку, чуть сутулясь и широко размахивая темными руками, и комбинезон у него издали был похож на кожаный.

— Как думаешь, заведет? — спросил Кирка полушепотом.

— Конечно. — Я как-то сразу поверил, что Федор может все.

Уже стихло в гараже, перестали подъезжать грузовики, и закрыли тяжелые чугунные створки ворот.

Федор вышел все в том же комбинезоне, с железной коробкой в руках.

— Ну, давайте посмотрим вашего конька. — Он положил коробку на асфальт, раскрыл, и я увидел, что в ней гаечные ключи и отвертки. — Так, ты, Кирилл, покрепче — держи за руль и прижимай, чтобы заднее колесо поднялось. А ты, — он посмотрел на меня, — крути

рукой за педаль. Давайте. — Он поставил веломото на подставку и взялся за рычаг сцепления и рукоятку газа.

Я присел на корточки, ухватился обеими руками за широкую обрешиненную педаль и закрутил.

— Быстрей! — крикнул Федор. И я поднажал, почувствовав, что крутить стало тяжелее, потому что он отпустил сцепление.

Двигатель несколько раз хлопнул и затих, я перестал крутить и встал.

— Да, — сказал Федор, — даже не схватывает. Ну, будем смотреть. — Он наклонился, взял из коробки отвертку и стал отворачивать винты крышки магнины. Мы с Киркой молча смотрели.

Федор поднял глаза, улыбнулся и подмигнул.

— Не журись, ребята, заведем. Будет бегать ваш конек. — Быстрыми, ловкими движениями пальцев он откручивал винты. А я смотрел на него и завидовал и его ловким движениям, и озорной улыбке, и какому-то особенному полужутливому говорку. Как несколько лет назад, я снова влюбился в этого простого и красивого парня и, еще не признаваясь себе, где-то в глубине души уже хотел быть похожим на него.

Федор возился недолго: чего-то подвернул в магдине, отрегулировал контакты прерывателя, и мы снова стали крутить. Теперь я держал машину за шейку руля, а Кирка вращал педаль. Большие темные руки Федора лежали на рычаге сцепления и рукоятке газа, а лицо было озорным и в то же время сосредоточенным.

— Быстрей! — отрывисто бросил он Кирке. И Кирка, покраснев от натуги, так закрутил педаль, что рук почти не стало видно. Я следил за Федором. Вот его сильные пальцы с широкими короткими ногтями плавно разжались, и рычаг сцепления отошел. И вдруг в цилиндре мотора раздался звонкий хлопок, потом несколько раз глухо стукнуло: «тук-тук-тук», и мотор плавно заурчал. Федор правой рукой еле заметно поворачивал рукоятку, прибавлял газ, и мотор брал все более высокую ноту и наконец запел ровно и стройно. Я глубоко вздохнул и вдруг почувствовал, что очень устал. А в тихом маленьком переулке деревня чуть покачивала еще голыми ветками, редкие прохожие смотрели на нас и наш веломото, и лошадиные лепные головы над воротами с задумчивой грустью слушали пение мотора, словно завидовали этой зазорной скороговорке.

Федор улыбнулся, хлопнул меня по плечу.

— Ну вот и жива машинка. Пусть поработает немного, согреется. Я сейчас переоденусь, и попробуем проехать! — прокричал он и ушел в гараж.

Мы с Киркой стояли бок о бок и молча смотрели на наш веломото, на прозрачную струйку отработанного газа из глушителя, на то, как медленно вращается от легкой вибрации приподнятое переднее колесо. И кажется, тогда я впервые понял или, вернее, почувствовал, что значит дружба. Я стоял рядом со своим другом Киркой и думал о том, что без него у меня не было бы этого мотоцикла и у него не было бы. А мы сами были бы другими, если бы не встретили в своей жизни много хороших людей: Федора, старого книжника Петра Борисовича, Ивана Николаевича.

Федор вышел из гаража в зеленой брезентовой куртке и летном



кожаном шлеме, руки были чисто вымыты, и под курткой белела свежая рубашка.

— Ну, что, прокатимся? Давайте по очереди. Садись. — Он кивнул мне. Я отрицательно помотал головой. Почему-то стало страшно вато садиться на велосомо с работающим мотором.

— Мы еще ни разу не пробовали. Я только на велосипеде умею, — тихо сказал я.

— Ну, а ты? — Федор взглянул на Кирку.

— Я тоже не пробовал.

— Раз на велосипеде умеете, значит, и на нем сможете, — сказал Федор. — Да, кстати, по сколько вам теперь лет-то?

— По пятнадцать, — сказал Кирка.

— Ну, взрослые парни! Неужели такую машину не освоите? — Федор взялся за руль. — Ну вот, смотрите. — Ногой он отщелкнул подставку и сел в седло. — Самое главное — не давить на газ. Чем медленнее едешь, тем легче сделать поворот. Вот трогаюсь, толкаюсь ногами, педали крутить не обязательно при работающем двигателе. — Он говорил и показывал, широкие сильные руки свободно и крепко держали руль. — Выжимаю сцепление, включаю скорость, потихоньку даю газ и одновременно плавно отпускаю сцепление.

Стрекотание мотора участилось, машина легко покатилаь вперед и пошла все быстрее и быстрее. Мы с Киркой побежали рядом, но сразу отстали. Федор поставил ноги на педали, проехал вдоль переулкa, развернулся, плавно накреньясь вместе с машиной, и вернулся к нам.

— Хорошо работает, как часы. — Он улыбнулся. — И тормозишки в порядке. Ну, поняли теперь — как?

Я только кивнул. Федор слез с седла и посмотрел на меня:

— Давай пробуй. Бояться будете — ездить не научитесь.

Я с бьющимся сердцем взялся за руль и сел в седло.

— Трогайся тихонько и не бойся.

Я выжал рычаг сцепления, включил скорость и оттолкнулся ногами, правая рука будто бы сама повернула рукоятку газа, я медленно отпустил рычаг сцепления, все еще перебирая ногами по мостовой, и вдруг почувствовал, что мостовая уходит назад из-под ног. Тогда я понял, что еду! Я убрал ноги на педали и сжал руль. Задорно урчал мотор, и шеренги домов по сторонам отъезжали назад. Мне стало легко и спокойно, будто я парю над красноватой булыжной мостовой. В конце переулкa я убавил газ, осторожно развернулся и поехал назад. Легкие наполнились ветром, и хотелось петь.

Потом проехал Кирка, потом снова — Федор.

— Ну вот, все нормально, — сказал он. — Теперь вам «Правила» надо выучить и натренироваться ездить по улицам с движением. А вдвоем пока нельзя — надо научиться держать машину. Смотрите, это дело серьезное. И сами расшибетесь, и еще кто-нибудь пострадает, да и машину разобьете. Понятно? — Голос Федора стал строгим.

— Ясно, — ответил Кирка.

— Нет, мы пока так поучимся, — подтвердил я.

— Правильно. Вот погодите, я налажу своего конька, и будем вместе ездить за город в лес, рыбу ловить. А где найти меня, вы теперь знаете. — Он улыбнулся, махнул на прощание рукой и широким шагом пошел по улице.

Началась новая, необычная жизнь. Пожалуй, никогда до этого я не чувствовал себя таким счастливым. У нас с Киркой получалось все. В школе учителя стали привыкать к тому, что наши отметки колебались между четверкой и пятеркой. Даже Вера Васильевна, вызывая отвечать меня или Кирку, не могла скрыть своего удивления тем, что мы снова знаем урок, и, недовольно поджав губы, выводила в журнале и в дневнике четверки. Менялось и отношение класса. Как-то, видимо, позабылась история с книгами, — ребята у нас были незлобные и общительные, и многие приветливо улыбались, расспрашивали о нашем веломото. Но мы с Киркой держались особняком. Во-первых, у нас было много дел, и после школы нам уже некогда было общаться с одноклассниками, а во-вторых, мы и не чувствовали потребности в этой школьной дружбе. У нас был взрослый интересный друг Федор.

Сразу после уроков мы бежали домой и в Киркином чулане сидели за домашние задания. Вдвоем все выходило быстро. Задачи решались сами собой, стоило только вдуматься в условия; устные уроки мы читали поочередно вслух, а потом задавали друг другу вопросы, справлялись в учебнике, если не могли ответить сразу, и через два — два с половиной часа мы уже укладывали в портфели учебники и тетради на завтрашний день. И тогда начиналось самое важное.

Мы молча сосредоточенноправляли брюки в носки, переворачивали кепки козырьками назад и скатывали нашего голубого конька вниз по лестнице. Нас встречал уже тускнеющий день с прохладным майским ветром и наш тихий двор с кирпичными флигелями. Не заводя мотора, мы выкатывали мотоцикл на улицу. Этому нас научил Федор. Он как-то сказал:

— Настоящий мотоциклист должен уважать себя, а значит, уважать и других. Во дворе не грохочут мотором, выкатывают и заводят на улице.

Слово Федора было законом для нас, и мы никогда не заводили мотор во дворе. Прямо от ворот мы пересекали нашу тихую улицу, не спеша двигались мимо школы; я обычно вел машину за руль, а Кирка клал руку на седло. Потом мы сворачивали в широкий, недавно заасфальтированный переулок, и тут первым в седло садился Кирка. Мотор запевал свою задорную песенку, и голубая машина уносилась в другой конец переулочка. Куртка на Киркиной спине надувалась пузырями и трепетала, перевернутая кепка козырьком прикрывала шею. Он доезжал до конца переулочка, делал плавный разворот и возвращался ко мне. Я видел его возбужденное, со сдержанной улыбкой лицо и глаза, повлажневшие от встречного ветра, и улыбался сам. Кирка выписывал аккуратно восьмерку поперек мостовой и останавливался — наступал мой черед. Так, сменяя друг друга в седле, мы тренировались весь вечер, стараясь научиться как можно лучше управлять нашим веломото. Это тоже был наказ Федора.

Мы часто ходили встречать его после работы. Федор выходил из ворот под лепными лошадиными головами в своей брезентовой куртке нараспашку, в кожаном летном шлеме. Мы здоровались и шли рядом, стараясь приноровиться к его широкому твердому шагу. Я даже иногда ловил себя на том, что копирую его походку — стараюсь пошире

развернуть плечи и твердо ставить ногу на каблук, и куртки наши мы с Киркой тоже не застегивали — правда, у нас они были байковые, лыжные и не было кожаных летних шлемов, но все равно казалось, что так мы больше похожи на Федора.

Мы шли сначала по переулку, в котором находился гараж, потом — по улице Рылеева, мимо старинной церкви, где когда-то на площади был квадратный пруд и стояла аэростатная команда. И мы всегда вспоминали о войне, но вслух не говорили ничего. Просто мы все внимательно оглядывали площадь — теперь уже асфальтированную — и то место в церковном сквере, где лежал аэростат и была выкопана щель для укрытия. И что-то сближало нас всех на этой площади, как будто и я, и Кирка тоже были солдатами на той войне и вместе с Федором проехали на маленьком грузовичке от Ленинграда до Варшавы.

Но больше всего мы беседовали о мотоциклах, о правилах уличного движения. Строили планы на лето, когда Федор наладит свою машину и мы будем ездить на рыбалку и по ягоды. При этих разговорах что-то замирало у меня в груди от радостного предчувствия, и сам себе я уже казался взрослым, самостоятельным и серьезным, как Федор.

Однажды перед самыми экзаменами мы провожали Федора до дому. Он шел между мной и Киркой, рассказывал, что осталось только выточить один валик для коробки скоростей его веломото и машина будет на ходу.

— Скорей бы, — отозвался Кирка нетерпеливо. — Надоело по переулкам ездить. Вот — в лес бы.

— А правда, надоело ездить в переулке, — сказал я, — и скучно. Хочется на шоссе, где скорость можно держать.

— Ишь ты, скорость. Лихачи какие. Будем ездить тридцать пять — сорок километров в час и не больше, запомните. На большее наши кони конструктивно не рассчитаны. Если будем их погонять — недолго прослужат. — Голос у Феде был строгий, но все же за словами угадывалась его обычная усмешка. — Ездить нужно научиться как следует, — добавил он.

— Да мы уже и так... Вот Валька на десяти метрах может восьмерку сделать, — сказал Кирка.

— Каждый день тренируемся часа по три, — поддержал я.

— Часа по три? — переспросил Федя с какой-то издевкой в голосе.

— Да, — гордо ответил я.

— А сколько до экзаменов осталось? — Федя посмотрел сначала на меня, потом на Кирку.

— А, подумаешь, экзамены. Сдадим, — отмахнулся Кирка.

— Ну вот что: завтра вывернете свечу и принесете мне в гараж. — Лицо у Феде стало серьезным. — Получите обратно, когда покажете аттестаты за семилетку. Ясно?

— Ясно, — растерянно ответил я. Такой оборот разговора был для меня неожиданным.

— Если завтра свечи не будет, то дружба врозь, — сказал Федя. — И учтите, будут тройки — свечу верну, а знаться с вами не буду.

Мы шли по Литейному и молчали. Мне стало как-то тревожно, я понимал, что Федя не шутит, — он сделает так, как сказал. И я вдруг испугался, что мы нахватаем с Киркой «трояков» на экзаменах и кончится наша дружба с этим замечательным взрослым парнем.

На следующий день, вернувшись из школы, мы сразу же сделали домашнее задание, а потом просмотрели билеты по русскому и литературе. Да, в этих билетах были заковыристые вопросы, а про физику и математику и говорить не приходилось — там ведь к каждому билету полагалась задача. Мне сразу стало невесело, когда я только представил все эти одиннадцать экзаменов, которые нам нужно было сдать, сдать и не схватить ни одной тройки.

— Ну что? — спросил я у Кирки.

— Что, что, — пробурчал он. — Ничего, заниматься надо. Если начнем сегодня, то может, и сдадим без тройков. — Лицо его было озабоченным. Он сложил учебники аккуратной стопкой, достал разводной ключ и пошел в коридор выворачивать свечу из цилиндра нашего велосипеда.

Мы вышли из дому и понуро побрели к гаражу.

— Жалко, что теперь целый месяц не покататься будет, — сказал я со вздохом.

— Ничего, зато поплаваешь, — мрачно ответил Кирка.

— Где? — недоуменно спросил я.

— На геометрии. — Кирка усмехнулся.

У меня действительно были нелады с этим предметом. Теоремы-то я запоминал легко, а вот задачи получались плохо — никак я не мог сообразить, какой там угол против какой стороны. Математик Владимир Семенович говорил, что у меня нет пространственного воображения. Думаю, что он ошибся. Воображение у меня есть, и еще какое пространственное. Когда я размышляю, то все вижу в уме пространственно и даже в цвете. А задачи эти — одни линии, точки там разные и углы, вот я и не могу ничего вообразить.

Пока я думал о геометрии, мы дошагали до гаража. Вахтерша, когда мы попросили ее позвать Федю, сказала:

— Ступайте сами. Знаю, что вы к нему. Вон, в правом боксе ваш Федя.

И вот второй раз в жизни мы прошли под широкой аркой ворот и вступили в просторный двор гаража. Первый раз мы были здесь три с лишним года назад, но почти ничего не изменилось с тех пор, только ворота бывших денников, видимо, были недавно выкрашены в ярко-красный цвет да вдоль глухой стены росли еще тонкие молодые березки. Тут же ровным строем стояли самосвалы, их темные железные кузова были выше березок.

Мы шли по двору гаража. Быстрой деловой походкой сновали мимо люди в промасленных комбинезонах и спецовках, и никто не обращал на нас внимания. Где-то за воротами денников работали моторы, слышались дребезжащие удары по тонкому листовому железу, и пахло маслом, бензином и выхлопными газами.

— В кузню заглянем? — хрипло спросил Кирка.

Я только кивнул в ответ, и мы направились к отдельно стоящему кирпичному сараю. Из-за железных дверей не слышно было тяжелых

ухающих ударов, так памятных мне, не доносился тонкий тягучий вой. Я взялся за скобу и с усилием отворил тяжелую дверь. Горели под беленым потолком большие яркие лампы, и не было никакого горна, и не было наковальни. Вместо них возле стен стояли длинные токарные станки. Спиной к нам, наклонившись над средним станком, работал человек в клетчатой рубашке и серой кепке. Станок тоненько подвывал, как комар в тесном помещении. Человек плавно вертел блестящую рукоятку и не слышал, как открылась дверь. Мы на цыпочках подошли к станку.

Бешено вращалась круглая блестящая болванка. Черный резец медленно полз вдоль нее, и с его грани тоже медленно, завиваясь пружинкой, сползала стружка, которая на глазах темнела, становилась вороненого цвета. Сделав десяток витков, стружка сама отламывалась со звонким щелчком и падала вниз, в железное корыто под станком. И в воздухе, наполненном комариным жужжанием, пахло горячим металлом. Мы с Киркой стояли и смотрели на вращающуюся сверкающую болванку, на синеющую витую стружку и позабыли про все на свете.

Резец дошел до конца болванки, токарь отвел его, вращая рукоятку, и выключил станок. Блестящей стальной линейкой он смерил длину болванки и тут заметил нас.

— А вы как сюда попали? — спросил он, кладя линейку на железный столик возле станка. Лицо у него было худощавое, глаза строгие. На жилистой шее спереди темнело несколько свежих ссадин, будто кто-то оцарапал токаря.

— Ну, что молчите? — строго спросил он, и я заметил, что он гасит улыбку в уголках рта, и сразу понял, что строгость эта притворная.

— Да мы просто так, посмотреть, — смущенно ответил Кирка.

— А как в гараж попали?

— Мы к Федору пришли, — сказал я.

— К Семенову, да?

— Да, — кивнул я.

— А, так это вы и есть мотоциклисты? Говорил Федя про вас. Ну что, нравится станок? — Токарь наконец улыбнулся.

— Да, — ответил Кирка. — Здорово стружка вьется. Вот деревянная стружка почему-то так не завивается, хоть сырую березу точишь.

— Зато деревянная стружка так не кусается, — сказал токарь и показал пальцем на ссадины на шее. — А ты что, можешь точить по дереву? — спросил он у Кирки.

— Может, — подтвердил я. — У нас даже станок есть — правда, старинный, педальный.

— А где научился?

— Отец столяром работал до войны, — сказал Кирка.

— Жив? — коротко спросил токарь.

Кирка только понурил голову.

— Да-а, — вздохнул токарь и достал папиросу. — А вот я и в Сталинграде был, и до Эльбы дошагал, а сын — в первые дни...

Мы помолчали. Потом токарь сказал уже повеселевшим голосом:

— Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Сергей Степанович. А вас?

— Меня — Кирилл, а его — Валентин, — ткнул в меня пальцем Кирка.

— А в каком вы классе?

— Вот, седьмой кончаем, — ответил я.

— Ну и как отметки? — прищурился Сергей Степанович.

— Так, средне, — пожал я плечом.

— А что дальше будете делать? В техникум, в фэзэо или в восьмой класс?

Я не знал, что ответить, а рассказывать про летнюю спецшколу не хотелось, чего уж вспоминать о прошедшем. А Кирка так и сказал:

— Не знаем, — и добавил со вздохом: — Наверное, в восьмой идти придется.

— А что, неохота? — с улыбкой спросил Сергей Степанович.

— Да не-ет, — неуверенно протянул я.

— Вижу, что неохота. Семиклассники все считают себя учеными, почти как академики. Только потом, когда вырастут, начинают понимать, что мало учились.

Сергей Степанович взял со столика кривой тонкий резец, оглядел его внимательно, вставил в держатель на станке, подложил под него плоскую металлическую пластиночку и стал закреплять болтами. Когда болты уперлись в тело резца и уже не вращались от усилия пальцев, он взял ключ с длинной рукояткой и, накинув его на квадратные головки болтов, затянул их. Потом, быстро взглянув на нас, сказал:

— А то идите ко мне в ученики. Будете через год токарями, а учиться можно и в вечерней школе. Паспорта уже есть?

— Еще нет, — сказал я. — Вот у него будет в августе, а у меня — в сентябре.

— Ну что, как раз сдадите экзамены за семилетку, отдохнете и с осени начнете. А? — Сергей Степанович шутиливо смотрел на нас и, казалось, поддразнивал.

— Надо дома посоветоваться, — сказал Кирка.

— Конечно, конечно. Скажите матерям, что работа хорошая, чистая. — Он усмехнулся. — Здесь, кроме рук, ничего не перепачкаешь. И вообще, токарь — это основная профессия. Без токаря ни автомобиль, ни орудие не сделаешь. Вот что это за деталь? — Сергей Степанович кивком головы указал на заготовку, зажатую в патроне станка.

Я посмотрел: ровная, не очень толстая, гладко обточенная стальная палочка сантиметров пятнадцать длиной. И сказал:

— Валик, наверное, какой-то.

— Хо, правильно почти. Только валиком называют деталь покрупнее, а это — рессорный палец. Вот сейчас отрежу, и прямо в дело пойдет, только канал еще под смазку надо просверлить. А без этого пальца автомобиль стоять будет. Да что палец — на этом станочке, если настоящий специалист, можно сделать все: пистолет, мотоцикл, патефон и мясорубку. — Сергей Степанович ласково похлопал по серой крышке коробки станка. — Так что подумайте. А теперь топайте к своему Феде. Еще будете, так заходите. — Он включил станок и, отвернувшись от нас, склонился над деталью.

Федю мы разыскали в смотровой яме. Натянув до глаз красный женский берет, во многих местах запачканный мазутом, он подкру-

чивал какие-то гайки под брюхом большого, еще не остывшего «студебеккера». Мы присели на корточки возле огромного, остро пахнущего горячей резиной заднего колеса грузовика и смотрели, как Федя стоит в смотровой яме, облицованной белыми плитками, в которых отражаются лампы в зарешеченных колпаках. Яма до краев была словно налита белым сверкающим светом, а мы сидели в тени, и все было хорошо видно. Федя, подняв лицо и руки, быстро заворачивал гайки, только мелькали маслянисто поблескивающие ключи в его темных руках, а комбинезон лоснился, как будто был сшит из хорошего черного хрома. И мне вдруг захотелось туда, в эту яму, наполненную белым светом, и стоять там — высокому, сильному, с веселыми отчаянными глазами, — чтобы гаечные ключи мелькали в ловких, пропитанных смазкой руках. Мне так захотелось этого, как хотелось в войну хлеба, когда я видел, что кто-то его ест. Человек жует себе, а у тебя во рту солоно и свистит под ложечкой. И вот я сидел на корточках на краю наполненной светом смотровой ямы, а внутри у меня ныло, почти как от голода. И Кирка сказал мне тихо:

— Давай слазаем туда.

И я кивнул ему, не отводя взгляда от Фединых рук и лица. И Федя в этот момент заметил нас, улыбнулся и помахал ключом, зажатым в кулаке. Я подлез под «студебеккер» и прыгнул в яму, а за мной прыгнул Кирка.

— Привет, мотоциклисты! — сказал Федя. — Свечу принесли?

— Принесли. — Кирка достал из кармана завернутую в газету свечу и протянул Феде. Он положил ключ на край ямы, взял свечу и сунул в карман комбинезона.

— Вот в свободное время зазор проверю на электродах и почищу. А после экзаменов верну — уговорились?

— Уговорились, — сказал я. Нисколько мне уже не было жаль, что целый месяц не придется кататься.

— А отверстие в цилиндре заглушили? — спросил Федя.

— Нет, а зачем?

— Как зачем. Вдруг туда попадет железка какая-нибудь. Потом заведете — и цилиндр накрылся. Там все размолотит. Придете домой — и сразу плотно заткните тряпочкой, только сначала залейте граммов тридцать автола, пусть затянет стенки, чтобы ржавчиной не съело. Ясно?

— Ясно, — сказал я и спросил: — А что ты делаешь?

— Карданные болты подтягиваю. Правильнее — болты фланца кардана; карданный вал все время вращается, передает усилие от коробки на задний мост. Ну, гайки потихоньку отходят, хоть под ними и шайбы разжимные подложены. Поэтому нужно регулярно проверять болты и подтягивать. А то где-нибудь на дороге кардан отлетит. Все понятно?

Я молча кивнул, потому что понял. В то время мы с Киркой уже прочли столько книг про автомобили и мотоциклы, что почти не путались в названиях разных частей и представляли себе, что такое кардан.

— Не вышел сегодня слесарь, а машину из-за пустяка не оставишь стоять. Вот подтяну — и пошабашим.

— А на автомобиле ездить все-таки лучше, — сказал Кирка. Мы

знали, что Федя работает в гараже механиком, но считали шоферскую работу интереснее.

— Работать надо там, где ты нужнее, — ответил Федя.

— А трудно научиться ездить на автомобиле? — спросил я.

— Научиться ездить легко, а вот стать настоящим шофером трудно. Автомобиль ведь машина умная, по прямой и за руль держать не надо — сама пойдет. Так что привыкнуть втыкать скорости и вертеть баранку да на газ давить — это нетрудно. А вот суметь проехать везде, где возможно и даже где невозможно, и еще при этом взять самый тяжелый груз — для этого нужно быть настоящим шофером. — Федя затянул последний болтик, и мы поднялись наверх. Поднимались по ступенькам в конце ямы; Федя шел последним и, щелкнув выключателем, погасил свет.

— Машина готова, можешь путевку подписывать, — сказал он пожилому человеку, попавшемуся навстречу.

— Спасибо, выручил, — ответил человек и спросил с улыбкой: — А это что за помощники?

— Это моя бригада, — ответил Федя серьезно. — Вот научатся слесарить, а года через два и за руль сядут.

— Хорошо, — сказал человек, — нам смена нужна. Машины будут новые — и шоферы нужны молодые. — Он поправил очки, махнул на прощание рукой и пошел в глубь гаража.

— Вот этот человек всю блокаду возил через Ладогу грузы, подо льдом побывал, а однажды с осколком в плече, весь в крови, привел машину в Ваганово, — сказал Федя, и обычная улыбка сбегала с его лица.

Мы обернулись, чтобы еще раз увидеть пожилого шофера, но он уже скрылся за машинами.

— Обождите на улице, я умоюсь, переоденусь — и пройдемся немного, — велел Федя.

И мы с Киркой вышли со двора гаража и стояли у ворот. Я вдруг размечтался, что вот хорошо бы мне стать шофером, ездить по прямым и ровным улицам нашего города, возить грузы и быть веселым и одновременно серьезным и уверенным, сильным тоже, — в общем, как Федя. И я тогда дал себе слово, что обязательно стану таким. А вслух спросил у Кирки:

— Тебе какие больше нравятся, грузовые или легковушки?

— Мне все машины нравятся, — горячо отозвался Кирка и добавил мечтательно: — Эх, научиться бы ездить.

А потом шли троим по вечерним улицам — мы по бокам, а Федя в середине. Шли не спеша, как взрослые, и разговаривали. Когда пересекли нашу улицу, где-то сбоку мелькнуло и проплыло удивленное, с вытаращенными глазами лицо Вовки Земскова, но я даже не поздоровался с ним, скользнул так взглядом, будто по пустому месту. А Федя шел между нами в распахнутой брезентовой куртке, под которой была красная ковбойка, шлем свой он нес в руке, и жесткие короткие волосы его ежиком стояли на голове. И я чувствовал гордость, что взрослый человек идет рядом и разговаривает с нами, как с равными. Я и сам себе казался взрослым, и уже никакие экзамены были мне не страшны, никакая геометрия — я знал, что нам с Киркой теперь будет удаваться все.

Время экзаменов подошло как-то неожиданно — хотя мы с Киркой ждали его, готовились, но все равно первый экзамен — изложение — застал нас как бы врасплох. Потому что несколько дней назад кончились занятия, и за эти дни, наполненные суматошной зубрежкой, подтягиванием хвостов, фабрикацией шпаргалок, мы как-то немного ошалели и уже не соображали, что готовимся к экзаменам, — подготовка стала самоцелью. У нас был уже разработанный способ — может быть, не самый лучший, но не раз выручавший. Мы писали шпаргалки по памяти, а в учебник заглядывали только тогда, когда чувствовали, что чего-то не помним. Таким способом мы и повторяли весь материал, а потом на экзаменах эти шпаргалки оказывались ненужными. Уж если что-то сам написал по памяти, то всегда вспомнишь. К изложению мы не готовились, знали, что напишем и так, а вот на физику, алгебру и особенно геометрию нажимали. А всего нам предстояло сдать одиннадцать штук экзаменов, но опыт у нас уже был, потому что начиная с четвертого класса мы каждый год сдавали по четыре-пять экзаменов.

И вот наступило двадцатое мая, и мы пришли на изложение, сели за парты в чужом классе. Нам выдали листки из тетрадей, помеченные школьным штампом, и прочли текст.

Кирка слушал, низко опустив голову, уставясь глазами в доску парты. Потом взглянул на меня и обмакнул перо в чернильницу. Он уж написал целую строчку, а я все сидел и бездумно смотрел в широкое классное окно на фасад противоположного дома, а потом вдруг спохватился: «Чего это я сижу, как в гостях?» — схватил ручку и принялся писать. И обогнал Кирку. Он еще только проверял свое изложение, а я сидел и ждал, чтобы нам вместе сдать и выйти из класса.

Так прошел первый экзамен, а говорят же: лиха беда начало. А потом мы втянулись, и даже какой-то спортивный интерес появился. Было приятно видеть на лицах преподавателей некоторую растерянность оттого, что мы, неожиданно для них, хорошо отвечаем. Ведь в школе за нами закрепилась репутация середнячков-троечников, которые скорее ближе к двоечникам, чем к четверочникам, а тут мы вдруг преподносим сюрпризы. Словом, сдавали мы удачно.

После каждого экзамена мы шли к Феде в гараж — этот день у нас с Киркой по давней традиции считался днем отдыха. Пожилая вахтерша уже привыкла к нам и пропускала, ничего не спрашивая. Мы заставляли Федю обычно в смотровой яме — вообще-то она называлась «смотровая канавка», но все шоферы говорили попросту «яма», — он осматривал машины, которые возвращались с линии, а потом помечал на специальных листках, какой им нужно сделать ремонт. Завидев нас, Федя поднимался из ямы, стаскивал с головы красный с пятнами мазута берет и спрашивал:

— Ну как, не забуксовали?

Мы говорили, какие получили отметки. У нас как-то так получалось, что если мне ставили пятерку, то Кирке — четверку, или наоборот.

Федя расспрашивал, что попало в билете, а потом хвалил:

— Молодцы, по-нашему, по-шоферски. Шофер каждый день сдает экзамен и всегда должен знать на пятерку.

— Как это? — один раз спросил я, потому что не понимал, о чем говорит Федя.

— А так. — Он встряхнул берет. — Вот сел ты в кабину, выехал из гаража — и начинается экзамен. Ты едешь по улицам, а люди идут по своим делам, торопятся, а тебе нужно все замечать, чтобы не сбить какого-нибудь зеваку, когда он выбежит на мостовую. Потом ты берешь груз. Его надо уложить в кузове так, чтобы влезло побольше и чтобы машине не тяжело было, и ты должен за всем этим следить, потому что ты — шофер и отвечаешь за груз, за свой автомобиль, за людей, которые ходят по улицам, и за других шоферов, и за другие машины; потому что тебе нужно проехать побыстрее и никому не помешать, и сделать так, чтобы тебе не помешали. А если ты едешь за город, куда-нибудь в глушь, где разбитые дороги и грязь, то ты должен справиться и с грязью, и с дождем, и с болотом, а если застрянешь, то должен сам выбраться, потому что помощь приходит не всегда вовремя. И вот это и есть твой экзамен, который нужно держать каждый день. Ну, теперь понятно? — улыбнулся Федя.

Я кивнул утвердительно, хотя мне было понятно не все. И Федя заметил это.

— Тебе приятно сдать на пятерку экзамен? — спросил он.

— Конечно, — ответил я.

— Ну вот, шоферу тоже приятно. Только он не имеет права на другую отметку. Ездить на тройку нельзя — рано или поздно разобьешь машину, растеряешь груз или наедешь на человека. Теперь понял?

— Да, — сказал я, — теперь понял.

И мне еще больше захотелось стать шофером. И на экзаменах по геометрии я не плавал, хотя задача попала трудная. Я как раз не любил задачи на построение, но с этой справился. Правда, до этого мы с Киркой перерешали, наверное, штук тридцать таких задач, — он-то щелкал их как орехи.

А потом был торжественный вечер — ведь седьмой класс считался выпускным. Директор школы сказал речь, пожелал нам всем и дальше учиться так же хорошо, а потом каждому вручал аттестат и пожимал руку. После этого должны были быть танцы, даже девчонок из соседней школы пригласили, и Надька Мухина тоже пришла. Но мы с Киркой на танцы не остались, у нас было занятие поинтереснее. Прямо с аттестатами мы помчались в гараж. Успели как раз вовремя: Федя уже умылся, переделся и собирался уходить.

— Ну, хвалитесь, — сказал он со своей обычной усмешкой, и мы подали ему аттестаты. У меня было пять четверок, а у Кирки — всего три, остальные пятерки.

Федя развернул скатанные в трубку листы плотной бумаги, долго рассматривал, улыбаясь. А мы стояли и ждали, что он скажет. И в это время подошел токарь Сергей Степанович, тоже одетый в чистую рубашку и аккуратный пиджак. Он поздоровался с нами, как со старыми знакомыми, и сказал Феде:

— Пошли, Семенов, пивом угощу.

— Нет, спасибо, Степаныч. Вот, посмотри, как моя бригада семилетку закончила. По первому классу. — Федя протянул токарю наши аттестаты.

Сергей Степанович бережно принял их и долго рассматривал.

— Молодцы, — сказал он. — Ну, а в ученики ко мне еще не думали?

— Ну это ты брось, Степаныч. Они шоферами будут, — сказал Федя и добавил, улыбаясь: — Ты мою бригаду не переманивай.

— Ладно, не буду. Ну, всего хорошего, — Сергей Степанович пожал нам руки и пошел к выходу.

— Сейчас свечу отдам. Приведите свою машину в порядок. В воскресенье на рыбалку поедem, — сказал Федя.

Мы чуть не запрыгали от радости.

И началось наше летнее житье.

Мы ездили с Федей на озеро Разлив, на речку Саблинку. Варили уху на костерке. И хоть рыбешка попадалась нам мелкая, но уха получалась замечательная — чуть пахнувшая дымом и наваристая. Солнце большим красным колесом скатывалось за дальние леса, и прибрежные кусты давали длинные лохматые тени, стихал ветер, вода становилась розовой, умолкали птицы; наступал короткий миг неподвижности всей природы и глубокой тишины, и наши ложки застывали над закопченным котелком с ухой, потому что никто не хотел нарушать этот короткий предвечерний покой. А как только солнце скрывалось, сразу просыпался ветер, и кусты и ближние сосны приходили в движение, а птицы начинали возиться в листве, устраиваясь на ночлег.

Мы быстро дочерпывали уху, гасили головешки, оставшиеся от костерка, кто-нибудь мыл котелок, надраивая его до блеска песком, потом отправлялись в обратный путь.

Славно было ехать по пустынному вечернему шоссе. Федя пропускать нас вперед, а сам ехал позади. Согласно жужжали моторы наших машин, повороты плавно наклоняли нас набок, и вся дорога, от обочины до обочины, была наполнена сизовато-молочными сумерками, после которых сразу наступает белая ночь; и мне казалось, что мы не едем, а летим над асфальтом, и было так хорошо на душе, что хотелось петь, не обращая внимания на ветер, бивший в лицо.

Но в такие поездки мы отправлялись только по выходным, а в будни мы, как на работу, приходили в гараж. Иногда помогали Феде заполнять путевые листы на завтрашний день. Нужно было аккуратно вписать в графу фамилию шофера и номер автомобиля. А когда машины начинали возвращаться в гараж, мы вместе с Федей спускались в яму и тоже осматривали машины, — вернее, осматривал-то он и объяснял нам, где какая неисправность, а мы слушали и старались запомнить. Мы с Киркой принесли из дому по старой рубашке и брюкам и вешали их в Федин шкафчик со спецодеждой. Слесари и шоферы в гараже уже привыкли к нам и здоровались, как со старыми знакомыми. А в обеденный перерыв Федя вместе с нами садился в кабину какого-нибудь стоящего грузовика и показывал, как выжимать сцепление и переключать скорости, и мы с Киркой потом подолгу тренировались. Мотор машины не работал, но все равно казалось, что мы едем по-настоящему и тяжелый грузовик слушается каждого поворо-

та руля. И мы уже знали любой рычаг, всякую кнопку на щитке автомобиля.

День в гараже проходил так незаметно и быстро, что мы всегда огорчались, когда Федя командовал:

— Шабаш! Умыться.

Вместе со всеми слесарями и Федей мы умывались над длинным жестяным лотком в раздевалке, переодевались в чистые рубахи и брюки и заводили свой велосипед, а Федя, как обычно, ехал позади.

Дорога от гаража до Федейного дома была короткой. Он жил на широкой и тихой улице возле Таврического сада. Улица носила странное название Парадная. Вернее, нам это название казалось странным, потому что ничего парадного в ней не было, — желтые дома с простыми фасадами по одной стороне и похожие на казармы дома за узким сквериком по другой стороне. Но Федя объяснил, что раньше, еще при Петре Первом, здесь были казармы гвардейского Преображенского полка, а на улицу выходил широкий плац, на котором проводились строевые занятия и парады. Вот с тех пор улица и называется Парадной. По ней совсем почти не ходили машины и прохожие попадались редко, так что можно было ничего не опасаться и вволю поехать по асфальту. Здесь Федя учил нас трудным поворотам, наклонной и гоночной посадке на мотоцикле. Особенно нам нравился «боевой разворот»: нужно было дать хороший разгон, быстро отпустить рукоятку газа, выключить сцепление и сразу нажать на педаль заднего тормоза до заноса, сильно наклонить машину влево, опираясь левой ногой об асфальт, и заднее колесо скользило вправо, а машина резко разворачивалась почти на сто восемьдесят градусов, и тут нужно было успеть выровнять ее поворотом руля и корпусом, включить сцепление и дать газ... Это был лихой разворот, им пользовались гонимые и военные мотоциклисты, и Федя говорил, что таким поворотом можно избежать столкновения с неожиданным препятствием. Правда, у меня этот поворот получался хуже, чем у Кирки: не хватало веса, чтобы телом хорошо управлять машиной.

Так и шло то славное лето: дни в гараже, поездки по выходным за город, беседы с Федей. Мы всегда были заняты и почти не бывали во дворе нашего дома. Только иногда по очереди катали вокруг квартала Надьку Мухину.

А с Вовкой Земсковым у нас был неустойчивый мир. Мы его даже прокатили несколько раз. Правда, он соглашался прокатиться только тогда, когда за руль садился Кирка, а со мной не хотел. Потому что я один раз повез его по переулку и стал вертеть рулем в разные стороны и раскачивать машину, будто ехал по узкому извилистому коридору. И велосипед кренился влево и вправо; я и сам-то на одном крене испугался, что не сумею его выровнять. Земсков так обхватил меня за пояс, что я еле дышал. Это когда сидишь за рулем и сам откалываешь такие фокусы, то не очень страшно, а позади сидеть просто невозможно — все время кажется, что машина вот-вот ляжет набок. Когда я подъехал к Кирке, стоявшему в конце переулочка, и остановился, Вовка неуклюже слез с заднего седла, сразу сел на поребрик и закрыл глаза. Лицо у него было желто-зеленого цвета. А Кирка накинудся на меня:

— Ты что, сдурел?

— Подумаешь, — сказал я и рассмеялся, а Земскова начало тошнить. И тут мне стало как-то не по себе. С тех пор он и не катался со мной. Впрочем, и с Киркой он ездил немного. Потому что через раз у нас портились отношения. Вовка то задибался без всякой причины, то подсмеивался над нами за неказистую одежду и вечно рванные ботинки. Ну разве могут быть целыми ботинки у людей, едущих на мотоцикле? Мы, конечно, не обращали внимания на Вовкины насмешки, но иногда у меня кончалось терпение и, если бы не Кирка, я готов был бы броситься на Земскова с кулаками. Правда, неизвестно, кому бы досталось больше, потому что Вовка был на полголовы выше ростом и старше. А одевался он по последней тогдашней моде — в широкие брюки клеш флотского покроя и короткий серый пиджак с квадратными плечами и носил шелковые рубашки. Откуда Вовка брал деньги на такую одежду, оставалось для нас загадкой, а сам он на прямые вопросы только отмалчивался с хитрой усмешечкой или ронял небрежно: «Заработал». Но мы ему не верили, потому что знали, сколько зарабатывают «ремесленники». Правда, карманы Земскова всегда были набиты всякой всячиной: курительными мундштуками с набором из латуни, эбонита и цветного плексигласа, самодельными зажигалками в виде маленького латунного снарядика и даже финками, тоже с наборными ручками и хорошо отполированными лезвиями. Все эти поделки он удачно сбывал среди парней нашего квартала. Но мы у него не покупали ничего. Мундштуки и зажигалки были ни к чему — мы не курили, финки — тоже. У нас с Киркой были хорошие складные ножи, а если бы понадобилось, я мог сделать и финку, и мундштук не хуже, чем Земсков. Подумаешь, финка. Взял любой ромбический напильник, заточил его на точиле — точило с электромоторчиком у меня было, — потом на хвостовик набрал разных кусочков цветной пластмассы от старых расчесок и зубных щеток, приспособил сверху кусочек латуни или нержавеющей стали, расклепал — и остается только обработать ручку напильником, а потом хорошенько отшлифовать на суконке с маслом и зубным порошком — вот и финка готова. Только я их не делал, потому что это скучное занятие. Да и куда она нужна, финка? Только трусы ходят с ними. У нас на улице был такой обычай: если кто-нибудь в драке угрожал финкой, то он объявлялся как бы вне закона и все могли колотить его сколько угодно, даже вдвоем или втроем. Так что с финками никто не ходил, но имели их многие, просто держали дома — все-таки оружие, хотя и самодельное. Но мы, блокадники, навиделись и настоящего оружия и ко всем этим самодельным железкам относились равнодушно. А с тех пор как мы снова встретились с Федей, у нас с Киркой переменились интересы, мы даже ни с кем не подрались ни разу.

А лето шло незаметно. Дни казались длинными, потому что были наполнены тренировками в гараже, ездой на веломото, чтением учебника шофера третьего класса. Да, дни были длинными, а вот месяцы проходили быстро. Мы и оглянуться не успели, как промелькнул июль. И уезжая за город, мы уже брали с собой молодую лохматую картошку, тонкие веточки укропа для заправки ухи.

В середине августа случилось важное событие.

Был обеденный перерыв в гараже. Слесари играли в домино за

грубо сколоченным столом в углу гаражного двора, и от их ударов костяшками вздрагивали огнетушители и ведра на пожарном красном щите.

Мы с Киркой, как обычно, сидели в кабине грузовика и тренировались, переключали скорости, нажимали на педали и воображали, что едем. Я как раз сидел за рулем, а Кирка — рядом. Мы так увлеклись, что не заметили, как подошел Федя. Он открыл дверцу с Киркиной стороны и сказал:

— Ну-ка, Кирилл, пусти меня в серединку.

Кирка вылез на подножку, и Федя сел рядом со мной, потом сел и Кирка.

— Захлопни дверь покрепче, — сказал ему Федя и, вынув из кармана комбинезона ключ зажигания на тонкой медной цепочке, дал его мне. — На, заводи.

Я держал на ладони желтый зубчатый ключик и огорошенно смотрел то на Федю, то на Кирку.

— Ну, заводи. Или не знаешь, как это делается? — без улыбки сказал Федя.

Когда я сунул ключ в замок зажигания, то почувствовал, что рука моя дрожит, но я сразу попал в скважину и повернул ключ вправо. А дальше все уже было привычным. Я столько раз делал все это на машине с выключенным зажиганием, что все получалось само собой. Нога легла на рубчатую педальку стартера, правая рука проверила, в нейтральном ли положении находится рычаг перемены передач, левая рука легла на руль. Я нажал на стартер и одновременно пятой придавил педаль газа. Мотор завелся сразу и заработал ровно и тихо на холостых оборотах, и я облегченно вздохнул.

— Трогай потихоньку и, никуда не сворачивая, поезжай на первой передаче до конца двора. Там заранее сбросишь газ и плавно затормозишь, понятно? И не бойся — я рядом, — негромко и спокойно сказал Федя.

Я только молча кивнул в ответ, выжал педаль сцепления и включил первую скорость. Рычаг вошел мягко, и в коробке не скрипнула ни одна шестеренка.

— Нормально, — так же негромко сказал Федя.

Я снял машину с ручного тормоза и чуть нажал на педаль газа, потихоньку отпуская сцепление...

Медленно проплывали сбоку красные ворота боксов, слесари прервали игру и смотрели, как идет машина. Федя и Кирка молчали, а у меня внутри, где-то возле живота, затвердела холодная льдинка, и холодно было лицу и шее, хотя день был теплый и солнечный... Машина шла вперед по двору гаража; пусть шла она медленно, но за руль держал я и моя нога лежала на педали газа.

— Вот, пора скидывать газ, — сказал тихо Федя, и я перенес ногу на педаль тормоза, а левой приготовился выжать сцепление.

— Можно, — сказал Федя, и я затормозил. Машина дернулась чуть-чуть. Я выключил скорость, потянул за рукоятку ручного тормоза и убрал ноги с педалей.

— Нормально, вот так и надо. Главное — не торопиться, не дергаться. Ну, пусти, развернись, и поедет Кирилл, — сказал Федя. Я вылез из кабины и обошел машину.

Кирка проехал лучше меня, при торможении у него машина остановилась плавно-плавно; я даже не заметил, когда он начал тормозить.

Через неделю Федя уже позволил нам делать повороты. Это, конечно, было потрудней, чем ехать по прямой. Ведь прямо машина идет сама, можно даже за руль не держать, а чтобы сделать поворот, нужно рассчитать, хватит ли места, не очень ли большая скорость. Так мы учились ездить на автомобиле. И первое сентября наступило совсем неожиданно. Обычно каникулы успевают надоесть и начала занятий ждешь с нетерпением, а в этом году было по-другому.

Но в класс, свежий, сверкающий белизной потолка после ремонта, мы пришли с какой-то уверенностью, что и учиться будем теперь по-новому. Мы даже до этого поговорили с Киркой, что было бы здорово весь год получать такие отметки, как на экзаменах за седьмой класс. Вообще-то когда хорошо учишься, то чувствуешь себя увереннее.

В классе не доставало нескольких человек; кто поступил в техникум, кто — в Арктическое училище, и у меня появилась легкая грусть оттого, что нам с Киркой не удалось осуществить свои планы с летной спецшколой. Но грусть прошла быстро, потому что все и так сложилось хорошо. Мы ведь уже решили с Киркой, что после восьмого класса поступим в гараж учениками и перейдем в вечернюю школу.

И классная руководительница Вера Васильевна встретила нас хорошо — ведь на экзаменах мы удивили всех. Она даже сказала на первом классном собрании:

— Ну, Серов и Сеницын, надеюсь, что вы будете хорошо учиться в этом году.

И мы действительно старались, ведь было бы стыдно перед Федей за посредственные отметки, а потом все равно: что плохо приготовить уроки, что — хорошо, — время уходит одинаковое. Так уж лучше делать хорошо. Только после прошлогодних экзаменов я понял, что получать хилые троечки унижительно. Словом, вначале все шло хорошо. Сентябрь выдался ясный и теплый. Приготовив уроки на завтрашний день, мы сели на веломото и ехали в гараж. Нам уже доверяли выгонять машины из боксов во двор или пригонять их с площадки на ремонт. Слесарь или Федя говорили нам номер машины, и мы разыскивали ее во дворе, садились в кабину, заводили двигатель и медленно ехали до ворот ремзоны, потом осторожно, стараясь, чтобы передние крылья прошли на одинаковом расстоянии от стен арки, заезжали в ворота. Это было трудно, но мы постепенно научились. Вот только въехать на смотровую яму мы не могли. Нужно было точно и прямо держать руль, чтобы правые и левые колеса попали на узкие дорожки по краям ямы. Слесари и Федя делали это почти не глядя вперед, а в ремзоне, заставленной машинами, было тесно. И мне всегда казалось каким-то фокусом то, что они умудряются провести машину так, что не заденут крыльями другие. Иной раз, когда проезжал Федя, между бортами машин нельзя было просунуть ладонь. У меня даже дух захватывало. И не верилось, что мы с Киркой когда-нибудь научимся ездить вот так.

Федя обещал, что скоро даст нам прокатиться где-нибудь на широкой и тихой улице, и мы с нетерпением ждали этого дня. Но с рас-

спросами не приставали. Гараж научил нас сдержанности. Помню, раньше, если мать мне что-нибудь обещала, я изнывал от ожидания и все приставал к ней с вопросами — когда да когда? — а теперь я научился терпеливо ждать. И потом, Федя был таким человеком, который всегда выполняет свои обещания. Мы так сдружились с ним за эти месяцы, что казалось, будто никогда не расставались со времен аэроstatной команды в церковном сквере. Мы, конечно, чувствовали разницу в возрасте, но это только больше притягивало нас с Киркой к Феде. Он был нам как старший брат.

Однажды мы провожали его домой после работы. Был сероватый свежий вечер, и порывистый ветер подбрасывал над уличным асфальтом пригоршни бурых и желтых листьев, сорванных в окрестных скверах и садах.

— Ну что, парни, позанимаетесь со мной? — вдруг спросил Федя. — Решил в техникум поступать на будущий год.

— Конечно, — в один голос откликнулись мы с Киркой.

— Значит, договорились. А то я все подзабыл за девять лет, — Федя смущенно улыбнулся. — Вот, глядишь, и научимся чему-нибудь друг у друга. Только смотрите, чтобы в школе все было нормально.

— Будет, — сказал Кирка. — Мы теперь не такие дураки.

— Отлично. А у меня новость есть. — Федя лукаво поглядел сначала на меня, потом — на Кирку.

— Какая? — не выдержал я.

Федя помолчал, улыбаясь, и потом сказал:

— Завтра поедем за новой резиной в автоснаб. Приходите сразу после уроков. Где-нибудь на тихой улице дам за руль подержаться.

— Ура! — заорал я.

Назавтра, не занося портфелей домой, мы помчались в гараж. Федя уже переоделся, умылся. На нем была знакомая брезентовая куртка, которую он носил весной и осенью. Встретил он нас улыбкой.

— Вот хорошо, вовремя пришли. Нам вообще-то к четырем, не раньше, нужно на склад, я звонил, узнавал. Так что успеем прокатиться. Садитесь, я сейчас. — Он показал нам чисто вымытый ЗИС-5.

Мы с Киркой влезли в кабину, через минуту пришел Федя и сел за руль. Открылись ворота гаража, и мы тронулись в путь.

Есть в районе Смольного квартал, образованный тихими, мощными булыжником улочками. Кое-где старые тополя с еще зеленой, но по-осеннему усохшей листвой заглядывают здесь в окна старых домов, в трещинах серых тротуарных плит растет короткая жесткая трава. Здесь мало прохожих, а машины ездят совсем редко — им нечего делать на этих коротких тихих улицах, потому что параллельно проходят улицы пошире и покрытые асфальтом.

Вот сюда и привез нас Федя. Он объехал вокруг квартала, остановил машину возле тротуара и сказал спокойно, но строго:

— Вот по этому маршруту один круг — ты, другой — ты. Не гнать, в руль не вцепляться. По гаражу ездить на первой и второй передаче — одно дело, а здесь другое. Держали когда-нибудь голубя в руках?

— Нет, — ответил я.

— У нас на улице голубей не водили, — сказал Кирка.

— Ну вот, руль, как голубь: будешь держать слабо — улетит,

будешь сжимать — задушишь. Значит, так, трогаемся со второй, потом небольшой разгон; переходим на третью передачу, и опять разгон — и четвертая, ясно? — Федя серьезно, без улыбки посмотрел на нас.

— Да все понятно, — ответил я и заерзал на сиденье; мне не терпелось поскорее сесть за руль.

— Не торопись, торопыга. — Федя вытащил ключ из замка зажигания и подкинул на ладони. — Дальше. Подъезжаем к повороту, сбрасываем газ, выключаем скорость, притормаживаем, делаем поворот, потом — прогазовку, включаем третью передачу и снова даем разгон. Вот так, теперь все. Если я скажу: «Брось газ», — значит, сразу убираете ногу с педали. Давай, садись, — кивнул он Кирке.

Кирка вылез, обошел машину и сел за руль, а Федя придвинулся ко мне. Кирка достал свой ключ зажигания — мы оба уже обзавелись такими ключами, как настоящие шоферы. Он захлопнул дверцу, завел мотор, выглянул в оконце и тронулся с места.

Я смотрел, как лежат на руле Киркины руки, иногда глядел вперед на булыжную мостовую, и какая-то рассеянность овладевала мной. Я следил за дорогой и за тем, как Кирка переключает скорости и делает повороты, но ни о чем не думал, все больше погружаясь в эту свою рассеянность. Будто я вовсе и не находился здесь, в тесной кабине грузовика ЗИС-5, а был где-то далеко-далеко, где на ветреных перекрестках вспыхивают и гаснут огни светофоров и с рокотом проходят потоки машин, а солнце бьет в лобовые стекла грузовиков, и в одном из грузовиков за рулем сижу я — только уже не теперешний восьмиклассник, а взрослый. И ровно гудит мотор, послушен руль в моих руках, и я еду по прямым и широким улицам моего родного города...

— Молодец, — сказал Федя. — Теперь выключи скорость и накатом подъезди к поребрику, выровняй машину и затормози.

И Кирка четко выполнил все эти указания и остановил машину как раз на том месте, откуда тронулся вокруг квартала.

— Ну, давай, Валя, — сказал Федя. И мы с Киркой поменялись местами. Как только я взялся за руль, рассеянность сразу пропала, но где-то в спине между лопаток появилась мелкая тихая дрожь. Я напряг спину, сунул ключ в замок зажигания и нажал на педаль стартера.

— Не волнуйся, я — рядом, — тихо сказал Федя.

Моя правая рука сама нашла рычаг переключения скоростей, нога выжала педаль сцепления, и дальше уже, казалось, не я, а кто-то другой тронул машину с места, дал небольшой разгон, плавно переключился на третью скорость, потом — на четвертую... Я только держал руки на руле и смотрел, как навстречу бежит под колеса чистая булыжная мостовая, да слушал работу мотора. Ускользали назад окна домов и деревья, мелькали лица редких прохожих, и мне дышалось легко и глубоко. Приятно было чувствовать упругость руля на поворотах, уютно входил в ладонь шарик рукоятки от рычага коробки скоростей. И я не заметил, как объехал квартал, и Федя велел остановиться. Я заглушил мотор, и мы посидели несколько минут молча, а потом Федя сказал:

— Будут из вас шоферы.

Зима подкралась незаметно. Или это только нам так казалось, потому что дни были заполнены до предела. Я не помню, чтобы когда-нибудь до этой осени у нас с Киркой было столько дел, и все неотложные, важные и интересные.

В школе на уроках мы сидели тихо, внимательно слушали преподавателей — это потом сэкономило время на приготовление домашних заданий, а мы поставили себе цель — не получить в этом году ни одной тройки, и пока что все шло нормально. Кирка даже вышел в отличники. Наши матери никак не могли понять, что это с нами происходит. Мы прибежали из школы и, наскоро пообедав, садились за уроки, потом бежали в гараж, чтобы погонять машины. А если это не удавалось, то просто залезали в яму к слесарю, подавали инструмент и смотрели, как он работает, или помогали Феде заполнять путевки.

Еще мы любили смотреть, как работает токарь Сергей Степанович. Становились возле его станка и смотрели, как завивается и синет стружка, сходя с резца, и как из ржавой бесформенной болванки получается сверкающий валик или болт, или как черным порошком сыпается чугун из-под большого резца, когда Сергей Степанович протачивает тормозные барабаны.

Тормозной барабан — это такая тяжелая чугунная миска с гладкой внутренней поверхностью, к этой поверхности прижимаются тормозные колодки, когда шофер нажимает на педаль тормоза, а к барабану привинчено колесо автомобиля. Колодки прижимаются и тормозят вращение барабана, колесо перестает крутиться, и автомобиль останавливается.

Сергей Степанович все шутиливо уговаривал Кирку поступить к нему учеником, а Кирка отмалчивался, но я замечал, что токарное дело нравится ему все больше и больше.

После работы мы, по обыкновению, провожали Федю до дому, разговаривали, строили планы, когда начнем заниматься с ним русским и математикой, чтобы подготовиться к экзаменам в техникум. Иногда вечерами катались на веломото, катали Надьку Мухину. Правда, по снегу ездить было скользко и страшновато, и мы законсервировали веломото до весны. Честно говоря, в последнее время мы немного охладели к нашему мотоциклу, потому что помешались на автомобилях. На улице мы провожали взглядом каждый грузовик, следили, как шофер выполняет поворот, по звуку мотора определяли, когда он делает прогазовку, чтобы переключить скорость. И все время читали книги. Мы раздобыли еще один учебник шофера и теперь методично изучали главу за главой.

Время бежало быстро, потому что день сократился, а школьные уроки требовали все больше и больше усидчивости. Иногда мы по нескольку дней не бывали в гараже: приготовление уроков занимало весь вечер.

Снег то таял, оставляя на улицах слякоть, то ложился снова, принося свежие зимние запахи и легкий мороз. А мы почти не замечали этого, увлеченные своими делами.

Иногда на улице нам попадался Земсков, но мы даже не останавливались поговорить с ним, кивали на ходу и шли мимо. Он был нам

безразличен, и его насмешки теперь не казались обидными. Он уже не вызывал у меня злости, и даже отколотить его не хотелось, и казалось, что наши пути разошлись навсегда. Но он еще раз чуть не втравил нас в неприятную историю. Нет, все-таки не он. Виноват был, конечно, я, а Земсков только подначил. Правда, это он умел делать здорово, но я до сих пор не могу простить себе, что поддался на его подначку.

Это случилось в зимние каникулы; уже прошел Новый год, кончилась вторая четверть, и мы показали Феде свои табеля. У Кирки была только одна «четверка» по немецкому, а у меня их было три; тоже по немецкому, по химии и, конечно, по геометрии.

Федя внимательно посмотрел табеля, похвалил и приказал:

— Во время каникул в гараж не ходить. Отдых есть отдых, а то вы желтые стали. Ходите на каток, гуляйте, дышите воздухом. А придете после каникул. Тогда уж я к вам в ученики пойду. — Он вернул нам табеля и за плечи повернул к воротам гаража. — Топайте.

Мы, конечно, скучали без машин, но Федю послушались. А наши матери, будто сговорились, подарили нам с Киркой «хоккейки» с ботинками. Таких коньков у нас никогда не было. Раньше мы подвизывали к валенкам «снегурки». Просто продевали в отверстия полозьев веревочные петли, всовывали в них валенок и потом закручивали палочками или карандашами. Получалось не очень красиво, но коньки держались крепко. Но на «снегурках» по льду кататься плохо, потому что у этих коньков широкое и горбатое лезвие. А на хоккейных — совсем другое дело. И вот на каникулах мы почти каждый день ходили в Таврический сад, где на большом лугу был залит каток. С нами ходила и Надька Мухина. Каталась она, пожалуй, получше нас.

И вот тогда-то все и случилось...

Один раз, возвращаясь с катка, мы встретили Земскова. Он стоял, прислонившись к двери парадного своего дома, и курил.

— Здорово, мотоциклисты, — приветствовал он нас с кривой усмешечкой.

— Здорово, деляга, — в тон ему ответил я, и мы с Киркой остановились, потому что спешить было некуда, а Надька сразу ушла. Она терпеть не могла Земскова.

Мы стояли на тротуаре, а Вовка — на ступеньках парадного, сунув руки в косые карманы своего полупальто с меховым воротником и остро оттопырив локти; пушистый трех был лихо надвинут на самые брови, глаза прищурены. Он перекатил папиросу из одного угла рта в другой, выпустил струйку дыма из ноздрей и спросил, не разжимая зубов:

— Что, с девочками на каточек ходите, пай-мальчики?

Я поправил коньки, висевшие через плечо на связанных шнурках, и почувствовал, что злюсь. Почему-то Вовкина кривая ухмылка и дурацкие его подковырки всегда действовали на меня раздражающе. И я уже хотел сказать ему, чтобы он заткнулся, но Кирка опередил.

— А тебя что, завидки берут?

— Что-о? — Земсков выплюнул окурочек и засмеялся тонким деланным смехом. — Завидки. Я, если захочу, могу весь день на такси прокататься. На катке холодно, ногами шевелить надо, а в машине

тепло, куда скажешь, туда и повезут. — Он спустился со ступенек и встал против нас.

— Подумаешь, — сказал я, — на такси.

— Что, скажешь, на вашем драндулете-тарактелке лучше? — Вовка достал из кармана коробку «Казбека» и снова закурил.

— У нас и автомобиль будет скоро, — сказал я и почувствовал на себе пристальный Киркин взгляд. Кирка не любил вранья.

— Не заливай, — сказал Вовка.

— А я и не заливаю, — ответил я и посмотрел на Кирку.

— Ну-у, свисти, а я послушаю, — сказал Земсков, с шиком выпуская дым из рта.

— Вот посмотришь, — упорствовал я.

— А, брось, — отмахнулся Вовка.

И тут Кирка поддержал меня.

— Правда, — сказал он спокойно. — Поступим в гараж, получим права и будем работать шоферами.

Вовка удивленно посмотрел на Кирку. Он знал, что Кирка никогда не врет.

— Да ну, кто вам даст права? — сказал он с сомнением. — На машине ездить — это не то что на вашем драндулете.

— А мы и сейчас уже умеем, — сказал я.

— Не люблю, когда кто-нибудь врет больше меня, — сказал Вовка.

Я вытащил из кармана ключ зажигания на цепочке.

— Видал? Нам даже в гараже позволяют машины со двора в бокс загонять. — Я спрятал ключ в карман.

Земсков растерянно помолчал, потом сказал:

— Ну, если правда, то здорово. Можно такие дела проворачивать... — Он присвистнул.

— Какие еще дела? — угрюмо спросил Кирка.

— Разные. — Вовка сделал таинственное лицо.

— У нас с тобой никаких дел быть не может, — сказал Кирка.

— Да это я так, — уже другим тоном ответил Земсков и вдруг спросил: — Выпить хотите?

— Чего? — не понял я.

— Похмелиться, чего. Или боитесь — мамочка заругает?

Я посмотрел на Кирку. Он глядел куда-то вдоль улицы и молчал. Мы еще никогда не пробовали ни вина, ни водки, даже не курили. Как-то не было к этому никакого интереса.

— Ну, ладно, замолкли. Тоже мне шофера, — презрительно протянул Земсков. — Вам только с девчонками на каточек ходить.

Меня взяла такая злость, что я уже приготовился засветить Вовке в глаз, но тут Кирка резко повернулся и сказал:

— Ну, ладно, посмотрим, что ты там пьешь.

— Во, это разговор, — заулыбался Земсков. — Я ведь вас уважаю больше всех парней на улице. Стал бы иначе приглашать. Пошли. — Он зашагал вперед своей шатучей походкой, скрипя сапогами по сухому снегу.

Мы свернули во двор дома двадцать девять, тут Вовка обернулся и сказал:

— Только что ни увидите, никому ни слова. А то раззвоните...

— Иди ты, знаешь... — сказал Кирка и повернул обратно к воротам, я пошел за ним. Вовка догнал нас.

— Ладно, парни, это я так. Знаю, что трепаться не будете. Кончайте дуться, пошли. Я свою хавиру вам покажу.

Мы осторожно, стараясь не топать, поднимались по черной лестнице. Земсков, шедший впереди, все время оборачивался и прикладывал палец к губам. Я запыхался, пока добрались до чердачной площадки. У меня почему-то всегда начинается одышка, когда я медленно поднимаюсь по лестнице; вот если бежать через две ступени, тогда нормально. Вовка подошел к двери чердака, обитой железом, вытащил из-за голенища большой ключ и сунул его в замочную скважину, прошептав:

— Поглядите вниз — атанды нет?

Я посмотрел в пролет лестницы и покачал головой.

Дверь чердака коротко скрипнула и отворилась. Пахнуло пылью, копотью, старыми веревками. Вовка сделал рукой знак входить, и мы с Киркой вступили в молчаливый чердачный сумрак. Земсков тихо закрыл дверь.

Много лет мы с Киркой не были на чердаках, пожалуй, с самой войны. И было странно пробираться между стропил и балок в еле различимом свете из маленьких слуховых окон. Ноги утопали в песке, и мне на секунду показалось, что нам снова по двенадцать лет, даже под ложечкой засосало от голода. Вовка привел нас в дальний угол чердака. Здесь стоял колченогий стул с продавленным сиденьем и большой фанерный ящик.

— Садись на ящик, парни, — по-хозяйски предложил Земсков и отошел к кирпичному стояку дымохода. Мы с Киркой сели. Вовка повозился у стояка, вынул несколько кирпичей и из образовавшейся дыры достал свечку, зажег ее и, капнув несколько капель стеарина, прилепил к балке, потом достал из дыры темную бутылку, два граненых стакана и три плитки шоколаду. Все это он поставил на ящик между мной и Киркой, а сам сел на стул.

— Сейчас выпьем. — Он потер друг о друга ладони. — А ничего у меня тайник?

Я промолчал, потому что был удивлен и Вовкиным тайником, и бутылкой, и шоколадом. А Кирка спросил:

— Где взял?

— Ха, — криво усмехнулся Вовка. — У меня там еще штук пять бутылок и шоколаду навалом. — Он небрежно махнул рукой, и пламя свечи заколебалось, а по балкам побежали изломанные тени. — Что, ларьков на улицах мало, что ли. — Он исподлобья посмотрел на нас. При свече его лицо казалось маленьким и желтым.

— Смотри, поймают, и загремишь в колонию, — сказал Кирка.

— Не, теперь не в колонию, теперь на общих основаниях, мне же восемнадцать стукнуло, — сказал Вовка хвастливо. И я вдруг понял, что он боится, что у него нет ни друзей, ни товарищей, что и нас-то он звал сюда потому, что ему одиноко одному, и что он завидует нашей дружбе. Но я ничего не сказал вслух. И Кирка тоже ничего не сказал, хотя, наверное, тоже все понял. Мы молча смотрели, как Земсков концом лезвия финки проталкивает пробку в горлышко бутылки. На светлой наклейке стояли три большие семерки.

— Мировой портвейн, — сказал Земсков и налил стаканы до половины.

— Зачем ты эту железку с собой таскаешь? Нарвешься на кого-нибудь, — и шею свернут, и ее отберут, — сказал я.

Он повертел финку в руках, потом сунул во внутренний карман полупальто и вздохнул.

— Привычка. Ну, пейте, а я после вас. Больше стакана нет.

Вино было горьковато-сладким, приторным и еще отдавало чем-то горелым. Мне оно не понравилось, но я выпил до дна. Кирка тоже выпил, и мы принялись за шоколад. Вовка налил себе, выпил и закурил.

— Ну как, ничего? — спросил он.

— Ничего, — сказал я и почувствовал, как внутри разливается тепло.

— Я здесь часто сижу один, выпиваю, — сказал Вовка. — Мать замуж вышла, отчим — такой крокодил... — Он сделал несколько быстрых затяжек, потом загасил папиросу в песке и закопал окурочком сапога. — Нужно, чтобы следов не осталось, а то сгорит моя хавира.

Я смотрел на его узкое, желтое от огонька свечи лицо, и мне все больше становилось жаль его. А Кирка сказал:

— Ну, попроси в «ремесле» общежитие.

— А-а, выгнали меня из «ремесла» давно. — Земсков налил еще по полстакана.

— Я больше не хочу, — отказался Кирка и отломил кусок шоколада.

— Ну, мы с Валькой пропустим. — Вовка поднял стакан. — Давай чокнемся.

Мне тоже не хотелось больше этого вина, но было как-то жаль Вовку, и я взял стакан и чокнулся с ним. Допить до конца я не смог, стало противно. Я выплеснул остатки вина в песок. И сразу вдруг стало жарко и душно.

Кирка и Вовка о чем-то говорили, но я не разбирал слов, будто их отделяла от меня какая-то прозрачная стена. Огонек свечи колебался все сильнее, и казалось, чердачные балки тоже колеблются вместе с ним. И чтобы не видеть этого, я закрыл глаза...

Кирка тряс меня за плечи.

— Валька, Валька, проснись!

Я слышал, как он зовет меня, но отвечать не хотел, только мычал. Потом я почувствовал, что меня подняли под мышки, потащили. Я вяло передвигал ноги и спал на ходу. Только во дворе, вдохнув морозный воздух, я открыл глаза и стал что-то соображать, но голова кружилась, и я сел на ступеньку у дверей черной лестницы.

— Сейчас пройдет, — сказал Земсков.

— Не нужно было ему второй раз пить, — ответил Кирка.

— Да, слаб Валька оказался. — Вовка хихикнул.

Я сделал над собой усилие и встал.

— Кто слаб? Ну-ка, повтори. — Я пошел прямо на Земскова.

— Кончай. — Кирка схватил за плечо.

— Пошли, пройдемся, подышишь воздухом, — сказал Вовка. — Кирка, коньки возьми. — Вовка подхватил меня под руку, и мы



пошли к воротам. На улице мне стало легче, только тошнота подступала к горлу. Я уже все соображал: что сейчас день, что мы с Киркой были на катке в Таврическом вместе с Надькой Мухиной, а потом пили с Вовкой Земсковым портвейн на чердаке...

— Да отпусти ты, — сказал я Земскову и вырвал руку.

— Смотри шлепнешься сейчас, — сказал он и хихикнул.

— Не волнуйся. — Я обернулся. Кирка шел позади и нес через плечо мои и свои коньки.

— Эх ты, шофер. От стакана портвейна окосел. А я, говорит, машину могу водить, — нараспев сказал Земсков.

Я даже задохнулся от злости.

— Могу! И мотоцикл, и машину.

— Ну, докажи! Вон, стоит грузовик. Что, слабо? — Вовка криво усмехнулся.

Я вытащил из кармана ключ зажигания и бегом пустился к грузовику, стоявшему у входа в овощной магазин. Бежал и чувствовал, что меня качает.

— Валька, сто-ой! — услышал я отчаянный крик Кирки, краем глаза увидел у магазина Надьку Мухину с большой авоськой, но не остановился.

Дверца машины была не заперта. Я вскочил в кабину и сунул ключ в замок зажигания. Нога потянулась к педали стартера; дрожащей рукой я схватил за рычаг перемены передач, взглянул вперед через лобовое стекло и увидел Мухину. Надька стояла прямо перед самым радиатором в своем куцем пальто, с авоськой в руке и пристально смотрела на меня. Я судорожно нажал на педаль тормоза, потому что вдруг показалось, что машина тронулась с места, хотя я и не завел еще мотора. А Надька все смотрела на меня. Я выдернул ключ из замка, выскочил из кабины и чуть не упал, потому что закружилась голова. Я сел прямо на тротуар, но чья-то жесткая рука вдруг подхватила меня за шиворот, встряхнула. По запаху бензина, исходившему от ватной стеганки, я понял, что это был шофер...

12

Если по-честному, — я трусил.

В тесных помещениях беспокойство и страх всегда сильнее, чем на просторе. Наверное, этим чувствам просто некуда улетучиться. А здесь комната была небольшой. Даже не комната, а короткий коридор, где вдоль стен стояли жесткие стулья с вытершейся до белизны клеенкой на сиденьях. Между ними оставался неширокий проход, и в конце — высокое окно, через которое не очень щедро светило солнце.

На стульях сидели разные люди: молодые парни, мужчины средних лет и совсем пожилые. Все молчали, застыв в каких-то выжидательных позах, и на их лицах тоже не было заметно особенной храбрости. Многие курили; воздух был сумрачным, и лица казались серыми.

Я покосился на Кирку, сидящего рядом. Он не боялся — я понял это сразу. Кирка, когда волнуется или боится, прикусывает свою

толстую нижнюю губу, а сейчас губа у него отвисла, и он, облокотившись на колени и подперев кулаками подбородок, неподвижным взглядом уставился на белую конопатую дверь со стеклянной синей табличкой, на которой было всего одно слово. И потому ли, что дверь давно нуждалась в окраске, а табличка была новенькой и блестящей, от этого слова веяло торжественным холодом: КОМИССИЯ.

Справа поперечным коридором деловито проходили люди, большинство в милицейской форме. И никто не смотрел в нашу сторону.

Мы уже полчаса ждали здесь, а дверь с табличкой все не открывалась. Но я уже не мог больше сидеть на одном месте, поднялся и прошел к окну. Там стоял старый канцелярский стол с фанерной столешницей, закапанной чернилами. Коричневая пластмассовая «непроливайка» покрывалась пылью, а перо в обгрызенной ученической ручке было ржавым.

Я поглядел в окно.

С высоты второго этажа знакомая Конюшенная площадь казалась необычно просторной. Я столько раз проходил по ней и никогда не замечал, что она такая большая. Солнце освещало чуть выпуклую мостовую из серой брусчатки, поблескивало в наезженных трамвайных рельсах, отражалось в стеклах «Побед», стоявших на той стороне возле таксомоторного парка. Я знал, что слева, за каналом Грибоедова — Михайловский сад. Старые деревья чуть слышно шелестят свежей, еще совсем мелкой листвой, и безлюдно на аллеях в этот утренний час. И мне так захотелось на тихие дорожки, посыпанные крупным бурым песком, и брести по ним, щурясь от лучей, пробивающихся сквозь негустые кроны лип и тополей.

Почему-то всегда хочется того, что невозможно сейчас.

Я вздохнул и перестал смотреть в окно. И взгляд снова упал на закапанную чернилами столешницу. Я заметил полустертые надписи, наклонившись, стараясь разобрать их.

«Все пропало» — сообщали корявые печатные буквы у края стола. «Погорел, 12/5/50. А. Щеглов» — увидел я между двумя жирными кляксами. Надпись была совсем свежей и четкой, чернила отливали вороненой сталью.

Мне стало не по себе. Этот А. Щеглов был здесь всего месяц назад. Он, наверно, также смотрел в окно и видел Конюшенную площадь. Мне стало совсем беспокойно. Я вернулся на место, сел и шепнул Кирке:

— Постоим пойдем на улице.

Кирка только отрицательно мотнул головой.

— Конечно, идите на воздух. Тут от дыма и в голове помутиться может, — сказал пожилой мужчина, сидевший рядом с Киркой. Видимо, он слышал мой шепот. — Вызывать по алфавиту будут. Я уже третий раз, так что знаю, — добавил он сокрушенно и опустил лысоватую голову.

— Иди, я посижу, — сказал Кирка. — Мы оба на «эс», так что сразу не вызовут.

Я сбежал по лестнице и, отворив тяжелую дверь с тугой пружиной, вышел на площадь.

Слабый ветер дул со стороны канала и приносил запах старой

воды. Стоявший на остановке трамвай, пустой, насквозь просвеченный солнцем, тихо тронулся с места, прошел через мост и, скрежещущ на повороте, скрылся. И на площади установилась необычная тишина. Будто все эти «Победы», красные бензоколонки, киоск газированной воды у входа в автопарк тоже чего-то ждут, будто что-то должно случиться сейчас.

Откуда-то с улицы Желябова доносились слабые городские шумы, по той стороне проходили люди, но все равно площадь казалась мне пустой и притихшей в недобром ожидании. И когда за спиной отчетливо хлопнула дверца машины, звук этот показался громким и резким. Я повернулся, чувствуя какое-то странное беспокойство.

У второй двери милиции, ближе к переулку, стоял глухой черносерый фургон. Он стоял чуть наискось к тротуару, возле самой двери, и солнце играло в его железных боках. Задняя дверца фургона была раскрыта, и подле нее стоял милиционер. Я почему-то пошел к фургону, испытывая все то же чувство странного беспокойства.

Площадь по-прежнему казалась безлюдной и безмолвной, будто на цветной почтовой открытке. Даже шума своих шагов я не слышал.

Я шел беззвучными шагами и смотрел на небольшой черный прямоугольник, за которым было темное нутро фургона. Прямоугольная дыра зловеще зияла в солнечном утре этого дня. Что-то там поблескивало внутри. Я приблизился и увидел в глубине тускло мерцающую железную решетку и большой черный засов на ней. Остановился и смотрел, и мне вдруг стало казаться, что я уже где-то видел и это темное фургонное нутро, и решетку; я как будто узнавал, но в то же время был уверен, что никогда не видел этого. И тут скрипнула дверь милиции. Это, кажется, был первый звук, раздавшийся на площади. Я повернул голову. Из двери выходил милиционер, потом за его плечом показалось что-то серое и округлое. Милиционер посторонился, придержал тяжелую дверь, и я понял, что серое и округлое — это низко опущенная голова, стриженная наголо. Уши как-то неуместно и слишком заметно торчали по бокам этой головы, понуренной и мотающейся на тонкой слабой шее. Узкоплечий человек, немного выше меня ростом, заложив руки за спину, ссутулясь и низко наклонив лицо, шел к черной прямоугольной дыре, зияющей в солнечном утре. Поравнявшись со мной, он поднял голову. Мелькнули светлые линиялы глаза и тусклая бледность лица. Человек сразу же опустил голову, будто тонкая шея не могла выдержать ее груз.

Он был такого же возраста, как я.

И тут, словно прорвавшись сквозь невидимую преграду, на меня хлынули городские шумы: шаги прохожих, металлический скрежет трамваев, шелест автомобильных шин. Эти звуки оглушали меня, но самым громким казался стук сердца, которое заколотилось вдруг часто и нервно. Я машинально сделал шаг к фургону, но человек уже влезал в черный прямоугольник дверного проема. Мелькнула узкая, искривившаяся и какая-то беспомощная спина, и все. Милиционеры влезли вслед за ним и захлопнули дверцу; фургон сразу тронулся с места. А я стоял и смотрел на маленькое зарешеченное оконце в задней дверце фургона, пока машина не свернула в Конюшенный переулок.

Площадь была наполнена звуками и солнцем, и мне нужно было

идти, но я стоял и смотрел в переулок, в котором скрылся фургон черно-серого цвета с тускло мерцающей железной решеткой внутри. Я подумал о том, что и меня могли вот так увозить в этом фургоне... Вдруг стало холодно, и я медленно направился к другой двери милиции. Там, на втором этаже, в коридоре меня ждал мой друг Кирка Синицын. Я шел и думал, говорить ли ему о том, что увидел и подумал. И я решил, что скажу сразу.

Я избежал по лестнице, вошел в короткий боковой коридор и сел на свой стул рядом с Киркой, который все так же, облокотившись на колени и подперев кулаками лицо, смотрел на дверь с табличкой. Я ждал, пока успокоится дыхание, а сам все думал об этом фургоне, в котором только что увезли мальчишку, и уже открыл рот, чтобы сказать об этом Кирке, но тут дверь с табличкой отворилась и лейтенант-автоинспектор назвал первые фамилии. И все сразу зашевелилось, кто-то кашлянул, кто-то шумно вздохнул; зашелестели страницы «Правил движения». Кирка тоже достал из-за пазухи эту брошюру и стал просматривать. А я знал, что все равно сейчас не смогу сосредоточиться, и не стал доставать свои «Правила», но Кирке решил не мешать.

Лейтенант-автоинспектор называл всё новые и новые фамилии, но до нас было еще далеко. Люди как-то суетливо проскальзывали за белую конопатую дверь с табличкой, а когда выходили обратно, то по их лицам можно было узнать, что произошло. Сдавшие экзамен ошалело и счастливо улыбались и твердым шагом уходили из коридора; провалившиеся были растеряны и подавлены.

Вышел пожилой мужчина, сидевший до этого рядом с нами. Он тихо притворил за собой дверь, грустно взглянул на нас и безнадежно махнул рукой, потом надел плоскую кепку и, ссутулившись, пошел к выходу. Из-за тяжелой усталой походки он казался еще старше. Я смотрел ему вслед и чувствовал, как потеют ладони и от страха сохнет во рту... Что же будет с нами, если этот опытный старый шофер не смог пересдать?

Я взглянул на Кирку. Он скорчился на стуле, нижняя губа была прикушена так, что даже побелела. И я вдруг представил себе, как мы выйдем отсюда, придавленные неудачей, по-стариковски шаркая ногами... Нет, я не мог позволить себе думать об этом. Мы не имели права провалиться на этом экзамене, потому что слишком много людей надеялись на нас, верили. Слишком многим мы были обязаны тем, что сидим в этом коридоре, а не там, куда сейчас ехал черный фургон.

И чтобы заглушить страх и почувствовать себя увереннее, я стал вспоминать всех людей, которым был обязан.

Я сидел в коридоре милиции, перед дверью с табличкой, и вспоминал все, что было в прошлом хорошего и плохого, и вспоминал хороших людей. И оттого, что я вспоминал их, мне казалось, что мы с Киркой уже не одиноки в этом коридоре, а все наши друзья — с нами...

Я вспоминал, как Федя и Сергей Степанович поручились за меня в милиции, когда я хотел завести чужую машину, и только благодаря им меня не отправили в колонию. Они не отступились от меня тогда, и поэтому я еще сильнее осознал свою вину и то, что у меня есть

взрослые друзья, на которых я могу надеяться, как надеялся бы на отца, если бы он остался жив.

Я вспомнил, как мы с Киркой перешли в вечернюю школу и работали в гараже учениками. Кирка учился токарному делу у Сергея Степановича, а я — на автослесаря. Через год нам присвоили по третьему разряду.

Я ремонтировал машины, Кирка точил болты и гайки. Мы учились в вечерней школе, но все время мечтали стать шоферами. И вот перед нами эта белая конопатая дверь с табличкой, и в коридоре уже опустели почти стулья, а мы все сидим и ждем. Ждем наш последний экзамен.

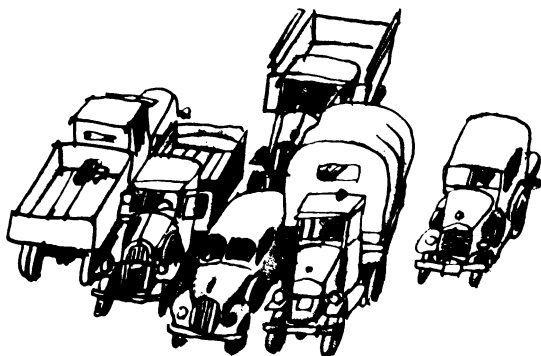
Я встал со стула и подошел к окну.

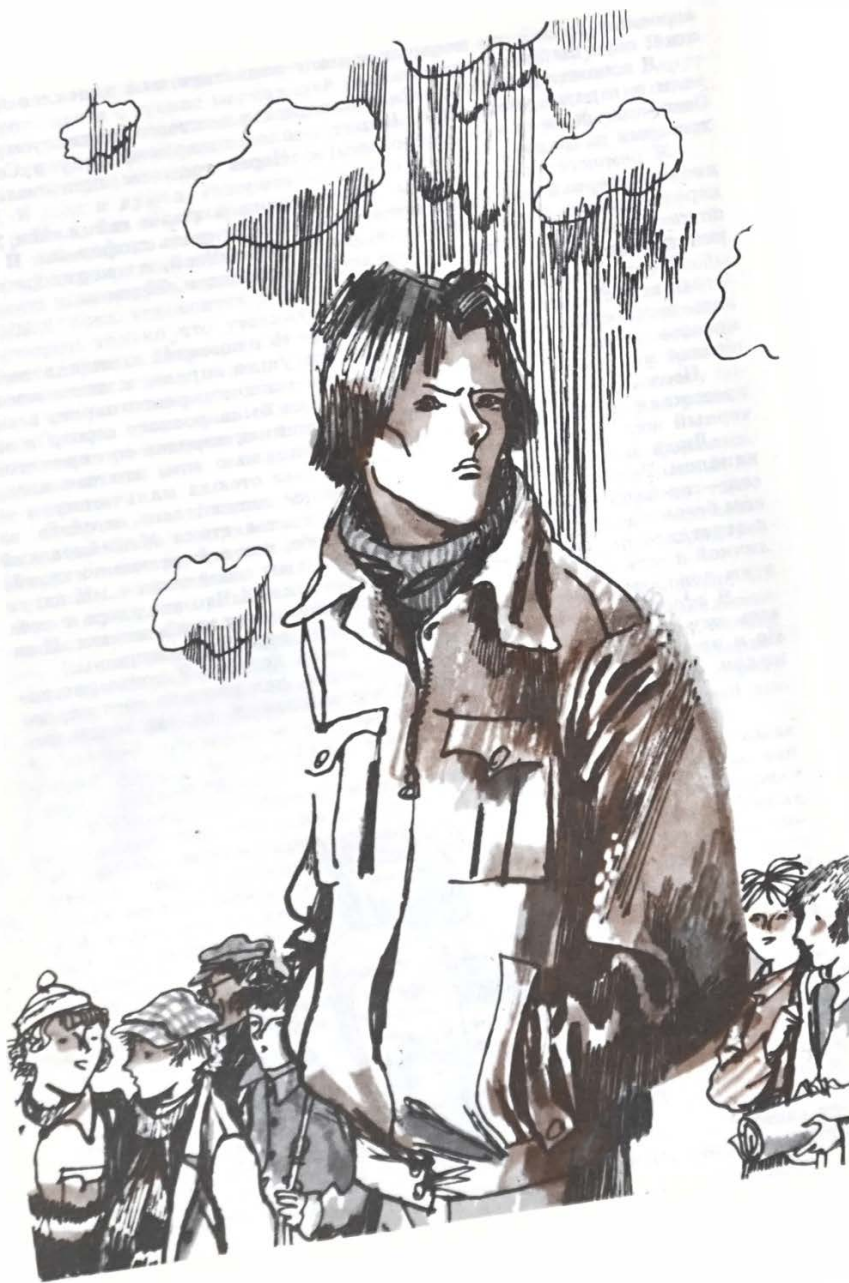
С высоты второго этажа знакомая Конюшенная площадь казалась необычно просторной. Солнце уже ушло вправо, и лишь косые красные лучи освещали фасад и ворота таксомоторного парка, а выпуклая мостовая из квадратной брусчатки была ровного серого тона.

Неслышно проносились легковые машины, изредка со скрежетом проезжали трамваи. И ничего не напоминало о том, что час назад черный железный фургон с решетками увез отсюда мальчишку.

Люди шли по своим делам, начинался летний день, и слева, за каналом Грибоедова, в мелкой свежей листве стоял Михайловский сад — сад нашего детства. Я представил себе, как сейчас там по аллеям бегают малыши и на скамьях сидят мамы с колясками... И вдруг я отчетливо понял, что наше детство кончилось! Что эта дверь с табличкой и есть тот самый поворот, который виделся мне в мечтах. И за этим поворотом начинается наша с Киркой взрослая жизнь.

Я отошел от окна и сел рядом со своим другом. Я хотел рассказать ему о своих мыслях и о том, что видел, как увозили того парня. Но в это время дверь открылась и автоинспектор назвал наши фамилии.







ПАРУСА

Повесть





1

Все началось прошлой осенью.

Тогда я еще не решил, «кем быть», и первого сентября пришел в свой девятый «Б», выбрал себе место за третьим столом в крайней колонке, рядом с Гошкой Евстигнеевым. В начинавшемся учебном году я намеревался приналечь на занятия и подумал, что рядом с тихим Евстигнеевым будет спокойно. Словом, я решил быть собранным. Нет, не то чтобы мне мерещились лавры отличника — терпеть не могу эту породу не имеющих своего мнения и туповато-прилежных людей, — тут были другие причины.

Восьмой класс я окончил слабо, и, хотя это не вызвало огорчения само по себе (какая разница — «тройка» или «пятерка»), был один моментик на экзаменах, о котором я часто вспоминал летом. И пожалуй, нужно изложить это для полноты картины.

Дело в том, что я никогда не был любимчиком, — отношения с учителями складывались чаще напряженные, а иногда безразличные. Да и за что им любить меня? Но это скучная материя, может быть, я разберусь в этих отношениях и в их причинах, только позже. Одним словом, на экзаменах за восьмой класс мне не стоило надеяться на снисхождение или моральную поддержку кого-нибудь из учителей. Ну, я и барахтался в меру своих сил и знания, вернее, незнания.

В общем, сдавал с грехом пополам, с заиканием и косноязычием, даже не испытывая уколов самолюбия. Вообще-то, признаюсь, я — человек самолюбивый и за все восемь школьных лет ни разу не позволил себе, стоя у доски, ждать подсказки, со страдающим лицом выдавливать из себя отдельные слова и с идиотским видом смотреть в потолок, рассчитывая на жалость учительницы и на то, что она поверит в мою тупость — вот, мол, человек учил, но дается ему трудно...

Вообще, это гиблое дело: если вам удастся кого-нибудь убедить в своей тупости и таким образом выклянчить хилую «троечку» вместо упитанной полновесной «двойки», если вы потом все время будете прибегать к этому приему, то рано или поздно оступеете по-настоящему. Я знал таких ребят, которым к четвертому или пятому классу удалось убедить всех в своей бесповоротной глупости, и учителя махнули рукой, ставили им «тройки», а ребята эти в конце концов действительно стали глупцами. Так вот, за все восемь лет я до такого не унижался; когда чувствовал, что не смогу ответить, — говорил прямо, что не выучил, и получал свою «двойку». Да и вообще устных уроков я не учил почти никогда, для ответа на «тройку» хватало того, что запоминалось в классе, а при некоторой удаче выходила даже «четверка». И вот на экзамены за восьмой я пришел совсем не обремененный грузом знаний. Учителя тоже не рассчитывали, что я потрясу их глубиной эрудиции. Кое-как на «четверку» сдал я письменную математику, поплавал на устной геометрии, более или менее прилично написал сочинение на свободную тему. Сочинения я вообще пишу легко и даже ошибок делаю не много, рука механически пишет правильно, а стоит только задуматься: «корова» или «карова» — и обязательно сделаешь ошибку. Вот поэтому я побаивался устного русского. Да еще потому, что по русскому и литературе у нас была Любаша — наша классная воспитательница, точнее Любовь Михайловна Панюшкина. С Любашей у меня была старая распря, такая старая, что уже и не вспомнить причины. Она пришла к нам воспитательницей в седьмой класс, и почти сразу же у меня с ней обнаружились расхождения во взглядах на жизнь, на педагогический процесс и многое другое.

В шестом классе я зачитывался Вознесенским и полупрезрительно отмачивался, когда обнаруживал в собеседнике хоть крупицу обычного здравого смысла. И еще я играл тогда в волейбол, благо был длиннее некоторых девятиклассников, и мне казалось, что нет в мире ничего более ценного, чем точный мягкий пас и резкий короткий удар по мячу, на миг повисшему над сеткой («Ложись, сарматы!»). И я ходил по коридорам школы и по улицам, словно шагал на демонстрации по Дворцовой площади, и нес самого себя вместо знамени: «Сладоко, досадно быть сыном будущего, где нет дураков и вокзалов-торгов — одни поэты и аэропорты!». А летом после шестого класса я открыл Александра Блока — «открыл» в прямом и переносном смысле.

Дома у нас давно, сколько я помню себя, на книжных полках, забитых всякими трудами по гидродинамике и гидротехнике, был ограниченный выбор художественных книг. Родители, вернее отец, считали, что всех книг не соберешь, а таких, которые будешь перечитывать, совсем немного. И вот, в соответствии с этой догмой, держали только книги по специальности, сочинения классиков и словари — много вся-

ких словарей. Сколько помню себя, столько помню картинки в разных энциклопедиях, заумные странные словечки из лексиконов. В звучании этих слов была какая-то чуть тревожная таинственность — «оксюморон», «сферолиты», «бифуркация», «гиматий»; я полюбил читать словари и мог сидеть над каким-нибудь терминологическим справочником с таким же интересом, как и над детективом. Правда, это — не очень удачное сравнение; словарь или энциклопедию уместнее сравнить с научно-фантастической литературой: так же на каждой странице вас ждет новое и неизвестное, и вы можете устремиться мыслью в глубь кристаллической решетки кварца или отправиться в космос при помощи реактивного двигателя. Но если в научно-фантастической повести все — выдумка, то в энциклопедии все — правда. А детективы и фантастику я тоже люблю, хотя они не остаются на моей книжной полке: это уж точно, что я никогда не стану перечитывать какую-нибудь «Тайную схватку» или «Войну на Изумрудной звезде». На моей книжной полке с некоторых пор стали выстраиваться труды по архитектуре и дизайну, и я с удивлением заметил, что в отношении к книге следую принципам отца. Это меня озадачило: меньше всего я по характеру похож на своего отца, но, видимо, принцип, по которому он собирал свои книги, так логичен и отработан многими поколениями людей, что рано или поздно к нему приходит всякий человек. Но вернемся к Александру Блоку.

Было это в летние каникулы после шестого класса.

Летом мы почти никуда не выезжали из Ленинграда, только иногда предпринимали трех-, четырехдневные походы по Карелии, Эстонии или Новгородчине. Моя мать родилась в псковской деревне, но родственников там уже не осталось, отец — коренной ленинградец, — так что выехать летом для длительного «приобщения к природе» нам было некуда, а наем пригородных дач у осатаневших от алчности сестрорецких или вырицких пейзажистов мы дружно презирали, — это было, пожалуй, единственный вопрос, по которому в семье царил трогательное единодушие. И я не скучал в городе. Я люблю летний Ленинград с водоемными его, поглощающими блеск красками белых ночей, люблю изысканность старого золота шпиль, с нерасчетной кротостью нацеленных в бледную нашу северную синеву. Люблю застенчивых, «с глазами кроликов» забулдыг, по вечерам окружающих пивной ларек на углу Шкиперки и Опочинной, люблю крепкие дегтярные запахи Кожевенной линии, меня волнуют названия — Васильевский остров, Веселая, Галерная, Гаванская; люблю набережные Невы и старые каналы, глазу моему никогда не становятся в тягость выгнутые спины мостов, сомкнутые фасады старых домов и ажурность чугунных оград. Но бывает такой момент, когда на переломе лето, а вы не выезжали из города, обошли все любимые улицы, наигрались в волейбол до звона в голове, накупались в Неве до нудного насморка, прочитали все новые книги, какие удалось достать, и в один прекрасный день на вас наваливается летняя короткая хандра. Вы бродите по пустой квартире с каким-то смутным чувством неудовлетворенности в душе и выискиваете, чем бы заняться. Вот в такой день я почувствовал, что мне не хочется ни на пляж к Петропавловской крепости, ни на мою морскую набережную, ни на волейбольную площадку — никуда, и нечем заняться, нечего читать.

Сквозь тонкую ткань занавесок в общую комнату — «гостиную» — нашей квартиры вливался ленивый тепло-желтый свет, кладя свой ленивый оттенок на все: желто розовел паркет, желто голубели обои, желто серели диван и стулья, пожелтела стеклянная пепельница на столе, — только корешки книг на полках оставались сами собой. Они стояли сомкнутым строем и с равнодушным достоинством взирали на желтую лень, полнившую дом. Стоял раззолоченный, как рота гусар, восьмидесятишеститомный «Брокгауз и Ефрон», мрачно-чернела БСЭ, громоздилась в картонных футлярах Всеобщая история искусств, словно в трамвае теснились маленькие пузатые тома старинного справочника инженера, добротнo и скромно гляделись всякие «Гидродинамики», «Гидростатики», всякие там «Деревационные сооружения», — десятки толстых книг с разными мутными схемами, со страницами, сплошь покрытыми многоэтажными формулами. Я помнил их столько, сколько помнил себя, и когда-то листал некоторые из любопытства. И вот я стоял перед полками, изнывая от невнятной пустоты на душе, и глазу не на чем было остановиться в этих шеренгах корешков. Я еще раз окинул полки сверху донизу рассеянным взглядом и хотел уже отойти, но на самом верху заметил нечто странное.

На последней полке всегда стояли эти девять кобальтово-синих томов среднего формата; на корешках у самой головки в темно-синем прямоугольнике — четкие серебряные буквы: Александр Блок, а внизу корешка стояла цифра тома. Я никогда не открывал этих книг, — фамилия автора напоминала что-то из физики: рычаги первого и второго рода, полиспасть, словом, начала механики. Но сегодня я заметил в этом девятитомнике одну странность; девятый том был нумерованный, вместо цифры внизу корешка были четкие серебряные буквы: «Записные книжки».

Я протянул руку и с трудом вытащил этот том из ряда плотно стоящих книг, открыл почти посредине и стал читать с начала четной страницы:

«28 мая. Хороший журнал — эта «София»... — Спектакль в Куоккале — пьеса Дымова. — Странная смесь унижения с гордостью. Ее вчерашний взгляд. Я влюблен в нее сегодня так грустно, как давно не был...»

Я почувствовал холод на лице, будто в комнате подул ветер, и сразу прошла моя ленивая хандра, я присел на диван и дочитал запись до конца, еще толком не понимая ничего, но чувствуя приближение тревожной необычности. Потом вскочил и схватил еще том, открыл наудачу... и не стало меня, — я весь растворился в пронзительно-плавных размывчивых стихах.

...Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
Я не боюсь...

Очнулся я лишь от стука входной двери, это мать вернулась с работы.

Серый сумрак плескался в комнате, и странными казались привычные, давно знакомые вещи.

— Глаза испортишь. Все от лени, — сказала мать, раздвигая занавески.

— Не, нормально, — отмахнулся я.

— Обедал?

— Нет еще.

— Даже поестъ лень. Ну, что ты за человек?

— Да неохота было. — Я вскочил с дивана, снял с полки еще два тома — сколько смог унести в руках — и потащил к себе в комнату, вернулся и забрал остальные.

Так ко мне пришел Блок. Я бродил уже темнеющими вечерами по Линиям и набережным как лунатик, смотрел сквозь прохожих, будто они прозрачны, и бормотал чеканные, неотвязные строки этих удивительных, укачивающих стихов.

Помнишь ли город тревожный,
Синюю дымку вдали?

Наверное, я многого не понимал тогда в этих стихах, но ощутил через них тревогу и ожидание будущего и еще понял, что «судьба» — моя, личная судьба — это не какая-то абстракция, а реальность, сиюминутность, что моя судьба и есть мои шатания по улицам, опьянение стихами, раздумья о будущем; что моя судьба — это не только то, что будет когда-то, через годы, а то, что происходит со мной сейчас, каждый день.

Было мне тогда тринадцать лет, и я впервые задумался о жизни и начал догадываться, что она — интересная штука.

Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита.

За чтением Блока незаметно промелькнул август, что-то изменилось во мне тем летом семьдесят четвертого года, — не то чтобы я сразу и вдруг повзрослел, но появилась какая-то пристальность зрения и мысли, которой не было раньше. До этого я был жутко наивен и в разговоре с кем-нибудь слышал только то, что хотел передать собеседник, и видел только то, что хотел показать мне какой-нибудь человек. Но вот будто с глаз внезапно спала пелена, и за улыбкой одного парня с нашей улицы, который считался моим приятелем, я увидел довольно плохо скрытую неприязнь; за ухарской небрежностью другого — неуверенность; теперь в разговорах я улавливал не только то, о чем говорят, но и о чем умалчивают. Все и всё вокруг стало совсем не простым, но еще более интересным. И конец лета одна тысяча девятьсот семьдесят четвертого я провел в состоянии лихорадочного удивления: я заново открывал давно знакомые вещи, чувства мои странным образом обострились. В фасадах знакомых домов, в очертаниях привычных вещей, в шорохах ветра за ночным окном, в дневном блеске солнца, в оплывах цвета морской волны, в звучании много раз слышанных песен я открывал новое. И оно входило в меня глухим непонятным волнением и любопытством к тому, что ждет впереди. И в таком настроении я пришел в седьмой класс.

Первый день учебного года всегда казался мне самым любопытным.

Вы приходите в школу, по которой успели соскучиться за лето, встречаете ребят, лица которых подзабылись слегка. И вдруг замечаете, что все изменились, что все совсем не такое, каким вам помнилось — класс и столы стали чуть меньше, парни и девчонки даже самого маленького роста — хоть чуть-чуть больше. И тогда вы сами чувствуете, что прошел еще год и вы тоже — уже не прежний.

В первый день занятий в седьмом классе это мое ощущение было особенно отчетливым. Я здоровался с ребятами, пожимал руки, а сам прислушивался к этому своему ощущению новизны.

Подошел Сашка Чернов. Мы с ним не виделись целое лето, потому что он сразу уехал в деревню под Рязанью.

— Где отдыхал, Юрка?

— Где? На южном берегу Смоленки.

— В волейбол-то играл?

— Было. А ты?

— Нет. Там никто в это не тянет. Все — в футбол и на мотоциклах гоняют, благо прав не надо и ГАИ нет.

— Ну, так ты выучился на мотоцикле?

— Запросто. Теперь только правила лезубрить, и можно сдавать на права. Не скучно было в городе все лето?

— Да нет. Читал... — Я хотел сказать ему о Блоке, но понял, что не могу, невозможно все это выразить словами, да и не нужно, наверное. Я часто мучился тем, что мне нечего сказать. Все ребята вокруг такие остроумные, у всех столько рассказов, впечатлений, мыслей, а мне просто нечего вспомнить — все неинтересно. И вот в первый день занятий в седьмом классе мне захотелось рассказать Сашке Чернову о том новом, что я узнал летом — ведь произошло же что-то со мной. Оказалось, что об этом не расскажешь. Но я не почувствовал обычного огорчения, даже наоборот — какое-то спокойное удовлетворение вошло в меня. Я словно бы стал обладателем волнующей тайны и ощутил новую уверенность. Вы чувствуете уверенность, если вам есть о чем сказать в компании, но, наверное, можно чувствовать уверенность, если вам есть о чем умолчать. И когда раздался первый звонок, я вошел в класс с этой своей радостной тайной.

Все стали немножко другими, особенно девчонки, распустившие волосы так, что они свободно свисали до плеч. Даже у Гальки Суржиковой круглое, как ватрушка, лицо стало казаться тоньше от такой прически.

Я сел, продолжая оглядывать лица и отмечая появившиеся в них новые черты, и в то же время думал о своей неожиданной тайне, и сравнивал себя с другими. Это увлекло так, что я не услышал, как открылась дверь класса, и встал чуть позже остальных, поднял голову и натолкнулся на внимательный и, мне показалось, испуганный и колющий взгляд новой учительницы. Это и была Любаша.

Пока завуч представляла ее классу, она все тем же испуганным взглядом поглядывала на нас, а я смотрел на нее.

— Любовь Михайловна будет вашим классным руководителем и преподавателем русского языка и литературы. Я надеюсь, вы окажете ей внимание, поможете узнать и полюбить Ленинград. Любовь Михайловна совсем недавно живет в нашем городе, — закончила завуч.

Ну, последнего она могла и не говорить. То, что Любаша — не

ленинградка, было видно невооруженным глазом. Достаточно красноречиво об этом говорил кружевной платочек, торчавший из левого рукава, хотя на столе уже красовался ее оранжевый, блестящий, как новенькие «Жигули», портфель. В общем, первое впечатление от Любаши было забавным.

Завуч вышла, и новая учительница осталась один на один с классом. Крышка портфеля открылась с таким же щелчком, как багажник автомобиля, и Любаша достала толстую тетрадь, раскрыла на первой странице и, все тем же испуганным взглядом озирая нас, сказала:

— До сих пор вы занимались только русским языком, а с этого года начнете учить литературу — стихи и повести Пушкина, поэмы Лермонтова, пьесы Гоголя, творчество Некрасова, Льва Толстого и советских писателей — Горького, Маяковского, Фадеева, Твардовского. В конце урока я продиктую список того, что надо прочесть, а сейчас поговорим о том, что такое литература. — Голос у Любаши был высокий и сильный, но временами в нем слышалась гундосость. Не я один заметил это; Суржикова зажала свой пяточок двумя пухлыми пальцами, наморщилась и прищурила глаза. Сидевшая с ней рядом Фанька Маврина прыснула в кулак. А Любаша говорила о значении искусства слова для людей, говорила гладко, понятно и скучно. Я сначала слушал, а потом отключился, стал думать о своем и рассеянно озираю класс, а голос учительницы стал лишь неразборчивым фоном, ровность которого нарушалась гундосыми звуками.

О чем я думал? Как всегда, обо всем и, пожалуй, ни о чем. Со мной часто бывает такое — сидишь где-нибудь, и в самое неподходящее время в голове вдруг заработает телевизор... Нет, даже не телевизор, а какая-то голографическая установка, где все объемно и в цвете. Честное слово, это — интереснее телевизора, потому что в нем видишь только то, что показывают, а в голове можно увидеть все, что хочешь, и даже то, чего не хочешь... Не помню, какую программу смотрел я тогда на своем персональном экранчике. Чаще всего я исправляю допущенные в жизни ошибки. Ну, например, ваша команда проиграла встречу, а потом вы снова прокручиваете эту игру на своем голографе и сразу видите, что не надо тупо и упрямо давать пас в четвертую зону, потому что у них, в той команде, рослые нападающие, и они обязательно задавят на блоке. И вот тогда вы меняете тактику — на своем экранчике все получается с легкостью, этим он и хорош — и даете первый пас сразу во вторую зону, а второй бьет «по ходу», почти вдоль сетки, коротким кистевым ударом, и они на той стороне ничего не могут поделать. И снова вы даете первый пас во вторую зону, противник в панике ставит двойной блок. А второй в прыжке дает продольную передачу четвертому, и следует резкий сильный дрифт почти по самой «шестерке», и вы выигрываете партию, а вместе с ней и когда-то проигранную встречу, — на своем голографе все возможно. В вашей воле отправиться в Антарктиду на дизель-электроходе «Обь» или прокатиться верхом на дельфине от Веракруса до Гаваны; вы можете предупредить жителей Помпеи и Геркуланума о предстоящем извержении, чтобы они вовремя собрали свои шмотки, похватали детишек, собак и кошек и переехали в какое-нибудь место поспокойнее, словом, со своим телевизором вы —

царь и бог, и вам не страшны никакие поражения и обиды. И вот первого сентября на уроке литературы в седьмом классе я на время стал царь и бог. Под ровный с редкими гундосыми всплесками голос новой учительницы я вершил скорый, но справедливый суд над тем, что мне не нравилось, и щедрой рукой награждал за доблесть и мужество. Я так увлекся этим занятием, что уже ничего не воспринимал вокруг, и с высот всемогущества меня низверг голос над самым ухом.

— Повторите, пожалуйста, то, что я сказала.

Я вставал намеренно медленно, чтобы успеть прийти в себя. Обычно последние слова учителя сами всплывают в памяти, пока встаешь из-за стола, но на этот раз я ничего не вспомнил, выпрямился во весь рост и сверху вниз стал разглядывать коричневые кудряшки новой учительницы, прическа ее напомнила шоколадно-кремовый торт, не хватало только зеленоватого кубика цуката посредине, и я машинально улыбнулся.

— Ну, что вы улыбаетесь? Я жду.

— Задумался, не слышал, о чем вы говорили, — негромко ответил я.

— О чем же вы задумались таком важном, что ничего не слышите? Может, это действительно важно и нам следует оставить занятия литературой и всем вместе подумать, — последние слова она произнесла медленно, почти нараспев, и обвела глазами класс, призывая к сочувствию. И кто-то из девочек хихикнул приглушенно, но это только подчеркнуло напряженную тишину.

— Как ваша фамилия?

— Смольников.

— Ну, так класс ждет, Смольников, чтобы вы сказали, какие такие важные мысли вы думали, стоит ли из-за них мешать всем заниматься литературой.

Безмолвие в классе стояло настороженное и выжидательное, и я начал злиться на себя — за то, что стою здесь как болван и не знаю, что ответить; злиться на эту новую учительницу — за то, что хочет выставить меня на посмеище. Жар приливал к лицу, и губы стали сразу шершавыми и сухими, я облизнул их.

— О чем же вы думали, Смольников? Мы ждем.

И тут меня прорвало. С видом застенчивого кретина невинным голосом я сказал:

— Прошлой зимой был в цирке... Знаете, есть такой фокусник Акопян. Он из рукава достал штук пятьдесят носовых платков... — я примолк, пауза была намеренной, и новая учительница клюнула:

— Ну, дальше.

— Дальше я и подумал, может, вы тоже умеете доставать платки из рукава, как Акопян, — твердо закончил я и обвел глазами класс.

— Что-о? — она опять загундосила, и это прозвучало у нее, как «шоу-у-у?».

Я молчал, и в классе было глухо, как в могильном склепе. Новая учительница пальцами левой руки покрутила широкое обручальное кольцо на безымянном пальце правой и медленно отошла к доске.

Я почувствовал, как слабеет спина, и, согнувшись, оперся ладонями о крышку стола. А класс безмолвствовал,—ребята будто перестали дышать. Учительница несколько долгих секунд смотрела на пустую доску, потом, резко повернувшись, спокойно сказала:

— Выйдите из класса, Смольников.

Выходя, я зацепился за ножку стола и чуть не растянулся. Честное слово, это было сделано не нарочно, но ребята, и так долго молчавшие, грохнули смехом.

Неохота вспоминать разрешение этой истории, — в общем, у меня были крупные неприятности и в школе и дома. Но платочек в рукаве Любаша больше не носила, а ко мне стала относиться с плохо скрытой неприязнью.

Так я и проучился в седьмом — старался не ссориться с Любашей и по возможности всегда быть готовым к ответу на уроках русского и литературы. Год я окончил с «четверками» по литературе и языку. В восьмом классе я хотел было взяться за литературу, но быстро остыл. Потому что сначала мы проходили «Слово о полку Игореве», а я еще летом прочитал случайно попавшуюся книжку о «Слове».

Честно говоря, я не очень прилежный чтец специальной литературы, меня больше тянет к стихам и романам, исключение составляют только книги по архитектуре и дизайну, их я могу читать и перечитывать без конца.

Так вот эта книжка попалась мне совершенно случайно — кто-то дал ее отцу на работе, а он по всегдашней замороченности всяким своим очередным проектом читал по страничке в вечер. И я из любознательности, источником которой была скорее летняя скука, взял эту книжку. Из нее я узнал, что «Слово...» не просто застывший памятник, а живая память, которая может вызывать страсти, может прояснить, кто мы, откуда мы и зачем. Мне было безразлично, прав или не прав автор с научной точки зрения, но я мало встречал таких книг, которые сразу брали в плен и вызывали такой интерес к своему предмету. И я бросился в библиотеку, набрал разных переводов «Слова...» и читал как помешанный, а потом бродил по Васильевскому острову и шептал строки переводов — то Майкова, то Заболоцкого, но больше всего мне понравился перевод Николая Рыленкова. Может быть, это слишком вольный перевод, но в нем есть музыка:

А начать нам подобает смело,
Не скрывая ни рубцов, ни ран,
Так, как правда времени велела,
А не так, как замышлял Боян.

Или еще:

В битве ж, как от прадедов ведется,
Лучше сгинуть, чем попасть в полон...
Сядем же на коней наших борзых
Да посмотрим хоть на синий Дон.

Может быть, благодаря вольным переводам я полюбил и древнерусский текст, почувствовал его музыку:

О, далеке, зайде сокол, птиц бя, — к морю!
А Игорева храбраго плъку не кресити!



Или:

Тоска разлился по Русской земли;
Печаль жирна тече средь земли Рускыи.
А князи сами на себе крамолу коваху...

Я читал и чувствовал запахи, древние запахи горьковатого дыма кочевых костров, навоза, прокисшего молока и ковыльной степи; видел пожары в белокаменных городах и нечесаных, косматых всадников, медленной лавой текущих сквозь стелющийся синий рассветный туман на притихшую Русь.

И когда начались занятия в восьмом классе, я ждал, что будет интересно проходить «Слово о полку Игореве» по программе, но получилась какая-то жвачка. Из живой поэмы, которая клочкотала страстями и полнилась болью, «Слово...» на уроке превратилось в какой-то бухгалтерский учет эпитетов и список князей... Идея «Слова...». Значение «Слова...»... Все это в учебнике было похоже на инструкцию к пользованию какой-нибудь сковородкой. Как раз в то время мать купила сковородку, к донышку которой была приклеена бумажка с текстом, очаровательным в своем идиотизме:

ИНСТРУКЦИЯ К ПОЛЬЗОВАНИЮ СКОВОРОДКОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ

Сковородка отштампована из пищевого алюминия толщиной 4 мм, состоит из сковородки и ручки. Ручка снабжена отверстием, с помощью которого сковородка может быть привешена на стену. Перед употреблением обмыть теплой водой с мылом для удаления остатков полировочной пасты. Во избежание потускнения полированной поверхности не рекомендуется применять для чистки пасты с абразивными добавками.

Изделие соответствует ГОСТ. ОТК № 314. 1975 год. Цена 2 р. 10 к.

Инструкция потрясала своим глубокомыслием, меня просто сразила фраза о том, что сковородка состоит из сковородки и ручки. Приблизительно с таким же глубокомыслием рассуждали мы на уроках литературы о содержании «Слова...», и я сразу скис, от желания стать отличником осталось лишь стыдливое воспоминание. Я равнодушно повторял, когда Любаша вызывала отвечать, канцелярские фразы учебника, учил наизусть плач Ярославны, и не было горечи поражения, степных запахов, волнения, — была сковородка, состоящая из сковородки и ручки. Половина класса даже не взглянула в текст поэмы, довольствуясь усеченными цитатами из учебника, для них поэма так и не открылась.

Потом с равнодушной инерцией мы прошли Ломоносова и Державина, чего-то там бормотали насчет судьбы Дениса Ивановича Фонвизина, и, когда подошли к Пушкину, внутри у меня была такая оцепенелость, что даже письмо Татьяны я мог читать, как инструкцию. Так, в тупой тяготе, и прошел восьмой класс — я имею в виду литературу, по другим предметам я успевал тоже весьма посредственно, но сам отчетливо сознавал, что не очень прилежен, хотя эти предметы не вызывали ощущения унылой скуки.

Но вот настало время экзаменов — странное время: даже у меня,

не очень-то переживающего успехи и неуспехи, появилось чувство, будто я подвешен между небом и землей. Девчонки в эти дни вообще передвигались походкой слепых, словно боялись натолкнуться на какую-то преграду, и даже отъявленные отличники зеленели от волнения. Забылись на время симпатии и антипатии, и возникла солидарность людей, уравненных неизвестностью. Вот на этих экзаменах за восьмой и произошел со мной интересный случай, из-за которого я решил, что в девятом — обязательно! — стану отличником.

Значит, я написал сочинение на свободную тему и получил «четверку». Впереди был русский устный, и я почти не сомневался, что Любаша постарается отплатить мне. Она не забыла нашу первую встречу в седьмом классе, да и в восьмом между нами случались стычки, отнюдь не способствовавшие возникновению взаимной симпатии. И вообще она считала, что идти учиться в девятый мне не следует, и не скрывала этого своего мнения. Конечно, во многом был виноват я сам. Не надо бы мне при каждом ответе по литературе выказывать пренебрежение к предмету и доводить до идиотского абсурда какую-нибудь неудачную фразу учебника. Но и Любаша была хороша — она словно провоцировала меня на это, подначивала: «Ну, каким новым открытием порадует нас сегодня Смольников?» — или задавала задачку с заранее известным ответом: «Смольников, объясните, почему и чем Чацкий возвышается над фамусовским обществом». Но я терпеть не могу игру в одни ворота.

— По-моему, Чацкий, — резал я, — не возвышается над этим самым обществом, он просто начитанный, но глупый человек, повторяющий модные для того времени прогрессивные формулы — это интеллектуальный снобизм, а снобы никогда не бывают умными. Фамусовское общество, в отличие от Чацкого, необразованно, даже невежественно, но они житейски умные люди; да, они иногда пугаются и негодуют от обличительных речей Чацкого, но относятся к Александру Андреевичу все-таки с иронией, охотно отдавая ему роль интеллектуального шута... — у профессионального отличника Генки Сахарова, сидевшего за вторым столом средней колонки, было страдающее лицо, он глядел мимо, как бы отмежевываясь этим сторонним взглядом от моей ахинеи, и на миг во мне шевельнулась догадка, что я и сам играю довольно шутовскую и снобистскую роль. Но меня уже понесло на волне упрямства, и остановиться было невозможно. — Я считаю, что Юрий Тынянов в своем романе «Смерть Вазира-Мухтара» создал очень верный образ автора «Горя от ума». Грибоедов был умным и насмешливым скептиком и к своему герою Чацкому относился, по-моему, несколько иронично. Уже одно то, что монологи Чацкого многословны и чересчур взволнованны, я бы сказал, театральны, доказывает, что автор не только с симпатией относится к нему. И потом, мне кажется странным, что Александр Андреевич, зная цену всяким там фамусовым и скалозубам, все-таки высказывает перед ними свои заветные мысли — это не умно...

Спорить со мной Любаша считала излишним — все написанное в учебнике казалось ей такой очевидной истиной, что защищать ее — значило подвергать сомнению.

Если бы Любаша хоть раз оспорила меня, что было нетрудно, если бы она перед всем классом спокойно выявила идиотизм моих

ответов, то это, вероятно, отбило бы у меня охоту паясничать... Я часто задумывался над тем, почему Любаша не спорит со мной по существу, а лишь ставит двойки. И только постепенно понял, что она не спорила, потому что не могла. Кроме учебника, в голове у нее ничего не было. Это мое предположение превратилось в уверенность на экзамене за восьмой класс.

На русском устном я пошел отвечать одним из первых — знал, что никакая тактика меня не спасет, так уж лучше не мучиться неизвестностью. И вот я вошел в чужой, чересчур просторный от пустых столов класс, поздоровался.

— Берите билет, Смольников, — сказала Нелли Николаевна. Она преподавала литературу в старших классах и возглавляла экзаменационную комиссию по предмету. Я никогда не сталкивался с Нелли Николаевной, здоровался в коридорах школы и — мимо. Внешность ее была самой обыкновенной, типично учительской: темно-синий костюм почти мужского покроя, белая блузка с воротничком, отделанным узким кружевом, и седые волосы, гладко стянутые назад и сколотые узлом на затылке. Могло показаться, что Нелли Николаевна была учительницей уже за сто лет до моего рождения и будет учительницей через сто лет после моей смерти.

И вот я вытащил билет, вернее, просто взял крайний из разложенных веером на углу стола, назвал номер, и Любаша дала мне карточку с предложением для разбора. Попались мне обособленные определения и знаки препинания при них. Кое-что я помнил об этих определениях и поэтому сказал:

— Можно отвечать без подготовки?

Нелли Николаевна внимательно взглянула на меня, лицо ее было серьезным, но я почувствовал за этим внимательным спокойным взглядом скрытую улыбку, будто пожилая учительница тайком от Любаши ободряла меня — дескать, не робей, Смольников. И я вдруг понял, что Нелли Николаевна любит нас всех: меня, Гошку Евстигнеева, Саньку Чернова, Суржикову, Маврину — всех учеников, черных, рыжих, белобрых, способных и не очень, тихонь и разгильдяев, плаксивых малышей и заносчивых десятиклассников. Как-то в один миг, пока стоял у стола с билетом в руке, я догадался, что Нелли Николаевна просто не может без школы, без ребят, и от этого мне самому стало легко и даже немного радостно. И Любаша уже не могла поколебать эту радостную легкость, хотя прогундосила раздраженно:

— Смольников всегда с фокусами.

— Может быть, вам лучше посидеть и подумать? — спросила Нелли Николаевна и уже открыто улыбнулась.

— Больше, чем знаю, все равно не вспомню, — ответил я.

— Я думаю, можно разрешить отвечать без подготовки, если ученик так уверен, — повернулась Нелли Николаевна к Любаше.

За окном класса молодые тополя что-то вычерчивали в солнечном воздухе концами тонких веток с бледными маленькими листьями. Минуту я старался проследить за этими невидимыми фигурами и думал, с чего начать, почти инстинктивно догадываясь, что первые фразы должны быть какими-то необычными. «Второстепенные члены предложения, которые выделяются по смыслу и по интонации, называ-

ются...» Нет, такое начало не годилось... Я уже начал психовать, чувствуя, что проваливаюсь.

Тонкие ветви тополей все чертили невидимые фигуры в золотистом воздухе, один из этих тополей был посажен мною еще в пятом классе... «Если сейчас ничего не скажу, то Любаша выгонит», — подумал я, вздохнул и вдруг с испугом услышал свой неестественно звенящий голос: «Видишь день беззакатный и жгучий и любимый, родимый свой край, синий, синий, певучий, певучий, неподвижно-блаженный, как рай...» Стих звучал отчужденно и холодно, будто читал его кто-то другой, а память услужливо подсказала, что это — строфа стихотворения Блока из цикла «Кармен», я увидел ее внутренним зрением со всеми запятыми, как на странице книги, и сразу успокоился, сделал паузу, перевел дух.

Нелли Николаевна приподняла бровь, а на лице Любаши появилось торжествующее выражение, но мне уже ничего не было страшно.

— Продолжайте, Смольников, — ободряюще сказала пожилая учительница и подалась чуть вперед за столом, и я понял, что ей не только нужно проверить мои знания, — ей просто интересно, что я скажу об этих самых обособленных определениях. И тут вмешалась Любаша:

— Отвечайте на вопрос билета, а песенки, которые поете с гитарой, оставьте до вечера.

— Любовь Михайловна, помилуйте! — повернулась к ней Нелли Николаевна, а я чуть не расхохотался и ощутил ту великолепную легкость, которая иногда приходила на волейбольной площадке, когда вдруг поймешь, что игра сделана, что обязательно победишь, хотя счет еще только пять—пять и впереди много пота и напряжения, но все равно уже знаешь, что это — *твоя* игра и все ребята чувствуют то же самое, и тогда на площадке — уже не шесть запаленных парней, а Команда. И вот, чувствуя победную легкость, я сказал:

— На примере этой фразы из стихотворения Александра Александровича Блока хорошо видны роль и значение обособленных определений, они не только расширяют информацию, передаваемую предложением, но и уточняют смысл, и... — я запнулся, потому что слова толклись в голове и трудно было выбрать подходящее, — дают... больше интонации...

— Обогащают интонацию, — подсказала Нелли Николаевна и кивнула, приглашая продолжать.

— Значит, обособленными называются второстепенные члены предложения, которые можно выделить по интонации и по смыслу, — зачастил я. — Обособляются разные члены предложения и по разным причинам... Иногда — потому, что по значению в предложении приближаются к сказуемому, второстепенному сказуемому... Ну, например: «Облака, розовея на солнце, медленно двигались на восток».

— У вас вопрос об определениях, ну вот и отвечайте о них, не тяните время, — сдерживая голос, сказала Любаша.

А я словно не слышал:

— Чаще всего обособляются согласованные определения и приложения, выраженные причастиями и прилагательными, если они находятся после определяемых слов и имеют при себе зависимые слова. «Видишь день беззакатный и жгучий...» Здесь Блок не обособил со-

гласованные определения, выраженные прилагательными, потому что для него было важно все сочетание: ну, как бы слово «день» — именно этот день — не может существовать отдельно без определений «беззакатный» и «жгучий». Это один из случаев, когда согласованное определение не обособляется, второй такой случай — это когда определяемое слово как бы недостаточно без определения; например, нельзя сказать: «В автобус вошел человек с волосами», — получится бессмыслица. А если мы добавим, что с волосами рыжими, как огонь, то бессмыслицы не будет, но согласованное определение «рыжими» не обособляется, хотя и стоит после определяемого слова. Обособляются как одиночные, так и распространенные определения, если между ними и подлежащим имеются другие члены предложения: «И любимый, родимый свой край...»

— Очень хорошо, — кивнула Нелли Николаевна, — продолжай, Юра.

А у меня вдруг сорвался голос и сбилось дыхание. Никто из учителей не называл меня на ты и по имени. Да я, наверное, обиделся бы и еще, чего доброго, нагрубил — дескать, на брудершafft с вами не пили. А вот Нелли Николаевна сказала это так, что я испугался — как бы не расплакаться. Ведь если вы слишком долго — почти всю жизнь — только тем и заняты, что делаете вид, будто вам наплевать на все эти нежности, то на самом деле они вам очень нужны. Это как если у вас нет фирменных джинсов, то вы и говорите, что носить их — пижонство и снобизм, а по правде, вам до колик в животе охота иметь эти «Супер-райфл» или «Ранглер-вестерн», но вы только презрительно ухмыляетесь, а когда у вас наконец заведутся такие штаны, то первые дни вы готовы спать не раздеваясь.

И вот скрипучим от волнения голосом, как допотопный магнитофон, я продолжал:

— Определения, стоящие непосредственно перед подлежащим, и распространенные и одиночные, обособляются только тогда, когда имеют оттенок обстоятельства причины, времени или еще какой-нибудь, например: «Ободренный вниманием, человек заговорил увереннее». Тут определение «ободренный» к подлежащему «человек» служит обстоятельством причины к остальному содержанию — почему заговорил увереннее... — я почувствовал усталость и пустоту и смолк. Да и, по-честному, я больше ничего не мог сказать об этих чертовых определениях, а еще они как-то обособлялись при личных местоимениях и, кроме того, были еще несогласованные определения... Я молчал и старался сдерживать учащенное дыхание.

— Очень хорошо, Смольников! — Нелли Николаевна полуобернулась к Любаше и спросила: — Как вы считаете, достаточно для этого вопроса?

— Достаточно, — нехотя ответила Любаша.

— Ну, разбор нескольких предложений Юра сделал во время ответа, так что и с этим вопросом справился, — Нелли Николаевна прищурилась озорно, совсем как девчонка, улыбнулась. — Вот скажи, пожалуйста, какие стихотворения Блока ты любишь больше?

Этого вопроса я не ждал и ответил почти машинально:

— «На поле Куликовом»... — После паузы добавил: — И «Кармен», еще «Незнакомку», «Скифы»... В общем, почти все.

— Хорошо. Ну, а за что ты любишь этот цикл, «На поле «Куликовом»?»

— Во-первых, это — очень хорошие стихи, красивые, их петь можно. А потом вот «Слово о полку Игореве»... — и я понес околесицу о связи Блока со «Словом...», о переводах Рыленкова и Сосноры, такую околесицу, что даже сам почувствовал легкое головокружение, будто заглядываю вниз с края крыши девятиэтажного дома. Но остановиться уже не мог — почему-то все мои сумбурные мысли о стихах — нет, не только о стихах, а вообще о жизни — вдруг разом вылились в слова. Я позабыл, что здесь сидит Любаша, что это — экзамен. Я видел только внимательные глаза Нелли Николаевны и говорил только для нее одной, а она иногда утвердительно кивала головой, иногда вопросительно поднимала бровь и слушала так, что я мог, наверное, говорить целые сутки.

Когда взрослые не принимают вас всерьез, то вы привыкаете к этому и тоже начинаете относиться к ним пренебрежительно, особенно если взрослые дают советы, категоричности которых могут позавидовать даже правила уличного движения. И вы списываете всех взрослых со счетов — они становятся для вас чем-то вроде троллейбусов и самосвалов, которым не рекомендуется заступать дорогу, их просто надо обходить и глупо ввязываться с ними в спор. И вот так вы живете, а потом вам попадается взрослый человек, который относится к вам всерьез, и вы сразу чувствуете, что он — не троллейбус. Тогда вы готовы рассказать ему все, даже самое сокровенное, чего не рассказали бы и закадычному другу.

С этого экзамена я вышел пошатываясь, совсем обессиленный, но с такой радостью, что хотелось завизжать на всю Шкиперку.

2

Итак, первого сентября я пришел в свой девятый «Б» и занял место рядом с Гошкой Евстигнеевым. Все лето не забывал я экзамен по русскому за восьмой и разговор с Нелли Николаевной. И вот я решил приналечь на занятия — и вовсе не ради отметок, а для себя.

И еще помнил растерянность и злость Любаши тогда, на экзамене, — уж больно ясно все было написано у нее на лице. Я и жалел Любашу, и решил досадить ей отменной своей успеваемостью.

В свой первый и последний день в девятом классе я сидел рядом с Гошкой Евстигнеевым и весь был полон добрых намерений. День первого сентября выдался серенький, хоть и без дождя. Перед окнами класса близко стояли тополя с еще темной, но уже потерявшей блеск листвой, так что пришлось включить свет. Ребята переговаривались между собой, и в классе стоял нестройный гомон, время от времени раздавался чей-то смех. А я молча смотрел на свежепобеленный потолок и, как спортсмен-штангист перед подходом к рекордному весу, настраивал себя на спокойствие и решимость. Если по-честному, я волновался, непонятная тревога беспокоила внутренней дрожью и стесняла дыхание. Я смотрел в матовую свежую белизну потолка,

слушал и не слушал вокзальный нестройный шум класса и никак не мог успокоиться.

Дверь отворилась, и всплыла Любаша со своим портфелем. Со скрипом и грохотом поднялся класс, и сразу застыла холодная стеклянная тишина.

— Здравствуйте, — сказала Любаша, оглядывая всех. На мгновение ее глаза остановились на мне, потом она отвернулась и сказала, глядя в глубину класса:

— И вы здесь, Смольников? Ну, на вашем месте я не пришла бы в эту школу.

Я ссутулился и уперся ладонями в крышку стола, лицу сразу стало жарко, и мерзкой показалась эта стеклянная тишина класса.

— А я пришел на свое место, а не на ваше, — шутовским тоном ответил я, и ребята грохнули смехом. Но мне стало тошно.

Лицо Любаши пошло пятнами, но она смолчала.

Не помню, как просидел урок. Я даже не открывал сумку и не доставал ни тетради, ни ручки, — просто сидел и смотрел в матово-белый свежий потолок, и голос Любаши звучал глухо и далеко от меня — за тысячу километров. На перемене я подождал, пока все выйдут из класса, взял сумку, незаметно проскользнул по коридору и вышел в школьный двор.

Тополя обдали меня черствым рассыпчатым шорохом уже подсохшей листвы. Я медленно прошел мимо их стройной шеренги, будто отставной генерал, принимающий последний парад. Я не помнил, который из тополей мой, и почему-то пожалел об этом, хотя все деревья были одинаково стройные, с прямыми, тянущимися вверх ветвями и крупной листвой.

Я вышел на Шкиперку, прошагал десяток метров и оглянулся. Школа ничем не отличалась от окрестных домов, — такое же здание из силикатного кирпича, только окна побольше. Я повернулся и пошел дальше, и хоть еще ничего не сказал сам себе, но уже знал, что в школу не вернусь никогда.

На Наличной я забрел в кафе. В длинном помещении с кафельным полом было по-утреннему пусто, где-то за стенкой, в посудомоечной, звякали ложками, тускло блестел голубоватый пластик столов. Я налил себе из никелированного титана стакан бледно-серого «кофе с молоком», заплатил буфетнице и сел за столик в углу у окна. Пустота во мне была такая же, как и в этом кафе. Я держал в руке горячий стакан и тупо смотрел в никуда и ни о чем не думал.

Дверь с шумом распахнулась, и вошли четыре девушки в рабочих комбинезонах с пятнами краски. Головы у них были одинаково повязаны белыми чистыми косынками. Помещение сразу наполнилось звонкими голосами, рассыпчатым смехом. Девушки стали носить на столик, соседний с моим, бутылки кефира, тарелки с дымящейся гречневой кашей, пирожки. В мешковатых комбинезонах девушки выглядели нескладно, но в их движениях была такая веселая стремительность, что сразу можно было угадать под этой неуклюжей одеждой стройные тоненькие фигуры. Они все делали быстро и шумно — шумно садились за стол, с шумом открывали бутылки, крутили их в ладонях, чтобы кефир лучше выливался в стаканы, и все время смеялись, беззаботно и звонко. В мою сторону они не посмотрели ни

разу, будто я был пустым местом. И такая горькая зависть овладела мной, зависть к этой размахистой веселости, к беззаботной уверенности, — глядя на девушек, я ни минуты не сомневался, что у них в порядке все дела, и учеба, и работа. Я поставил стакан на стол и вышел из кафе.

Небо прояснилось, и на леденцово-голубом фоне остались лишь редкие неподвижные облака. На морской набережной не было никого, слева, у таможенного павильона, маленький красный экскаватор рыл траншею, его суставчатые рычаги, опускавшие и поднимавшие ковш с тускло поблескивающими зубьями, складывались угловато и резко, чем-то экскаватор напоминал насекомое. Кучки буровой земли, высыпанной из ковша, уродовали гладкую асфальтовую площадь перед набережной.

Я подошел поближе к парапету и стал смотреть на горизонт, но он был лилово-серым и пустынным — ни паруса, ни силуэта судна. И меня разобрали такая тоска и злость, что я не знал, что и сделать. Я просто остервенел. Дома никого не было, но идти туда не хотелось. И я поплелся в библиотеку, в надежде, что за чтением немного развеюсь и обдумаю свое положение.

В эту библиотеку я ходил уже третий год. И со всеми библиотечкаршами у меня установились добрые отношения, меня, как своего, даже пропускали к задним полкам, где хранился основной фонд и самые лучшие книги, но особенно хорошо ко мне относилась Мария Сергеевна, пожилая одинокая женщина. Это она позпрошлым летом дала мне книжку Сосноры, собственно с этого и началась наша дружба, если такие отношения можно назвать дружбой. Правда, так было не всегда. Честно говоря, в первый год библиотечкари смотрели на меня подозрительно и досадливо. Подумаешь, какой-то шестиклассник, которому рукава всех курток и рубах по локоть — я тогда рос очень быстро, — вместо того чтобы обрадоваться детективу, за которым очередь и который ему дают чуть ли не по блату — лишь бы отвязаться от его докучливых просьб, — так вот этот шестиклассник не берет детектив, а настойчиво просит, чтобы ему по межбиблиотечному абонементу выписали книги архитекторов Пьера Луиджи Нерви и Мишеля Рагона, а потом — Ле Корбюзье и Джорджа Нельсона. Но позже, когда они убедились, что я не шизик и не утащу на толкучку эти книги, отношения наладились. А потом уж мы разговорились с Марией Сергеевной о поэзии, и последний лед был сломан. Мне стали выписывать любые книги по дизайну и архитектуре. Правда, я тоже старался не остаться в долгу, и когда библиотеке нужно было написать объявление, заголовки к стендам или инициалы и шифры к полкам, то я все это делал очень старательно. В читальном зале у меня даже завелся персональный стол, он стоял отдельно от других, торцом к библиотечному барьеру. Там я и занимался своими шрифтовыми художествами. Вообще-то работы хватало — всегда нужно было что-нибудь написать, но я уже принооровился, завел себе целлулоидные шрифтовые трафареты разных размеров, так что работа не отнимала много времени.

Я даже не помню, почему увлекся всеми этими книжками по архитектуре. Кажется, нашел дома на полках какие-то брошюры про ленинградские дворцы. Были это даже не брошюры, а такие сложенные гармошкой листы, изданные Государственной инспекцией по



охране памятников, — черно-белые фотографии и немного пояснительного текста. Но эти листовки сослужили мне хорошую службу. Вот, наверное, я тысячу раз проходил мимо Горного института. Ну, колонны и колонны, самые обыкновенные, в треугольном фронтоне, какие-то Геркулесы тащат кого-то (теперь даже стыдно вспомнить, что я проходил мимо всего этого, как слепой). А вот когда я прочел эту листовку, то здание Горного института будто заговорило со мной. Я увидел следы старых домов, которые архитектор Воронихин, не ломая стен и не меняя высоты, объединил в одно целое, создав главный фасад, обращенный к Неве. Эти мощные каннелированные колонны будто впервые открыли мне суровость своей красоты, и скульптурные группы по бокам широкой лестницы были уже не какими-то замызганными серыми статуями.

У отца было много этих листовок — и про Академию художеств, и про Строгановский дворец, и про Меншиковский, про Александровскую колонну, про Инженерный замок. Я прочел все эти брошюры, потом отыскал в Брокгаузе и Ефроне статью про архитектурные обломы, узнал, что такое полочка, каблучок, скоция, астрагал, и вообще — что представляет из себя архитектурный ордер. И вот я словно прозрел, фасады домов заговорили со мной. Оказывается, у них были свои голоса. Первое время я просто с ума сходил — так это здорово, когда смотришь на дом и все видишь. Я тогда на улице останавливался через тридцать—сорок метров и испытывал жуткое удовольствие. Так со мной до этого было только один раз в жизни, когда научился читать по складам. Помню, мне было чуть больше пяти лет тогда — я, говорят, был очень способным ребенком и схватывал все на лету, но с годами, видимо, здорово отупел, — мать по утрам отводила меня в детский сад на Большом проспекте, она тащила меня за руку, торопясь на работу, а я упирался, потому что город ожил для меня, — я не мог пройти мимо самой замызанной вывески, пока не прочитаю ее. До сих пор помню то блаженство, которое испытывал, прочитывая на тусклой стеклянной дощечке нехитрое «со-ки» или «ры-ба», а уж если удавалось на бегу разобрать трудное и таинственное «ба-ка-лея», то я цепенел от восторга, и матери приходилось хватать меня на руки, чтобы быстрее доставить в детсад. Нечто подобное я испытывал и после знакомства с брошюрками по архитектуре, — будто прозрел или выучил другой язык. И с тех пор меня уже не оставлял этот интерес к архитектуре, и сначала я читал про нее все, что попадалось, вернее, все, что мог достать, потом пришла пора, когда я стал более разборчив, и уже гораздо позже меня заинтересовали дизайн и архитектура корабля. Правда, книжек по этой отрасли было не так уж много, я успел прочитать все, что могла выписать библиотека, и теперь оставалось только следить за новинками. Но были у меня и любимые книги, к которым я время от времени возвращался. Вот я и побрел в библиотеку, чтобы полистать уже читаную-перечитаную «Архитектуру судов» Витольда Урбановича. Я знал, что эта книга хоть немного поднимет мне настроение. И я просидел над ней в совершенно пустом зале часов до двух. Может быть, я и ушел бы раньше, но молодая библиотекарша Вера, которая работала в тот день в читальном зале, попросила меня посидеть, если есть время, а сама сбежала покупать подарок подруге на день рождения. Вре-

меня у меня было, я еще подумал, что времени у меня теперь вообще — вагон. Ну, а Вера, конечно, пробежала по магазинам до тех пор, пока они не стали закрываться на обед, и вернулась запыхавшаяся и жутко довольная, потому что, кроме подарка, выхватила еще себе какую-то сверхмодную краску для волос. Я выслушал ее благодарность за замену, поставил на полку Урбановича, попрощался и вышел.

Погода разыгралась, даже солнце выглянуло и осветило улицы бледноватыми лучами, и повеяло мягким, недружным теплом бабьего лета. А я снова почувствовал унылую пустоту на душе, но теперь уже старался разобраться в своем положении трезво, без истерики.

Раньше, в первые годы увлечения архитектурой, для меня существовали только фасады зданий, но чем больше я вникал в это вечное искусство, чем больше читал книг, тем яснее понимал, что всякое архитектурное сооружение начинается с плана, что на чертеже важнее всего конструктивный разрез, а фасад — это не самое главное, фасад — для дилетантов, для туристов. Фасад для специалиста — лишь выражение идеи здания. Об этом где-то писал Андрей Вознесенский, он ведь тоже был архитектором.

Можно, например, этот девятиэтажный ящик из силикатного кирпича окружить колоннадой на манер Парфенона, а на крыше поставить гипсовых ангелов, но суть здания не изменится, только жить в нем будет хуже, — колонны заслонят окна, в квартирах станет темно и мрачно, а все украшательства будут, как фальшивые заплатки на хипповой куртке. Честно говоря, я часто занимался тем, что окружал свои не очень красивые поступки колоннами фальшивых самооправданий, но это давало слабое и короткое утешение. И в тот день, первого сентября, мне не хотелось городить вокруг своего положения никаких изящных колоннадок. Я топал по теплой улице, окрашенной в бледно-шафранные тона бабьего лета, и думал — что же теперь будет? Возвращаться в школу я не хотел, это решилось сразу, вернее, я даже не обдумывал такой исход. Я знал, что даже временного перемирия у нас с Любашей не получится, — опять все пойдет, как в седьмом и восьмом классах, а учиться по-прежнему я не хотел и понимал, что по-новому учиться в этой школе не смогу.

Я болтался по своему Васильевскому острову с ненужной сумкой и не мог прийти ни к какому решению. На морскую набережную не хотелось, почему-то тот насекомообразный маленький экскаватор действовал мне на нервы, и я направился в Галерную гавань.

На гладком, без единой морщинки сером полотне воды редкими пятнами желтели листья с окрестных деревьев. Справа вдоль уреза выстроились в ряд вытасненные на берег катера и лодки, владельцы их уже закрыли свою навигацию. Десяток лодок еще дремал на неподвижной воде, и вяло провисшие причальные веревки, обсохшие, с облупившейся краской борта словно говорили, что лодки устали за лето и хотят на покой, — было в них что-то осеннее, тихое. И вообще казалось, что вся гавань охвачена осенней дремотой. Только с дальнего конца ряда вытасненных лодок, почти от самой будки сторожа, доносились мерное шарканье рубанка. Я знал, что это.

С середины лета наблюдал я за этим чудачком. Сначала он приволок откуда-то корпус старого вельбота. В тот день летом я как раз крутился возле Галерной гавани и видел, как ЗИЛ с прицепом подвез

к самому краю ковша этот корпус. Издали он казался просто шикарным — двойная дубовая обшивка в «елочку», мощный дубовый планшир, и все это не крашеное, а покрытое прозрачным лаком, так что светло-желтое твердое дерево лоснилось при свете яркого летнего дня. Я даже про себя позавидовал, что вот кому-то достался такой отличный корпус. Вельбот этот был метров восемь длиной, и шесть человек здоровенными вагами еле спустили его по наклонным бревнам с грузовика и перевернули килем вверх. Он лежал под солнцем, как желтый уснувший бегемот, а этот чудак, хозяин, ходил вокруг и похлопывал его по бокам. Когда грузовик уехал и улеглась разгрузочная суматоха, я подошел ближе, чтобы поглядеть на этот шикарный корпус, — пожалуй, во всей Галерной гавани не было такого вельбота. Из него можно было сделать мировой пароход. Я подошел ближе и сразу увидел, что дела этого чудака плохи. Все днище вельбота, от мидельшпангоута до кормы, лопнуло вдоль киля по правому борту. Елочка обшивки уже не прилегала вплотную к килевому брусу, и там зияла черная трещина шириной с ладонь. Да, этот корпус можно было и не привозить сюда, он мог бы преспокойно гнить и на своем прежнем месте, подумал я. А этот чудак все ходил вокруг, и было видно, что он страшно доволен своим приобретением. Тут подошли еще люди, владельцы всей этой галерной флотилии, и парень стал им объяснять.

— Вот, на заводе списали на дрова, я и купил, — он улыбнулся, предлагая всем разделить с ним радость.

— Хороший корпус был, — сказал один судовладелец, помолчал и добавил: — Жаль.

— Конечно, — сразу отозвался этот чудак, — он сколько лет лежал на дожде, и на снегу, и на солнце, вот и порвало малость обшивку.

— Если бы только обшивку, тут набор весь полетел, — возразил судовладелец-скептик. И мне стало жаль этого жизнерадостного чудака. Но он и не думал унывать:

— Ну и что, будто нельзя шпангоуты отремонтировать. Разберу все потихоньку, сразу шпангоуты, усилию в этих местах, — он хлопнул по днищу возле трещины, — будет корпус что надо.

Я не стал слушать дальше и отошел. Энтузиазм этого чудака мне нравился, но я не разделял его оптимизма. С тех пор как стал увлекаться судовой архитектурой, я кое-что узнал о конструкции корпуса и понимал, что даже такое небольшое суденышко, как этот вельбот, — очень хитрая штука, тем более что все сделано из дерева. Металл пластичен, его можно выгнуть, подколлотить и сварить, а со старым деревом не сделаешь ничего.

Летом я частенько бывал в Галерной гавани, потому что на морской набережной скапливалось много народу, — то встречали какую-нибудь делегацию, прибывшую морским путем, то открывалась какая-нибудь выставка, и тогда вообще невозможно было протолкнуться. А в Галерной гавани всегда стояла тишина, остро пахло нагретое солнцем дерево лодок, причаленных к ржавым буйкам и железным бочкам. Старые одиночные деревья с дуплистыми бородавчатыми стволами, казалось, помнили еще основателя этой гавани — Петра. Чайки низко планировали над маленьким прямоугольным ковшом гавани, и по спокойной воде проплывали их крылатые легкие тени.

И судовладельцы мне нравились. Все были поджарые, коричневые, жилистые. Они возились со своими лодками, ловко орудовали любым инструментом. Потом уходили по галерному фарватеру, одни сворачивали в Неву, чтобы добраться до Ладоги, другие правили в Финский залив. А потом возвращались, усталые, обветренные, и на леере, тянущемся от мачты к корме, вялилась мелкая плотвичка.

Я ходил в Галерную гавань поглазеть на эти суденышки, иногда рисовал какую-нибудь лодку, дремавшую возле своего буйка под кроной наклонившегося к воде старого тополя, но эти зарисовки получались у меня плохо. Я уже давно понял, что живописца из меня не будет. Понять это нетрудно. Если вы даже очень здорово владеете рисунком и линия у вас резкая и стремительная, то вы все равно не станете живописцем, художником, если не умеете передавать настроение. И потом, рисунку можно научиться, и все у вас будет выходить очень похоже, а настроению научиться невозможно. Мне ничего не стоило изобразить любую вещь со всеми деталями, самую сложную, — любой автомобиль, любой сложный фасад здания, но перед самым хиленьким деревцем я был беспомощен, — в лучшем случае у меня получался только чертеж дерева. И в Галерную гавань я ходил, конечно, не рисовать, а так, поглазеть. И еще, честно говоря, у меня была тайная и отдаленная мечта: когда-нибудь, ну, когда совсем вырасту, тоже иметь свой катер, вернее — яхту, изящную и стройную со снежно-белыми нейлоновыми парусами. Я даже иногда набрасывал ее силуэт в альбоме.

И вот я ходил в Галерную гавань и поглядывал на того чудака, который возился с гиблым дубовым корпусом вельбота. Даже сам не знаю, чем нравился мне этот парень. Наверное, упорством. Ведь если человек берется за безнадежное, по-вашему, дело, и вы видите, как под его руками дело это постепенно перестает быть безнадежным, то уж тут вы невольно начинаете испытывать уважение к этому человеку. А я убедился, что мой чудака — совсем не безнадежный мечтатель. В первый же месяц он аккуратно снял поврежденную обшивку и взялся сращивать порванные шпангоуты. Он стягивал их маленькой ручной талью, склеивал каким-то резко пахнущим клеем, усиливал это место боковыми накладками на медных винтах, и ребра набора постепенно стали обретать свои исконные очертания. Я даже радовался за этого чудака, и он нравился мне все больше и больше. Голый по поясу, он ходил вокруг своего парохода; поджарый и широкоплечий, чем-то он напоминал гончего пса, и все спорилось у него в руках. Я часто любовался, как он что-нибудь вытесывает блестящим, остро заточенным топориком. Или строгают рубанком на грубо сколоченной стелюге какой-нибудь брусok. Бугры мышц перекатывались на широкой, загорелой до кофейного цвета спине, светлые короткие волосы щеткой топорщились надо лбом, а подбородок упрямо торчал вперед, даже когда он наклонял лицо.

Я обычно посиживал на скамейке возле дощатой зеленой будки сторожа (стоянка лодок была не дикой, а по всем правилам, с привлечением и охраной) и наблюдал, как работает мой чудака. Он тоже заметил мое внимание, изредка взглядывал на меня, коротко, но пристально, изучающе. Хотя за целое лето мы не перемолвились и словом. Да и что мне с ним разговаривать. Я вообще плохо контактирую

со взрослыми. А мой чудак, хоть и был не старый, даже совсем молодой, ну лет двадцати двух от силы, но какой-то слишком сосредоточенный. Так, спроста, с ним заговорить не получалось, а хотелось, конечно. И особенно захотелось в конце лета, когда он уже отремонтировал корпус и перевернул его на кильблоки. После этого он начал гордить всякие стойки и бимсы для палубной надстройки. Это надо было видеть. Любая папуасская хижина из пальмовых листьев в сравнении с тем, что угадывалось в скелете надстройки, была вершиной архитектурного изящества. Я просто бесился с досады, что этот чудак портит такой корпус. Иногда меня даже подмывало прийти в гавань, когда его не будет, и сломать всю эту уродливую городьбу. А парень упорно и увлеченно продолжал свое дело, городил какие-то стойки над планширом, присобачивал к ним кницы, клал бимсы подволока надстройки, зачем-то подпирал эти бимсы идиотскими ненужными пиллерами — словом, творил что-то ужасное, а корпус стоял на кильблоках, такой красивый, с высокими штевнями, слегка пузатый, что придавало ему солидность, и желтое твердое дерево обшивки лоснилось на бортах, будто смазано маслом. Я злился на этого шизика, словно он нанес мне личную обиду, и перестал ходить к будке сторожа. Даже не смотрел в правую часть гавани, когда изредка появлялся там. И вот в тот злосчастный день первого сентября меня потянуло взглянуть, что там успел нагородить мой чудак.

Я медленно побрел вдоль ряда вытасненных на берег лодок на мерное шарканье рубанка. Я не очень-то надеялся, что надстройка изменится к лучшему, но то, что увидел, превзошло все ожидания, — это было просто ужасно. Такое уродство невозможно придумать даже специально.

Бока надстройки уже были защищены бакелитовой фанерой, и в них вырезаны круглые отверстия под иллюминаторы; прямая лобовая стенка надстройки оставалась глухой. Боже мой, это была не каюта, а погреб какой-то; соответственным, наверное, мыслилось и внутреннее расположение. А этот чудак дострогал какой-то брусочек, влез по лесенке внутрь своего парохода, где-то там его приладил, вылез очень довольный собой, быстро подмел стружки возле стелюги, убрал внутрь корпуса рубанок и другой инструмент и стал натягивать по верху всего сооружения старый брезент, чтобы защитить это художество от возможного дождя.

Я сел на скамейку возле сторожки и стал смотреть на ровную гладь ковша, расцвеченную пригоршнями желтых и красных листьев, листья чуть заметно дрейфовали под неощутимым ветром. Из будки вышел сторож, поздоровался со мной как со старым знакомым и крикнул этому парню:

— Чего шабашешь так рано? День сегодня светлый будет.

— Да мне на работу в вечер, — негромко ответил тот, с сожалением оглядел свой пароход, отряхнул брюки и пониже натянул край брезента на борт.

— Да не бойсь, досмотрю, если дождь случится. Но сегодня не будет, — сказал сторож.

И вдруг мне стукнула шальная мысль. Я так увлекся ею, что не заметил даже, как ушел мой шизик. Занятная такая мыслишка и веселая, и я на какое-то время позабыл о своих собственных делах, под-

нялся со скамейки и быстро пошел к дому. Я бросил сумку в прихожей, подставил табуретку и всунул голову в темный ящик антресолей, где мы с отцом держали разный хозяйственный инструмент. Пятиметровая металлическая рулетка отыскалась почти сразу. Я соскочил с табуретки, забежал в свою комнату, взял альбом и фломастер и снова направился в Галерную гавань. Настроение у меня улучшилось — впереди появилась цель.

Я пришел в гавань, покосился на будку, дверь была затворена, из трубы струился прозрачный дымок, — сторож, наверное, кипятил чай. Я не свернул сразу направо, к вельботу этого чудика, а сначала спустился к воде у короткого берега ковша, постоял там немного, а потом потихоньку прокрался вдоль воды мимо вытященных на берег лодок к вельботу, встал на торчащий брус заднего кильблока, откинул чуть-чуть брезент, положил руки на планшир, оттолкнулся и перебросил тело через борт.

В плотном сумраке крепко пахло струганым хвойным деревом и прогорклой ветхостью брезента. Дыхание сбилось, и я сел на какой-то ящик, подтянул колени к самому носу, потому что все кругом было завалено кусками дерева, картонными продуктовыми коробками, жестяными банками с краской, разным инструментом. В полутьме все это выглядело, как последний день Помпеи, и все же давало ощущение уюта, — было приятно сидеть здесь в слепой полутьме среди запахов, тихо дышать и сознавать свою отделенность от того, что происходит в мире за этими бортами диагональной дубовой обшивки, за этим ветхим желтовато-серым брезентом. Я пожалел, что здесь нельзя закутить, — все могло загореться, как солома. Ну, в общем, посидел я на ящике, отдышался и приступил к делу, ради которого забрался сюда.

Сначала немного приподнял брезент со стороны, обращенной к воде, чтобы стало хоть чуть-чуть светлее, иначе мне даже делений на ленте рулетки было бы не разобрать. После этого развернул на коленях альбом и приблизительно набросал корпус в двух проекциях, сверху и сбоку, а потом, стараясь не шуметь, стал вымерять рулеткой. Не так-то оказалось просто лазать по загроможденному всяким барахлом полутемному вельботу и стараться точнее снять размер. Тут мой рост был крупным недостатком, ноги все время казались лишними, все колени я обстучал о ребра шпангоутов, раза два трахнулся головой о какой-то дурацкий бимс, но снял все необходимые размеры: высоту борта на миделе, в носу и корме, ширину по основным шпангоутам, общую длину и длину по предполагаемой ватерлинии. Все это я перенес на проекции в альбоме. Честно говоря, работка эта была хоть и занимательной, но отнюдь не легкой. А мне нужны были основные размерения, без них я не мог осуществить задуманного...

Я часто не понимал: почему одно и то же дело может доставлять одновременно и удовольствие и неудовольствие? И только недавно, вероятно позже, чем положено нормальному человеку, догадался, что сплошного удовольствия в жизни нет и не может быть. Если вы поставили перед собой цель, то ее достижение, конечно, доставит вам удовольствие и радость, но по пути к этой цели от вас потребуются столько усилий, напряжения и даже жертв, что вы испытаете и много неприятного. Видимо, это закон — за все надо платить. Но если при

каждой неприятности вы станете отчаиваться и ваше отчаяние заломит от вас цель, ради которой вы и предпринимаете усилия, идете на жертвы, если вы забудете, что достижение цели окупит все ваши неприятности на пути к ней, то отчаяние просто накроет вас с головой, как штормовая волна, вы никогда не достигнете цели, не доплывете до своего берега. Может быть, именно тогда, первого сентября одна тысяча девятьсот семьдесят шестого года, я по-настоящему задумался над этой связью между удовольствием и неудовольствием. Я вынырнул из-под ветхого брезента, прикрывавшего дубовый корпус старого вельбота, морщась от боли в обитых о ребра шпангоутов коленках и в то же время жутко довольный, что в альбоме записаны основные размерения этого суденышка. Уже не таясь, я вышел к сторожке, сел на скамейку и сделал эскиз корпуса — он мог мне пригодиться потом. После этого я направился домой.

И вот я пришел домой, вымыл руки, порядком перепачканные, и сел за свой стол. В книгах по архитектуре судов маломерные лодки и катера почти не упоминались, но я считал, что принципы проектирования должны быть общими, только нужно было применить их к конкретному случаю. А тут следовало подумать, потому что я решил сделать этот вельбот так, будто он мой. Я листал книги, вставлял закладки на тех страницах, которые могли пригодиться, а внутри росло чувство неприятной тревоги. Оно мешало сосредоточиться, как чужие глаза, о которых вы знаете, что они подглядывают за вами, а вы делаете вид, что ничего не замечаете. Я только делал вид, что занят интересной работой, а на самом деле прислушивался к своей тревоге и старался заглушить ее шелестом страниц. Я ловил себя на том, что по несколько раз пробегаю одно и то же место в книге, злился и психовал, пока не оставил все и не вскочил из-за стола.

В квартире было омерзительно тихо, и когда девчонка с верхнего этажа заиграла на пианино свои дурацкие гаммы, я жутко обрадовался этим ублюдочным звукам, — они хоть чуть-чуть приглушали мою тревогу. Я стоял посреди своей тусклой комнаты, слушал эти самые гаммы и начинал понимать, что нет и не будет мне покоя, пока я чего-нибудь не решу, пока не найду какой-то выход из этого гадского положения. Шел уже пятый час вечера, и скоро должны были возвратиться родители. Я не собирался посвящать их в свои дела, так уже повелось давно. Но когда мать и отец дома, я просто не могу думать ни о чем серьезном. Мы общаемся только по поводу элементарных бытовых вопросов — что сегодня смотреть по телевизору, куда девались материнские очки, кому идти в сапожную мастерскую. Я не помню, когда и почему так повелось, но про что-нибудь серьезное и личное мы все разговаривали только стеснительными натянутыми шуточками. «Ну, когда мы перейдем к возведению шедевров архитектуры промышленным методом?» — ироническим тоном спрашивал отец, застав меня за чтением какой-нибудь книги по зодчеству. Что можно ответить на такой вопрос, заданный таким тоном? Надо поднимать перчатку!

— Скоро, когда ты построишь дамбу против наводнений и мы сможем пешком прогуляться в Кронштадт, — с невинным спокойствием отвечал я, и тогда отец удалялся.

Родители совсем не безразлично относились к моим успехам, но

в этом году матери по работе предстояли сплошные командировки, и я надеялся, что ей некогда будет наведаться в школу; а у отца всегда не хватало времени, и вообще он был сторонником полного доверия. Мой отец очень доверчив, как всякий добросовестный человек. Он, наверное, никогда в жизни не соврал. Вот именно поэтому я не собирался посвящать родителей в мои школьные дела, вернее — в отсутствие школьных дел. А чтобы не произошла утечка информации из школы, я уже приготовил заслон — решил написать заявление с просьбой отчислить, потому что поступил в ПТУ. Но все это было лишь жалкой тактикой, а передо мной, как бы я ни старался зажмурить глаза, стоял тревожный стратегический вопрос: как жить дальше?

3

Как жить дальше? Этот дохлый вопросик вы задаете себе осенним днем, и вам до слез охота, чтобы все осталось, как прежде, чтобы и дальше жилось по-старому, но по-старому жить уже нельзя, а по-новому вы еще не умеете. И выходит, что ваш вопросик лишен смысла, а это значит, что и жизнь ваша бессмысленна и пуста. И тогда вы судорожно стараетесь заполнить ее, эту вашу жизнь, хоть чем-нибудь — мечтами, рукоеслом, суетой, — лишь бы не крутился в голове этот вопросик. Но даже если вам удастся за выдуманной пустой коловертью буден не думать о нем, вопросик все равно не отвяжется.

Я проектировал надстройку для вельбота, болтался вечерами во дворе с домовою компанией, благо в ней не было никого из нашего класса, а этот вопросик настигал меня в самый неподходящий момент внезапным уколom или толчком изнутри. И я переставал смеяться, если смеялся; переставал петь или тренькать на гитаре. Я вдруг застывал в пустой тревожной задумчивости и с горечью ощущал, что не имею права ни на смех, ни на песни. Досадное и грустное это было чувство. Вот словно вы бежите где-то по ровной дорожке, залитой солнечными лучами, и пахнет липовым цветом, и воздух стригут большие мохеровые шмели, а вы бежите просто так, никуда, и наполняетесь радостью от легкости ног, вдруг — бах, спотыкаетесь о незаметную кочку и падаете, разбивая колени и локти. Вот так, как о неожиданную кочку, спотыкался я об этот вопрос в первые дни сентября. Но, споткнувшись, вставал, потирал ушибленные места и, пытаясь улыбнуться, трусил дальше. Не знаю, на что я надеялся, но в душе было смутное убеждение, что все разрешится само собой.

По утрам был спектакль; мать уходила на работу позже меня, и я разыгрывал незамысловатую одноактную пьеску «Уход прилежного ученика в школу»: торопливо пил чай, хватал сумку, торопливо прощался, изображая всем своим видом энергичность целеустремленного человека, а внутренне корчился от омерзения к себе и думал: «Хоть бы быстрее мать уехала в свою командировку». Еще, в соответствии с ролью, я бегом топал по лестнице, а потом, через полчаса, возвращался домой и садился за проект, чтобы этим заня-

тием заполнить дневную пустоту. Правда, работа эта мне нравилась, я уже стал заниматься ею всерьез.

•Под архитектурой судна понимают искусство проектировать его внешний вид и внутреннее расположение таким образом, чтобы сочетать решение практических задач с эстетическим оформлением корпуса, рубок и отдельных деталей. Моторное судно должно внешним видом отвечать своему назначению, отличаться строгой целесообразностью и соразмерностью всех частей, изяществом и красотой линий (без ущерба для внутренней планировки и навигационных качеств)» — гласило одно солидное руководство. За этими простыми требованиями крылась жуткая морока, тем более что форма корпуса была уже задана и не рассчитывалась на какую-либо надстройку. Спасательный вельбот — это беспалубная лодка, у которой нос и корма почти одинаковы. А мне хотелось, чтобы этот пароход выглядел динамично, насколько это возможно для небольшого судна. Я не мог двигаться дальше, пока корпус не получит хоть какую-то зрительно динамичную форму. Я порядком поломал над этим голову и додумался чуть скосить и заострить носовой подрез небольшой деревянной накладкой на форштевень. Накладка плавно сходила на нет к ватерлинии, так что на ходовые качества повлиять не могла. Я сделал чертеж корпуса на миллиметровке в масштабе, приставил эту накладку, — получилось не так уж плохо, вельбот уже не выглядел тупым неуклюжим корытом, в его силуэте появилась благородная борозь. Теперь можно было, исходя из линий корпуса, поколдовать с надстройкой.

•Создание малого моторного судна совершенной архитектуры является делом чрезвычайной трудности прежде всего потому, что свобода выбора ограничена такими условиями, как размеры сидений, коек, дверей, проходов, минимальная высота в каютах, минимальные площади, необходимые для камбузов, шкафов и т. п., изменяемыми в очень ограниченных пределах, так как они обуславливаются средним ростом человека. Понятно, что в силу этих обстоятельств разрабатывать, например, туристский катер длиной около пяти метров, имеющий удобную каюту с койками для четырех человек и обладающий красивыми соразмерными внешними формами, — задача исключительно сложная, а может быть и вообще неразрешимая» — песимистически указывало другое руководство. Но у меня было, во-первых, не пять метров, а целых восемь; во-вторых, я не собирался делать пароход на четверых. Почему-то с самого начала я ориентировался на комфортабельные условия для длительного обитания двух человек и на возможный прием нескольких человек гостей... Словом, я уже вообразил себя совладельцем этого вельбота. И вовсе не страсть к собственности стимулировала меня, а непонятным образом привлекал тот чудак. Вот ведь бывает так. Вы знаете человека только в лицо, даже тембр его голоса не представляете, потому что ни разу не перемолвились словом, а этот чужой человек не выходит у вас из головы и привлекает все сильнее и сильнее. И вы начинаете смутно чувствовать, что будь этот парень вашим другом, ваша жизнь и вы сами стали бы совсем иными — конечно, лучше, осмысленнее. Словно этот парень владеет сокровенным секретом удачи и может научить вас. Со мной и в более раннем возрасте случалось — я увлекался то од-

ним, то другим своим одноклассником или товарищем по волейбольной сборной, выдумывал этому человеку всякие достоинства, которыми не обладал сам, а потом, сблизившись, сличал предполагаемый образ с действительным, словно накладывал треугольники один на другой для доказательства теоремы. Стороны треугольников никогда не сходились, теорема не имела доказательства, и я с грустью разочарования снова оставался один. Почему-то у меня никогда не было близкого и постоянного друга. Имелось множество приятелей, я многим из них симпатизировал и чувствовал ответную симпатию, но глубокого понимания и откровенности ни с кем не было. Не знаю, отчего так получалось, — может быть, я казался слишком молчаливым, потому что всегда ощущал неловкость, когда нужно было говорить о каких-то своих переживаниях и мыслях, и больше отмалчивался из боязни быть непонятым. Ведь иногда случалось, что я пускался в откровенные рассуждения, и тогда на меня смотрели как на помешанного.

Помню, в седьмом классе я играл за сборную района. Городское первенство близилось к концу, места уже распределились — нам досталось третье, — и последние встречи не могли повлиять на итоги первенства. И вот была скучная игра с аутсайдером — не помню уж, какой это был район. Наши ребята, конечно, были лучше подготовлены технически и тактически, а еще мы превосходили в росте, так что получалось не соревнование, а развлечение. И вот на этой игре я сцепился с десятиклассником Родькой Ховриным. Родька был прирожденный нападающий, хоть и чуть пониже меня, и, надо сказать, у него получалось, бил из любого положения, с самого корявого паса, удар у него был сильный, но, как часто бывает у силовиков, дурной. Родька совсем не мог вертеть кистью и не видел поля, ему было все равно, есть игрок или нет в той зоне, куда он бьет, — палил по квадрату поля, и все. Ну, правда, такой удар не очень-то и возьмешь, если, конечно, Ховрин попадет на площадку. Я, честно говоря, Родьку недолюбливал за то, что он чванился своим старшинством и считал себя непревзойденным мастером, хотя еле тянул на второй разряд, словом, — пижон. В игре Родька шел за мной, и если он выходил на четвертый номер, то я стоял на третьем и давал ему пас под удар. А подо мной стоял разыгрывающим Володя Семенов, парень, так, приблизительно, метр семьдесят ростом. Удар у Володи был слабый, хотя прыжка хватало, но зато пас у Семенова был идеальный, и еще было чутье. Я мог выскочить откуда угодно, прыгнуть раньше времени, подскочить к нему слишком близко или подлезть под сетку, но Володя все равно умудрялся выдать мне такой пас, что можно было ударить. Кажется, тем, что считался в команде неплохим нападающим, я обязан больше Володиному чутью и пасу, чем собственному умению.

Ну вот, мы играли с аутсайдером, и одна партия была уже за нами, что-то со счетом пятнадцать — шесть или семь, ну — подавляющее преимущество. И во второй партии я, когда оказывался на третьем номере, старался с хорошего первого паса подкинуть Володе, чтобы дать ему возможность в этой легкой игре хоть немного побить и ответить душой. А то в серьезных играх Семенову бить не давали, пас все время шел на меня или на Ховрина. Я подкидывал Володе, и он

сделал несколько отличных ударов — почти на переднюю линию, резких, коварных. И вот, когда после перехода Ховрин в третий раз вышел к сетке на четвертый номер, он сразу же загугнил мне:

— Смола, давай пас на меня.

— Я по игре смотрю — куда острее, туда и даю, — ответил я как ни в чем не бывало и сразу же после первой подачи кинул на второй номер Володе, и он очень технично развернул кисть и пробил по пятой зоне в пустой угол. И тут Родька расшумелся.

— Ты что меня на четвертом номере все время катишь?! — заорал он.

— Нужен ты мне больно. Я очко выиграть хочу, — отмахнулся я.

Но тут нашу перебранку засек тренер, Александр Никитич, и сразу же заменил обоих. Я сел на низкую скамейку, утер лицо влажным полотенцем, а Родька тут же стал докладывать Александру Никитичу:

— Они с Семеновым артель устроили — пасуют друг другу, а я уже третий раз с четвертого номера без удара прохожу.

— Это правда, Юрий? — Александр Никитич строго посмотрел на меня.

Я знал, что он и сам все видел и понял, не такой он был тренер, чтобы не заметить чего-нибудь на площадке, и спрашивал только для того, чтобы я сказал правду. И я решил ответить откровенно:

— Ну и что? Игра легкая, почему нельзя побить Семенову? Он все время у сетки стоит, а только пас дает и на блок выходит. Ховрину не понравилось стоять вхолостую, а Володя так все игры простоял. Нужно же быть справедливым.

— Ты за команду играешь или компанейство разводишь? — прошипел Ховрин.

— А команда это — один ты? А Володя не команда? — разозлился я.

— Все! — решительно рубанул ладонью воздух Александр Никитич. — На эту игру вас больше не выпущу. Ты виноват, — повернулся он к Родьке, — что развел торговлю, как на базаре. А ты, Смольников, в том, что личные отношения противопоставил интересам команды. Можете мыться и одеваться.

— Справедливость — тоже интерес команды, — пробурчал я и пошел в раздевалку, досадуя на себя за дурацкую откровенность. А на следующие игры Александр Никитич не ставил под меня Володю Семенова. Может, поэтому я через несколько месяцев не пришел на новый сбор, хотя поговаривали, что меня и Ховрина попробуют в сборной горно. Что-то разонравилось мне в команде — слишком много внимания уделялось выигрышу и мало игре. Я предпочитал играть навывлет, по-любительски, на разных парковых площадках. Там даже иногда собирались мастера из взрослых команд, и игра была свободная, интересная, без дрожи за очко в таблице. Но урок о неуместности откровенных рассуждений я запомнил. Правда, это был не единственный такой урок — просто он запомнился крепче других. И дружбы с кем-нибудь у меня не получалось. Я лишь воображал про себя, что понравившийся чем-то человек поймет меня и не будет смотреть как на кретина, если я поделюсь с ним мыслями.

И вот, проектируя этот пароходик, я воображал, как подружусь



с моим чудачком. Еще не зная его, я приписывал ему всякие достоинства, которые хотел бы видеть в своем близком друге. Работа моя продвигалась. Я остановился на гибридном варианте катера-сидана с каютами под носовой палубой и в средней рубке, со щедрым, но вполне выполнимым остеклением, и с полужакрытой ходовой рубкой, выходящей в кормовой кокпит, в котором под капотом мог быть установлен стационарный двигатель. Внешность у катера получалась заманчивая. Честное слово, я не самый самодовольный человек на свете, но линии этого пароходика, сочетание надстройки с искусственно заостренным и скошенным носом и слегка седловатой линией борта, мне нравились. Пароходик выглядел солидным без неуклюжести, присущей тихоходным маленьким судам, а когда я представил к ходовой рубке чуть наклоненную назад небольшую мачту с обтекаемым корпусом топового фонаря, то понял, что моя первая работа получилась удачной. После этого я стал проектировать внутреннее оборудование — разные рундуки, койки, обеденный уголок, камбуз с газовой плиткой, стремясь, чтобы все эти вещи были простыми и все же создавали уют.

Все это так увлекло, что я позабыл о школе. Нет, не позабыл, потому что каждое утро должен был играть роль прилежного ученика, торопливо уходить из дому, а потом возвращаться, но за работой над этим пароходиком как-то исчезла тревога и горечь. Я перестал чувствовать себя отверженным, деклассированным элементом, потому что занимался интересным делом. И меньше чем за две недели вчерне закончил проект и начал перебелять общий вид и чертежи детализировок. Надо сказать, что это была довольно трудоемкая работа, но тут я не ленился. Мое приватное конструкторское бюро выдало рабочие чертежи за три дня, и еще я сделал эскиз в одну шестнадцатую настоящей величины, раскрасил его по проекту. Корпус я оставил лессированным, вид лоснящегося желтого дерева был очень декоративен, только боковую поверхность планшира, выполнявшую роль привального бруса, я сделал белой, посреди этой белой полосы отбил узенькую голубую филенку, это была единственная уступка чистой декоративности. Вся надстройка была снежно-белой, только углы рубки и наличники окон были окантованы лакированным дубом, гармонировавшим с желтизной корпуса. Я наклеил почти метровый лист ватмана с эскизом на картон, закопил его газетой, скрутил в трубку чертежи и с утра отправился в Галерную гавань, мечтая о том, чтобы моего чудачка не оказалось возле вельбота.

Осень еще робко, но заметно входила в город. В потускневшей зелени листвы уже проглядывала предсмертная радужность, и деревья даже при ветре казались задумчивыми, отягощенными прощальными мыслями. И в мимолетной знобкости еще не стылого воздуха я остро почувствовал свою неустроенность. И только небольшая и, если быть честным, довольно надуманная цель помогла справиться с приступом тоски.

Галерная гавань была пустынна и прекрасна щемящей осенней красотой, что-то беззащитное виднелось в наклоне старых дуплистых стволов, в неподвижности водного зеркала с аппликациями желтых листьев, в обсохших, надраенных от прибылой воды фалинях, удерживающих немногочисленные лодки кормой к берегу. Горь-

ковато и пряно пахло дымком, прозрачным ершиком выходившим из трубы сторожки.

Не таясь, я прошел вдоль шеренги лодок и катеров, поставленных на кильблоки, в самый конец, где возле сторожки под ветхим, до белизны выцветшим брезентом стоял вельбот. Хозяина его не было. Я откинул брезент, встал на конец кильблока и бережно опустил трубку чертежей и эскиз в нутро корпуса, потом забрался сам, разгреб куски дерева и обрезки фанеры на днище ближе к носу, поставил валявшийся тут же картонный ящик. На ящике установил эскиз и подпер его сзади палкой — получился мольберт. Тут же, перед эскизом, я положил трубку чертежей. Еще раз оценил свою постановку, достаточно ли она бросается в глаза, когда влезаешь внутрь корпуса, и остался доволен: эскиз смотрелся превосходно даже при этом сумрачном свете. Я вылез наружу и аккуратно натянул брезент. Из Галерной гавани уходил очень довольный. Теперь мне оставалось только ждать.

Я медленно брел по Шкиперке, воображая, как этот чудак увидит мой эскиз, когда придет возиться со своим вельботом, и почти не сомневался в том, что он догадается, кто автор проекта, — слишком уж примелькалась ему моя физиономия, и, наверное, по ее выражению нетрудно было понять, что я не одобряю всю эту городьбу на прекрасном корпусе. Вот так я брел и воображал, испытывая некоторое самодовольство, свернул по Наличной и зашагал к новостройкам, чтобы посмотреть, что там появилось нового. Я с нетерпением ждал, когда же начнет прорисовываться парадная часть острова с широкой набережной по берегу залива, о которой столько писали в газетах. И у меня было такое чувство, как в раннем детстве, будто меня ожидает какой-то подарок. И тут я вспомнил, что через неделю мой день рождения. Сразу стало тошно и навалилась такая пустота, словно до этого не было у меня никакой жизни, и я ничему не учился, ничего не делал, не думал, не читал, не понимал человеческого языка, словно я и не человек вовсе, а только что сбежавшая из зоопарка обезьяна, у которой нет никаких проблесков рассудка и — лишь парализующий ужас перед неведомым миром... Я застыл возле витрины «Богатыря», где распыленные на тонких капроновых жилках висели необъятные юбки и кофты, в этом магазине мне покупали ботинки и разное барахло. Оцепенело смотрел я в стекло витрины, смутно проецирующее мое отражение — длинноволосую голову, длинную шею, угловатые плечи... Во мне было без семи сантиметров два метра роста, я носил ботинки сорок седьмого размера, весил семьдесят семь килограммов, мне было без семи дней пятнадцать лет, и я был человеком без определенных занятий и даже не знал, чем буду заниматься в ближайшие времена. Да, миленький подарочек сделал я себе ко дню рождения. На миг появилось отчаянное искушение пойти в школу...

Я приду перед концом последнего урока, дождусь звонка и буду стоять в боковом отростке коридора, пока не уйдут все ребята, а потом потащусь к дверям учительской. На плечи будет давить тишина пустых классов и безлюдье коридора. Я прислонюсь к стене возле косяка двери учительской и, вжавшись спиной в холодящую фисташковую панель, буду прислушиваться к еле различимым голосам

в учительской и ждать, униженно и покорно ждать мою драгоценную учительницу и классную воспитательницу Любовь Михайловну Панюшкину. Ждать буду, наверное, долго, потому что учителя любят иногда поговорить после уроков, поделиться всякими там впечатлениями. И вот я буду стоять у стены, пока не откроется дверь учительской и не начнут уходить учителя. С портфелями и сумками, они будут проходить мимо, легким кивком отвечая на мое приветствие; а я с чувством всегдашней неловкости стану машинально сутулиться, чтобы стать меньше ростом, и буду стараться не смотреть на них сверху вниз.

Я ходил опустив голову и сутулясь, чтобы стать как можно меньше, но это не помогало. Все равно все смотрели снизу, глаза мои невольно блуждали где-то поверх голов большинства людей, и я чувствовал какую-то отверженность, отторгнутость от всех. Это началось чуть ли не с четвертого класса. Тогда у нас еще стояли парты, и мне никак не удавалось сесть за один прием, приходилось по частям усаживаться за парту — сначала одну ногу, потом другую и уж после втискиваться корпусом. А чуть позже начались всяческие неудобства. В кино некуда было деть ноги между рядами и приходилось подтягивать колени к самому подбородку; потом стали проблемой ботинки, штаны; позже у дивана пришлось снять одну боковую доску с подлокотником, а то невозможно было вытянуться во весь рост. Словом, высокий рост доставлял тысячу всяких неудобств, и, быть может, причина того, что у меня так и не появилось настоящего друга за все школьные годы, тоже в этом. Если вы двухметрового роста, а вам всего-то четырнадцать лет, то люди — почти все без исключения, даже родители — видят в вас немножечко монстра, ну, а разве к монстру можно относиться всерьез? А уж если вы раскрываете рот, чтобы что-нибудь сказать, то все ждут от такой орясины каких-то жутко умных или, по крайней мере, необычных слов. Но вы, несмотря на свой рост, говорите самые обычные вещи, и это несоответствие обыкновенных мыслей необыкновенному росту разочаровывает окружающих, и они начинают думать, что вы попросту глупец. А уж если вас записали в глупцы, то это надолго. И вокруг вас возникает отчуждение, и вы торчите в этом отчуждении, как телевизионная башня среди окрестных домов...

Быть может, я немного, самую малость, преувеличиваю, но такое отчуждение преследовало меня чуть ли не с десятилетнего возраста, и мало-помалу я привык молчать и сутулиться, чтобы стать незаметней. По-настоящему свободно я чувствовал себя только на волейбольной площадке — там мой рост не выглядел курьезом.

...Так вот, я представил себе, как буду стоять у двери учительской в уже замолкшем школьном коридоре; начнут выходить учителя, а я буду горбиться и стараться не смотреть сверху на их головы; а потом выйдет Любаша со своим портфелем оранжевой автомобильной эмали и спросит как ни в чем не бывало: «Смольников, что вы здесь стоите?». А может быть, и не спросит ничего, и тогда мне придется униженно семенить рядом по коридору, подлаживаясь под ее шаг, и бормотать что-то о том, что ПТУ — это выдумка, что я хочу ходить в школу и постараюсь учиться, — пусть только простят мне пропуск этих недель... Нет, даже в воображении все это выгляде-

ло омерзительно и невозможно. Не мог я сказать этих покаянных слов, и Любаша не могла бы понять их. Да и формально школа сделала свое дело: у меня было восьмилетнее образование, и я мог идти на все четыре стороны, потому что по успеваемости своей почти не заслужил учения в девятом классе. Меня и записали-то в девятый, как я потом узнал, только по настоянию Нелли Николаевны.

Я все еще стоял у витрины магазина «Богатырь», что на улице Наличной, и смотрел на свое смутное отражение в толстом не совсем чистом стекле. И мне жутко хотелось боднуть его головой. Я пошел прочь, преодолевая это сумасшедшее желание, вернулся домой, залег на свой диван и пролежал так до самого прихода матери, — без движения, уставившись в одну точку на потолке.

Ужинали мы на кухне почти в полном молчании, мать сильно устала, а я и вообще-то не был расположен к беседе. Она только спросила коротко:

— Как дела?

— Нормально, — ответил я и уткнулся носом в тарелку, благо моя табуретка была с наполовину укороченными ножками. Я сам подпил их, потому что отец и мать терпеть не могли, когда я горбился за столом. А что прикажете делать, как не горбиться, если от тарелки ко рту приходится нести ложку чуть ли не метр?

Пужинав, я вскочил, бормотнул невнятное «спасибо» и затопился уходить.

— Уроки сделал? — спросила мать.

— Да, — с уверенностью профессионального лжеца ответил я, зная, что мать не станет заглядывать в мои тетради, так же как и отец. Это не было безразличием — просто родители доверяли мне и сочли бы оскорбительным для моего самолюбия такую проверку. Они были проникнуты уважением к личности своего дитяти и не замечали, что эта самая личность становится все более сомнительной. Они больше беспокоились о материальном обеспечении, и у дитяти было все, что и у других, и даже больше, чем у других; он был сыт, одет и обут, ему полагались ежемесячные тридцать рублей на мелкие расходы, у него были: фотокамера-зеркалка, большой этюдник с красками, стереопроектор, поповские джинсы, замшевая куртка — все самое дорогое. Может быть, такая обеспеченность и создавала у родителей иллюзию, что с личностью моей тоже все в порядке, и они предполагали, что сынок сам станет тем, кем ему положено стать. Словом, я безгранично пользовался безграничным родительским доверием.

Я напялил в прихожей куртку, провел несколько раз по волосам расческой, негромко сказал: «Ну, я пошел», — хотя и знал, что мать, начавшая мыть посуду, все равно не услышит за шипением и воем крана с горячей водой. Кран у нас был уникальный, что-то там образовывалось то ли в трубе, то ли в нем самом, — по предположению отца, возникала турбулентность, и кран издавал такие немыслимые звуки, что начинала резонировать посуда в кухонном шкафу. И если бы не довольно частые и длительные перебои с горячей водой, мы все наверное, сошли бы с ума от этой турбулентности. Но дело не в кране, просто я негромко сказал, что ухожу. Почему-то в последние годы мне нравилось быть послушным вежливым ребенком, — если я уходил, то, независимо от того, могут меня услышать родители или нет,

я говорил, что ухажу; если просили получить вещи из химчистки, а мне было известно, что этот день выходной, то все равно я шел, возвращался без вещей и говорил, что пункт закрыт; словом, я тоже относился к родителям с безграничным доверием: если они просили о чем-нибудь, я без рассуждений начинал выполнять их поручение. Даже если догадывался заранее, что оно невыполнимо. Так было проще, чем объяснять, что химчистка, например, в этот день закрыта или пункт приема стеклотары в соседнем магазине давно на ремонте. Мать или отец — в этих вещах они были трогательно единодушны — сказали бы: «А ты сходи и посмотри, — вдруг открыто», — и я предпочитал не спорить.

Я медленно спустился по лестнице и вышел во двор. Честно говоря, никуда не хотелось, и я предпочел бы сейчас валяться на своем диване и, не зажигая огня, глядеть в потолок, но дома была мать, а скоро должен вернуться отец. Я почему-то в последнее время испытывал беспокойство, когда за стеной находились родители. Нет, они не мешали мне, разве что мать позовет пить чай или крикнет, что по телику показывают что-нибудь интересное. Но если у вас завелся секрет не самого высокого разбора, то вам лучше держаться подальше от людей, которым вы не хотите раскрыть этот секрет. Так спокойнее и для секрета, и для вашей нечистой совести. Поэтому в сентябре вечерами я допоздна пропадал во дворе.

Я вышел во двор и вдохнул охолонувший, с уже ощутимым осенним настом, воздух и пошел на зады второго корпуса, где возле серокирпичной трансформаторной будки окруженные густыми кустами боярышника стояли две грубо сколоченные скамейки и такой же дощатый стол. Здесь с полудня до сумерек играли в шашки и забивали «козла» пенсионеры, а потом приходили мы. Мы — это Петька, Вовка, Серега, я, Светка, Ирка и еще несколько ребят из окрестных домов. Были мы примерно одного возраста, но все — из разных школ, и, быть может, именно это как-то сближало нас. Мы ничего не ведали друг о друге, кроме того, что узнавали при встречах вечерами. А вечерами нас соединяла сигарета, гитара, разговоры и шуточки, иногда кто-нибудь приносил портативный магнитофон, и тогда весь вечер слушали Демиса Русоса, Высоцкого, группу «Дип перпл». Записи, конечно, были скверные, хрипатые и трескучие, но это не мешало наслаждаться неожиданным чувством общности и понимания друг друга. Я потом много думал об этом и с удивлением понял, что никто персонально не интересовал меня, — привлекала компания. Мы были все вместе, были вроде родственников, и казалось, что Вовка, Петька, Светка и другие ближе мне, чем отец и мать. В компании почему-то обострялось ощущение нашей отделенности: я чувствовал, что взрослые — это совсем другие люди, а мы — сами по себе, мы как будто инопланетяне. И в компании я никогда не задумывался, что представляет из себя каждый в отдельности, я тогда вообще мало об этом задумывался. Для меня все были «свои ребята». Только года два назад я начал задумываться над характерами окружающих, а компания образовалась чуть раньше этого времени, так что два лета я просидел на этих скамейках с чувством этой странной общности и в то же время отделенности от остального мира, мира взрослых. Странное это чувство... Мы, конечно, все были разными, но в чем-то одинаковыми,

хотя бы в том, что нам некуда было деваться вечером. Мы сидели среди кустов боярышника, и нас радовало, что мы все вместе, что впереди целый вечер, и мы чего-то ждали друг от друга и от каждого вечера. Только чего? Этого не знал никто. Но все равно было хорошо от общих шуток, которые понимались с полуслова, от общих, только нам известных словечек, хотя я, честно говоря, терпеть не мог хиппового жаргона. Эта блеющая смесь английского с нижегородским, вывернутые, скомканные, какие-то щербатые слова только затемняли и без того невнятные наши мысли, так что иногда трудно было уяснить смысл чьего-нибудь высказывания и лишь по интонации можно было судить, говорит человек серьезно или шутит. Этот бараний язык вызывал во мне порой раздраженное сопротивление, и я начинал выражаться подчеркнуто правильно, даже старообразно, поддельваясь под стиль писем Александра Блока, — компания тогда удивленно замолкала, а потом кто-нибудь, чаще всего Алька, говорил:

— Ну, ты и даешь, Малыш, — как по книжке чешешь, — и в интонации слышались удивление и тоскливая неприязнь.

Вообще-то некоторые парни в компании меня недолюбливали, даже не знаю за что. Особенно Алька. Жил он во втором корпусе, на задах которого и был этот боярышниковый закут возле трансформаторной будки. Я помнил его столько, сколько помнил себя, мы даже, кажется, ходили в один детский сад. Потом его определили в какую-то жутко сверхгениальную школу, где чуть ли не в первом классе проходили атомную физику и кашу для школьных завтраков варили на термоядерной печке. Ну, сначала он был парень ничего, никак не выделялся, вместе со всеми копался в грязи на пустыре между нашими домами — этих кустов, скамеек и клумбочек тогда еще не было, — пускал, как все, самодельные кораблики в непросыхающих лужах. Но после третьего класса он стал просто несносен, все ребята для него были сундуками и дебилами. Конечно, дворовое наше товарищество не отличалось кротостью и долготерпением и уже ходили разговоры, что неплохо бы вломить Альке, чтобы не очень-то задавался. Но на некоторое время затея эта как-то отложилась, потому что Алька поразил всех. Вынес из дому ножницы и полоску бумаги, перекрученную и склеенную в кольцо, и предложил на спор любому провести по кольцу карандашную линию, чтобы она проходила только по одной стороне бумажной полоски. Несколько человек пытались проделать эту на вид простую штуку, но карандашная линия непостижимым образом появлялась на обеих сторонах бумажной полоски. Мы все были изумлены и преисполнились уважения к Альке. А когда он предложил разрезать кольцо вдоль полоски, чтобы получилось два, и Серега, высунув от старательности язык, аккуратно поработал ножницами, но в руках у него оказалось опять одно кольцо, только в два раза больше размером, — то удивлению нашему не было предела, и все безоговорочно признали Алкин авторитет, а он после этого случая совсем зачванился. Но шли годы, благоустраивался пустырь в нашем дворе между корпусами, подрастали и мы, многие узнали, что показанный Алькой фокус — это кольцо Мебиуса, один из примеров одностороннего пространства, и, если честно, хоть и не все, в том числе и я, поняли, почему это самое пространство такое сумасшедшее, но уважения к Альке побавилось, а из той школы его, кажется, выперли в пятом или шестом

классе. Он пошел в обычную школу, но не в мою, а в ту, что на Гаванской, и, говорят, учился еле-еле на «троечки», но гонор у Альки остался прежний. Он никогда не упускал случая каким-то способом подчеркнуть свое превосходство над всеми нами, хотя превосходство это, кажется, даже в его воображении становилось все менее и менее определенным, — знал Алька теперь не больше нашего, каких-либо спортивных достижений за ним не числилось, особенным остроумием не блистал. А мы, видя, что это самое превосходство становится все более мнимым, относились к его гонору и высокомерному тону разговоров довольно благодушно, даже — насмешливо. Говорят же, что от гордости до шутства всего один шаг, и Алька, по-видимому, незаметно для себя и для нас сделал этот шаг. Ко мне Алька относился с какой-то особенной ревностью с тех пор, как я стал заметно обгонять в росте всех ребят; это с Алькиной легкой руки во дворе ко мне прилепилась кличка Малыш. Собственно, его насмешки и заставили, наверное, меня задуматься над тем, что же это за люди — мои товарищи по дворовой компании.

Это было тем летом, когда я открыл для себя Александра Блока и с новым, каким-то другим интересом стал присматриваться к окружающим, открывая в хорошо, казалось бы, знакомых людях неожиданные черты характера. И вот в конце того лета между нами случилась не очень приятная стычка. Алька и раньше относился ко мне с неприязненным вниманием, а в тот тихий и сумеречный августовский вечер вся его неприязнь сразу вылезла наружу.

Мы все сидели на скамейках за столом возле трансформаторной будки. Уже исполнили дважды весь песенный репертуар, старые шуточки уже не вызывали смеха, и компания заскучала острой и неожиданной скукой — вдруг повисло отчужденное молчание, про которое говорят: дурак родился. Кажется, все почувствовали неловкость, будто подумали друг о друге плохое. Серега с Вовкой курили на пару, передавая друг другу едко дымящую сигарету, Сашка задумчиво смотрел в стену трансформаторной будки, прижав к себе гитару, Светка теребила свой «конский хвост», перекинув его через плечо на грудь. Я задрал голову, посмотрел на медленно плывущие по сизому небу вытянутые серые облака и почувствовал такую тоску, что уже сил не было усидеть на месте, встал и тихо, с каким-то извинением сказал:

— Пойду к заливу.

И тут Алька прицепился со своими насмешками без всякого повода. Насмешки его всегда были однотипными, поэтому я почти не реагировал на них и больше отмалчивался, просто не знал, чем отвечать. Ну, говорит человек, что у меня на мозги вещества не хватило — все в ноги ушло, ну, я улыбнусь, и все. Чего тут отвечать. И видимо, Альку еще больше злило, что я не обращаю внимания на его подковырки. А в тот вечер он словно взбесился, несколько раз повторил на разные лады эту свою плоскую шутку про мозги, потом сказал, что мне нельзя долго стоять на набережной, а то корабли примут меня за маяк, свернут с фарватера и выскочат на мель. Никто из ребят даже не засмеялся, и Алькин голос звучал в общей тишине крикливо и беспокойно, будто он вовсе не шутил, а звал на помощь. Я наклонился и заглянул ему в глаза — они были полны тревоги. Честно говоря, следовало промолчать, пощадив Алькино самолюбие, но мстительно-злорад-

ное чувство шевельнулось во мне, я понял, что Алька вредный, завистливый и жутко трусливый таракан, и мне ничего не стоит двумя словами уничтожить его. Может быть, именно поэтому нужно было не трогать его, и я хорошо почувствовал все это, но подленькое желание отомстить пересилило.

— Слушай, Алена, — негромко сказал я, — если ты проходишь у меня под мышкой, то это не значит, что ты крупный мыслитель, а только говорит о том, что ты болел рахитом и с детства недоразвит.

Честно говоря, я не ожидал такого эффекта от своих слов. Алька вскочил, будто ему под зад подставили горящую зажигалку (в то лето такая шуточка была модной).

— Ты же — кретин! Тебя в зоопарк надо, в обезьянник! — заорал он. А мне стало не по себе от его оскаленных зубов и бледности, даже в сумерках ясно проступившей на узком злобном лице. И чтобы скрыть свою растерянность, я улыбнулся. Это, наверное, было последней каплей — Алька с поросычьим визгом подпрыгнул и ткнул меня кулаком в нос. Было не больно, но пошла кровь, капнула на рубашку, а мать утром специально встала пораньше, чтобы выгладить ее. Ну, я и разозлился, сгреб Альку за грудки, приподнял и приложил спиной о стену трансформаторной будки, и чуть не задохнулся от ужаса, когда почувствовал, что он обмяк у меня в руках. Я разжал пальцы, и Алькино тело стекло вниз по серому кирпичу и расплылось, как лужа, под стеной будки. И тут ребята заорали на меня: «Нашел себе под силу!»

Я плюнул, обозвал их подонками. Злость еще не прошла, и я сказал, чтобы передали Альке, что если еще раз заикнется — заброшу на крышу будки. А самому было очень противно. Это была единственная драка в моей жизни.

В тот вечер я и понял, что мы вовсе не вместе, что мы разные и что наше единение, с этими жаргонными словечками, общими шуточками — все это до первой драки; еще я понял, что у каждого из нас свой характер, далеко не самый благородный, а значит, и дороги у всех разные. И наверное, еще тогда я внутренне отделился от компании. Но еще два лета ходил к скамейкам в боярышниковом закуте возле трансформаторной будки, а зимой — в подъезд второго корпуса, и курил сигареты на пару, подпевал брэнчащей гитаре. Но с каждым годом все меньше вечеров проводил я с компанией, а в последнее лето и был, наверное, всего-то раз десять, но вот потянуло снова. Даже «потянуло» не то слово, — просто некуда было деваться и невозможно сидеть дома.

4

Еще на подходе к трансформаторной будке до меня донеслось ритмичное буханье гитарных басов и Сашкин высокий ломкий голос. С современным блеяньем он исполнял рок-балладу Леннона «World without love»¹. Я любил эту вещь за теплоту мелодии, за возвышенную и легкую, прозрачную грусть. Сашка хоть и кривлялся, но

¹ «Мир без любви» (англ.).



пел хорошо. Я дошел до кустов, остановился и в одиночестве дослушал балладу. Было сыро и знобко, за темной стеной еще не опавшей боярышниковой листвы ощущалось присутствие компании, а мне стало хорошо в этом недалеком одиночестве рядом с людьми — моими сверстниками. На ощупь я сорвал боярышниковую ягодину, положил в рот, почувствовал легкую сладковатость мякоти и твердость маленьких гладких семян, и вдруг ко мне пришла непонятная, беспричинная уверенность, что все будет хорошо в моей жизни, что где-то совсем близко меня ожидает радость, что впереди еще вся жизнь и в этой жизни все зависит от меня самого. Когда смолкли последние аккорды гитарных басов, я раздвинул ветки и шагнул к скамейкам.

Смутно светлели лица, медный заклепкой поблескивал огонек одинокой сигареты.

— Привет, ребята.

— Привет, Малыш.

Вовка подвинулся, и я сел рядом с ним на скамейку, и только теперь заметил, что нас всего четверо — Сашка, Ирка, Вовка и я. И снова меня охватило чувство общности: мы были все вместе, как родственники, а мир за густой стеной боярышника — отдельно, и этот «World without love» не имел к нам никакого отношения. И мне показалось, что здесь, на грубо сколоченных скамейках возле серокирпичной стены трансформаторной будки теплее и не так чувствуется осенняя стылая сырость.

— Саш, чего-нибудь веселое, — попросила Ирка.

Сашка взял у Вовки сигарету, сделал несколько коротких затяжек, вернул окурок и рванул струны.

— «Корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода», — с хриплым горловым рычаньем, раскатывая согласные, запел Сашка. Он вообще пел хорошо, музыкально, но под Высоцкого у него не получалось. И странное дело, больше всего Сашка любил петь именно песни Высоцкого. А если кому-нибудь случалось неосторожно сказать, что песни эти получаются хуже других, Сашка угрюмел, отдавал гитару и мог просидеть весь вечер молча, поэтому все мы в компании терпеливо выслушивали натужное исполнение этих песен, но зато Сашка потом вознаграждал нас отличными сонгами. И вот мы молча слушали: — «И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды...»

Это место песни у Сашки было самым ударным, тут он рычал особенно яростно и громко.

— «Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах, я, конечно, спою — не пройдет и полгода», — Сашка закончил, ладонью резко погасил звучание струн, и тут откуда-то сверху раздался насмешливый и веселый крик:

— Эй, генерал-бас, голос сорвешь!

Я поднял голову и увидел в раскрытом окне четвертого этажа второго корпуса девичью голову, распущенные по плечам волосы золотились в свете розового шарового плафона, а лица девушки не было видно, потому что она стояла спиной к свету. Я смотрел, как она стоит опершись широко поставленными руками на подоконник, и видел

лишь темный силуэт с золотистым колоколом волос, но отчего-то заволновался, неясная и радостная тревога вдруг остудила лицо. А Сашка сказал, обернувшись:

— Сама быстрее охрипнешь, — он сказал это не очень громко, но внятно и с ясно ощутимой досадой. Девушка услышала его и ответила:

— Не волнуйся, — и засмеялась. В смехе мне послышался стеклянный звон — так звенел издавна хранившийся матерью старинный хрустальный бокал, когда пальцем проведешь по его краю.

Сашка ударил по струнам и запел что-то быстрое и веселое, а я все глядел вверх, пока девушка не отошла от подоконника, — я так и не рассмотрел ее лица. И мне сразу стало скучно, однообразным и бедным показался аккомпанемент гитары, убогим и уродливым Сашкино английское произношение, и захотелось уйти — бродить по улицам, глазеть на освещенные витрины и невнятные лица встречаемых, на корабли, пришвартованные у стенки набережной Крузенштерна. И я уже собрался уходить, ждал только, чтобы Сашка закончил петь, а то посреди песни уходить было неудобно. Но тут зашуршали ветви кустов, и я сразу понял, что идет кто-то чужой, потому что шуршание донеслось слева от угла трансформаторной будки, — там не было протоптанной тропки и боярышник рос особенно густо. Сашка тоже услышал и оборвал песню. Молча повернув головы, мы все слушали, как кто-то проламывался через колючий боярышник. Но еще за мгновение до того, как ветки раздвинулись, я понял, что это она, та девушка, что кричала из окна.

Она вышла из темноты кустов и шагнула к столу, быстрым, легким движением узкой ладони оправляя растрепанные ветвями волосы. Они действительно были золотистыми и даже искрились в рассеянном свете дальних фонарей и освещенных окон; глаза казались темными и огромными на узком светлом овале лица.

— Здравствуйте, — громко и весело сказала она, и в голосе мне опять послышались стеклянные звоны, но тембр его оказался неожиданно низким, ниже, чем слышался из окна.

— Здравствуйте, — ответил я и машинально привстал.

— Привет, — медленно почти пропел Сашка. Вовка с Иркочкой промолчали.

— Что, не можешь настроить свою деревяку? У меня даже зубы разболелись от этой лажи. Ну-ка, дай, — она протянула руку, и опешивший Сашка выпустил гитару. По движениям, какими она прихватила гриф, пробежала пальцами по струнам и начала крутить колки, настраивая гитару, мне сразу стало ясно, что девушка эта играет по-настоящему, а не просто тренькает на двух струнах, как мы.

Она настраивала гитару, пальцами прижимала то один лад, то другой, попарно звучали струны. Лицо было сосредоточенным, отсутствующим, как будто всех нас и не было вовсе. А мы молча смотрели на нее, и даже не очень-то покладистый Сашка без видимого раздражения следил за ее действиями. Вот девушка закончила настройку, легко, с виртуозной небрежностью, сыграла кусочек какой-то незнакомой мне, быстрой летучей мелодии, улыбнулась и сказала Сашке чуть удивленно:

— Слушай, это же отличный старый инструмент. На таком про-
сто нельзя пижонить.

— Гитара еще деду принадлежала до войны, — хмуро ответил Сашка, но я понял, что за этой хмуростью он хочет спрятать смущение, которое испытывает перед этой необычной девчонкой.

— Ну-ка, подвинься, — сказала она Ирке. И тут я понял, что это рассчитанный ход, чтобы сразу утвердить себя в компании: ведь ни меня, ни Вовку эта девчонка задевать не стала. Ирка была не из робких и по характеру тоже не сахар, но подвинулась на скамейке даже с какой-то поспешностью, и эта девчонка села как раз напротив меня. И сразу заиграла.

Гриф гитары стоял почти вертикально, знойная, томительная мелодия в ритме румбы завораживала, погружала в беспредельную задумчивость и странно раздваивала, будто во мне появилось два человека. Один был где-то далеко, где зеленый теплый океан накатывал на желтый песок широких пляжей прозрачные спокойные волны, а на чистой синьке горизонта маячили розовато-белые косые паруса и звали куда-то с собой и что-то обещали. А другой я сидел здесь, на задах второго корпуса родного дома, сидел в осенней вечерней остуде на низкой деревянной скамье, почти упираясь подбородком в колени, и смотрел, как скользят по ладам тонкие длинные пальцы незнакомой девчонки, как колыхнутся в такт мелодии ее легкие искрящиеся волосы, сужающие овал лица. Свет неближных фонарей был рассеян и слаб, но я увидел, что глаза у нее темно-синие и немного шальные; верхняя пуговка ее светлого батника была расстегнута, и на длинной шее виднелась тонкая черно-серебристая черта цепочки... Я стоял на берегу неведомого океана, томительно ожидая приближения парусов, я сидел на скамейке во дворе родного дома, слушал гитару и тосковал, глядя на эту девчонку, — нереально было и то и другое...

Она кончила играть, и минуту или две стояло плотное молчание. Потом Сашка хрипло попросил:

— Еще...

И она сразу же заиграла снова.

Я вслушивался в до боли знакомый мотив, но все же не мог узнать его, пока она не запела:

— «Не жалею, не зову, не плачу — все пройдет, как с белых яблонь дым...»

Низкий и чистый голос плыл где-то надо мной к сизому неспокойному небу, знобкость и грусть осени закрадывались в грудь, и глубоко и жадно дышалось, но я никак не мог насытиться горьковато-спиртным настоем воздуха, в котором смешались солоноватые балтийские ветры и прощальные ароматы палой листвы. А девчонка все пела почти без перерыва городские старинные романсы и современные шлягеры, до тех пор, пока Иркина мать не крикнула из окна: «Ира, домой!».

Ирка суетливо вскочила, сунула Сашке горящую сигарету и, шумно выдыхая из сложенных трубочкой губ, чтобы выветрился запах табака, побежала напрямик через кусты. Я взглянул на часы, было без четверти одиннадцать, а казалось, что прошло всего полчаса.

Тишина медленно, как дым сигареты, плыла над нами. Девчонка сидела, глядя куда-то вдаль и поглаживая бок гитары.

— Тебя как зовут? — спросил Сашка.

— Наташа.

— А меня — Александр, его — Владимир, а он — Юрий. Мы часто здесь собираемся, приходи.

— Хорошо, — ответила Наташа, отдала ему гитару и встала.

Я тоже поднялся, она снизу вверх посмотрела мне в лицо, и я почти прошептал:

— Спасибо за концерт.

Она улыбнулась в ответ и спросила:

— Вы все — домой?

— Нет, еще пройду к заливу, — ответил я.

— Возьми меня с собой.

Я только кивнул, потому что словно онемел от внезапного волнения.

Синеватые сумерки плескались на морской набережной в этот час, а море дремало в отдохновенном покое, и только изредка из темной глади исходил медленный глубокий вздох. Красные пронзительные огоньки горели на фоне сизого неба на стрелах огромных кранов Балтийского завода, на фиолетовой ширме горизонта медово светились огни уходящего в открытое море судна.

Мы медленно шли вдоль уреза и вглядывались в бархатную даль; водяная темная гладь вдруг проблескивала одинокой голубоватой искрой и снова погружалась в сырую синюю мглу.

— Как хорошо! Я никогда не была здесь в такое время, — тихо сказала Наташа и легким движением руки поправила волосы.

— Я люблю это место, здесь не чувствуешь себя одиноким, — неожиданно вырвалось у меня, и внутренне я чертыхнулся за несдержанность.

Наташа подняла голову и долго смотрела на меня. В смущении я даже не мог отвести глаз от ее запрокинутого лица, светлевшего теплым самосвечением.

— У тебя все в порядке? — тихо спросила она, и матовый звук ее голоса, казалось, осязаемо коснулся моего лица.

— Что в порядке?

— Ну, все дела, отношения с предками.

— Да, это все нормально, — слишком поспешно ответил я.

— Ну, а чего ты тогда такой минорный? Я еще во дворе заметила, — она остановилась, повернула лицо к горизонту и вся подалась вперед навстречу легкому ветру. Я стоял позади и смотрел на ее голову, волосы разделял чистый прямой пробор посредине, концы их шевелились под ветром. Тревога разнимала меня, и я спросил первое пришедшее на ум:

— Ты где учишься?

— В музыкальной школе при консерватории, там, возле Новой Голландии на Матвеевом переулке, — она, не оборачиваясь, слегка повела головой влево. — Знаешь?

— Нет.

— У нас одиннадцать классов, так что мне еще целых три года. А ты где учишься?

Я отвел взгляд от пробора на ее голове и невольно тяжело вздохнул. Наташа услышала и быстро повернулась ко мне.

— Что, выперли, да? — с испугом и сочувствием она смотрела на меня.

Я молчал, молчал долго.

Если у вас имеется невеселый гнетущий секрет, и вы не знаете, куда от него деваться, и вам не с кем поделиться пасмурностью, которая на душе, то, как бы вы ни крепились, как бы ни разыгрывали твердокаменного стойка, вам все равно невольно придется остаться один на один со своим секретом, и рано или поздно вы откроете его первому попавшемуся человеку, откроете тем охотнее, чем меньше будете знать этого человека.

И я ответил Наташе негромко:

— Да не то чтобы выгнали — вроде бы сам ушел, но...

И тут меня понесло, я стал рассказывать ей все. С волнением и запинками, сбивчиво говорил я о своих увлечениях стихами и архитектурой, о вражде с Любашей, о волейболе — рассказывал все без утайки и все-таки ловил себя на том, что привираю, приукрашиваю некоторые подробности, чтобы задним числом показаться умнее и достойнее, чем был на самом деле. И, честное слово, мне удалось обмануть этой иллюзией даже самого себя.

Мы рассказывали по набережной из конца в конец, иногда останавливались, Наташа слушала молча и внимательно, ее сочувственный взгляд то задерживался на моем лице, то блуждал по темно-бархатной мгле залива.

Я уже почти не помню слов, сказанных тогда, но ясно и четко запомнил чувство облегчения оттого, что поделился тяжестью, лежавшей на душе.

Когда я умолк, Наташа спросила тихо:

— Что же ты теперь будешь делать? — тон ее был теплый, но в то же время строгий и требовательный.

— Не знаю, — устало отозвался я. — Еще не решил.

— Надо найти какой-то выход... Если разрешишь, я поговорю с папой, он у меня все понимает и обязательно что-нибудь посоветует, — в голосе ее слышалась просьба.

— Нет, Наташа, — как-то легко выговорилось ее имя, — не надо. Понимаешь, я должен, сам должен что-то решить. А то все опять пойдет кувырком. Спасибо тебе, — я вздохнул, посмотрел на часы и не поверил глазам, подумал, что ошибся в темноте.

— Сколько там натикало? — уже весело спросила Наташа.

— Кажется, полвторого.

— Что?! Не может быть!

Мы подошли под фонарь, и я показал ей часы.

— Ничего себе, — она рассмеялась. — Бежим, а то мои уже в милицию или в морг звонят.

Она дотронулась до моей руки, я перехватил ее маленькую ладошку, крепко сжал, и мы побежали.

Остановились только у парадной ее второго корпуса. Часто дыша и улыбаясь, Наташа сказала:

— Тридцать шестая квартира, приходи, я почти всегда после пяти дома. Обязательно, слышишь?

— Да, — сказал я, — обязательно. Беги.

Минуту вслушивался в ее торопливые шаги по лестнице, потом тихо щелкнула дверь, и я побрел домой.

Ночь я провел без сна, лишь забывался в короткой дремоте, и тогда снилось, что летаю над знакомыми улицами и над заливом, но это не было падением, в самообмане принятым за свободное парение, это был настоящий полет над тихими залитыми солнцем проспектами, над переливчатой мелкой зыбью серо-зеленого залива, — я летал легко и плавно, голубоватые чайки сопровождали меня и подмигивали круглыми шафранными глазами, и я парил рядом с ними к все удаляющемуся светлому горизонту, подо мной проходили корабли, сверху похожие на ивовые листья, усы бурунов расходились от их носов, белым кружевом пенились кильватерные струи.

Я просыпался с чувством испуга и восхищения и в темноте думал о Наташе, без обычной горечи вспоминал о своих делах. И с ясностью и спокойствием в меня входила одна простая и серьезная мысль: нужно решить, как жить дальше.

5

Утром голова казалась чугуновой, но настроение было бодрое. Я сыграл любительский спектакль, с час болтался по улицам, потом вернулся домой и проспал три часа. А когда проснулся, стоял солнечный ясный день, хотя с утра погода вроде бы поворачивала на ненастье. Подогревать щи было лень, я выловил из кастрюли кусок мяса, щедро обмазав горчицей и слопал с хлебом. Почему-то я торопился в Галерную гавань, было предчувствие каких-то интересных событий. Выскочив из дому, нетерпеливо зашагал по Шкиперке.

Свежий ветер упруго давил в грудь и лицо, солнце было по-летнему ярким, я подумал, что раз ветер с залива, то в ковше гавани прибила вода. И правда, причальные буйки уже вытященных на берег лодок поднялись почти до половины высоты берегового откоса. Сухо, пергаментно шуршали листвою старые тополя. Я повернул направо, к сторожке. Поджарая фигура моего чудака виднелась еще издали, обушком топорика он ожесточенно крушил на земле какую-то решетку из деревянных брусков, лицо его было злым. Я прошел мимо, стараясь не встретиться с ним взглядом, и сел на скамейку у стены сторожки. Парень резко выпрямился, пошел прямо ко мне. Я, честно говоря, испугался, такое было у него лицо. Парень подошел вплотную, в упор поглядел в глаза и спросил:

— Ты рисовал?

Он был меньше меня ростом на целую голову, но почему-то не казался маленьким. Испуг мой еще не прошел, и поэтому я ответил с вызовом:

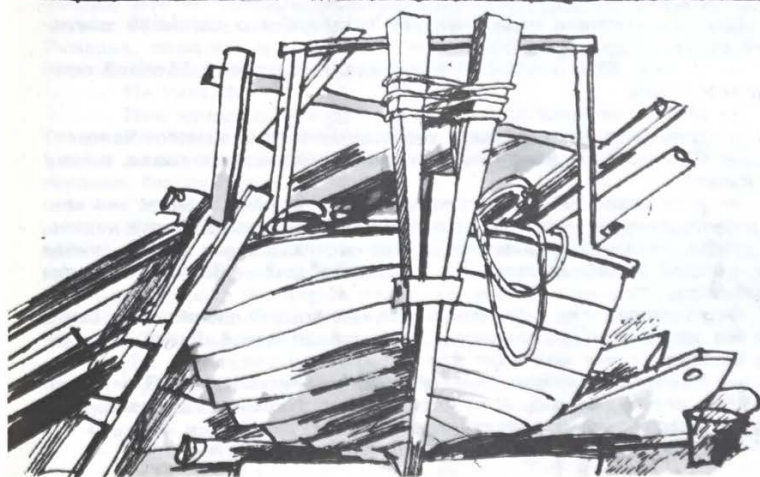
— Ну, а что?

Он перехватил топорик левой и протянул мне руку:

— Василий.

— Юрий.

Ладонь у него была широкой и жесткой.



— Да, так вот, Юра, по твоей милости лето напрасно трудился, — он усмехнулся невесело и поглядел туда, где стоял вельбот. Я проследил за его взглядом и увидел, что на корпусе ничего нет — никаких стоек, бимсов, боковин, обрисовывавших уродливый силуэт будущей надстройки, — вся эта городьба была снята. И только тогда я заметил, что на земле валяются всякие доски и брусья, перебитые рейки, и понял, что эта куча и есть все, что осталось от начатой работы. Я смутился, пробормотал тихо:

— Не знал, что так выйдет.

— Да ладно, наоборот: спасибо тебе, что не слишком поздно ткнул меня носом. А то бы выстроил пивной ларек вместо пархода, — он вдруг весело улыбнулся.

— Вот и мне жалко стало, — корпус-то очень красивый. Это, конечно, предварительная прикидка. Просто хотелось увидеть, что можно сделать на таком корпусе. Я не знал, на сколько человек, на какую автономность ты рассчитываешь, ну и сделал на двоих пока, но можно и переиначить все, лишь бы общее такое решение устраивало, — уже почувствовав уверенность, ответил я.

— Еще бы не устраивало! — обернувшись на вельбот, сказал Василий. — Я о таком даже и не мечтал. Ты, наверное, в кораблестроительном учишься? — он с уважением посмотрел на меня.

— Да нет, еще — в школе... учился, — медленно ответил я.

— Молодец, — он, видимо, не понял меня, — так сконструировать — это специалистом нужно быть. Здесь вон сколько лодок, — широким жестом руки он показал на зеркало гавани, — а такой конструкции ладной я не видел. И ведь разные люди есть — и инженеры, и художники даже.

— Рад, что тебе понравилось, — я растаял от этой похвалы. — Давно интересно этим делом — архитектурой судов.

— Да, наверное, интересная вещь.

— Очень.

Мы так и стояли неподалеку от вельбота и с взаимной симпатией смотрели друг на друга.

— У тебя, Юра, вообще-то время есть? — спросил Василий осторожным тоном.

— Есть, — заверил я.

— Нет, не только сегодня, а вообще ты не очень занятой человек?

— Да, пожалуй, нет, — неуверенно ответил я, не понимая, к чему он клонит.

— А то давай вместе осуществлять твой проект. Вдвоем оно как-то веселее, быстрее, наверное. Построимся, будем на рыбалку ходить, по грибы. Ребята рассказывают, в ладожских шхерах белых грибов под каждой елкой десяток. Ну, как, согласен? — Василий коротко улыбнулся.

От растерянности я просто онемел — слишком непривычно было, что вот вдруг исполняется почти несбыточная мечта. Василий, видимо, истолковал мое молчание иначе и добавил:

— Насчет столярного дела можешь не сомневаться. Я ведь модельщик пятого разряда. А художественное руководство — твое, ну и что потяжелее вдвоем поднять тоже проще. Годится?

— Годится, — с задышливой хрипотой выдавил я.

— Вот и нормально. Пока еще тепло, полмесяца, наверное, можно повозиться, потом поставим наш пароход на консервацию, а с весны уже начнем ладить всерьез. Кое-что можно и дома поделать, у меня в комнате мастерская почти налажена и весь инструмент есть.

— Согласен, только я столярничать совсем не умею. В школе учили немного, но это все — примитив, — сказал я, стараясь, чтобы голос был спокойным, а самого распирало от радости, и Василий нравился мне все больше и больше открытой своей улыбкой, неторопливой вескостью слов, и еще в нем не было того высокомерия, которое всегда ощущалось в старших, — он не считал меня ребенком.

Мы убрали бруски и рейки бывшего каркаса надстройки внутрь корпуса, натянули брезент и вышли из гавани на Шкиперку.

Солнце уже склонялось к морскому горизонту и светило в спину, и от этого впереди нас качались по асфальту две длинные несуровые тени. Я шел молча, чувствуя радость и стеснение, так что даже не решился закурить сигарету.

Василий посмотрел на часы и предложил:

— Юра, мне еще полтора часа до смены, зайдем, погоняем чаю, поговорим, — он сказал это так просто и спокойно, что я обрел уверенность, чувство равенства и сразу согласился.

Василий жил на Гаванской в старом капитально отремонтированном доме. Двухкомнатная квартира была совсем небольшой, но красивой. Почему-то старые квартиры всегда кажутся мне привлекательнее — выше потолки, шире подоконники, и сами окна имеют какую-то свою выразительность. Комната Василия была, пожалуй, немного меньше моей, но от строгого порядка, простой самодельной мебели, крытой теплой желтоватой эмалью, от таких же простых стеллажей с книгами и сделанного из буковых реечек на манер китайского фонарика абажура, казалась просторной и уютной.

Я не удержался и сразу же подошел к книгам. Здесь было много такого, чего не читал, а фамилии многих авторов были просто неизвестны. Я вытащил из ряда плотно стоящих книг «Три товарища» Ремарка, полистал и со вздохом поставил обратно, попросить не решился. Но Василий сразу спросил:

— Не читал?

— Нет, никак не мог достать.

— Так возьми. Я ее первый раз прочитал лет пять назад и, кажется, месяц ходил под впечатлением. Прекрасная книга! Только горькая, безысходная.

— Спасибо. Я быстро прочитаю.

— Можешь не спешить, и вообще такие книги нужно читать медленно, а когда торопишься, то не успеваешь подумать — проглатываешь и потом забываешь. Я тоже раньше так глотал, а потом, когда начал перечитывать некоторые книги, увидел, сколько всего просто пропустил, проскочил. Ведь в книге главное — не кто кого догонит или убьет, — Василий пристально и серьезно посмотрел на меня.

— Да, я понимаю.

— Прочитаешь, поговорим, обсудим, — он улыбнулся. — Пошли на кухню чай пить.

В кухне маленькая седая женщина приветливо улыбнулась мне.

— Мать, это — Юра, который пароход сконструировал.

— Здравствуйте. Александра Васильевна.

— Здравствуйте, — поклонился я.

— Ох, какой ты большой! Васин папа был такого же роста, а вот сын недотянул, — шутливо сказала она и посмотрела на Василия.

— Не огорчайся, при таком росте да с моим-то аппетитом тебе пришлось бы страпать целыми днями.

— Садитесь, богатыри, — Александра Васильевна с доброй улыбкой спросила: — Сколько же тебе лет, Юра?

— Пятнадцать, — я почувствовал, что уши начинают гореть.

— Ну да! — удивился Василий. — А я думал — семнадцать — восемнадцать.

Я промолчал. Да и что было говорить.

— Да, здоров же ты, — протянул Василий, но в его тоне не было ничего обидного.

Я смотрел на стены кухни, обшитые сосновыми планками, и мне было хорошо здесь. Мы попили чаю с домашним кексом и снова пошли в комнату.

— Садись, — Василий кивнул на тахту. — В шахматы играешь?

— Слабо, — я сел и по привычке подтянул колени к подбородку.

Василий опустился в самодельное кресло, сиденье которого было сплетено из кожаных ремешков.

— Так в каком же ты классе, я что-то не понял, — спросил он.

— Вообще-то в девятом, — неуверенно протянул я.

— А в частности?

— В частности... выгнали. Вернее, сам ушел, но... Да это вообще неинтересно, — попытался я прекратить неприятный разговор.

— Ничего себе неинтересно! Выходит, тебе безразлично, выгнали — не выгнали. А сейчас-то чем ты занимаешься?

— Да вот пока — ничем.

— Как это?! — Василий даже приподнялся в кресле.

— Всего две недели прошло... с лишним, — ответил я тихо.

— Так ты, когда уходил, что, не думал, чем станешь заниматься?

— Нет, просто второго не пошел, и все.

— Ничего себе, просто. Смотрю, тебе все неинтересно да просто. Ну-ка, расскажи, как дело обстояло, из-за чего все это. — Василий чуть наклонился вперед, взгляд его был требовательным, и я стал рассказывать. Старался говорить кратко и ничего не приукрашивать. В принципе, я рассказывал то же самое, что вчера Наташе, но почему-то под пристальным взглядом Василия слова теряли убедительность. И я в этой истории выглядел уже не столь героично. Где-то в конце рассказа я поймал себя на том, что и рассказать-то нечего, что я просто сбежал из школы самым тривиальным образом, сбежал от неуверенности и страха. Ведь если бы я был уверен в том, что смогу учиться хорошо, то никакие придирки Любаши, никакая ее неприязнь не смогли бы помешать мне. И к концу своего рассказа я все больше запинался и закончил совсем неуверенно, вернее, даже не закончил, а иссяк, как струйка воды из носика опустевшего чайника.

— Да, — сказал Василий, задумчиво глядя куда-то мне через плечо, — история... А что родители? У тебя и мать и отец живы-здоровы?

— Они ничего не знают.

— Да-а, — Василий прищурился, все еще глядя мимо меня, потом быстро взглянул на часы и встал. — Пора. Знаешь что, проводи меня, а по дороге поговорим. Я здесь, на Балтийском работаю.

День уже угасал, улицы казались пасмурными. С шумной Гаванской мы с Василием через проходные дворы вышли на Наличную, быстро миновали ее и замедлили шаг только на тихой Кожевенной линии. Я ждал расспросов, и мне, если честно, было невесело. Но Василий неожиданно стал рассказывать о себе.

— Знаешь, Юра, я тоже десятый класс с трудом дотянул... Отец внезапно умер, он ранен был тяжело в войну, ну а работал много, по врачам ходить не любил, и вот прямо в цехе его прихватило, даже до больницы не довезли... В ноябре как раз шесть лет исполнится... Год до пятидесятилетия не дожил. Я сразу хотел пойти в вечернюю школу и на завод, но мать упростила со слезами, чтобы закончил десятый класс. Я ведь в «корабелку» собирался поступать, — Василий шагал, опустив голову, высматривая что-то под ногами на темном асфальте узкого тротуара. — Да, сам понимаешь, первые две четверти мне ничего в голову не лезло, хоть девятый я окончил без «троек». После зимних каникул кое-как подтянулся. Закончил, и сразу на завод, друг отца взял к себе учеником. Об институте уже думать не приходилось, мать начала болеть. Вот только теперь снова стал думать об этом, весной буду поступать на вечерний. Матери до пенсии два года осталось, и здоровье у нее так, вроде наладилось, — Василий умолк, и некоторое время мы просто шагали, прислушиваясь к глуховатым заводским гулам из-за высоких заборов Кожевенной линии, и ощущали резковатые запахи старинных ремесел — запахи выделки кож и постройки кораблей. Я ни о чем не думал, просто было грустно и пусто на душе.

— Не годится, — вдруг сказал Василий, — не годится так, как ты, ничего не делать. У тебя же впереди интересное дело, ты можешь стать архитектором кораблей. Такая профессия! — Василий бросил на меня короткий взгляд, я потупился и почувствовал, как вдруг запнулось сердце.

«Архитектор кораблей», — повторил я про себя, с каким-то испугом и радостью открытия вдумываясь в сочетание этих слов. Машинально вытащил из смятой пачки кривую сигарету и закурил. Но голос Василия вывел меня из этой испуганно-радостной задумчивости:

— А получается вроде неладно: не учишься, не работаешь, но хорошо одет, сыт и нос в табаке... Сигареты ведь на родительские деньги покупаешь, своих-то пока нет. Выходит — иждивенчество, а это — последнее дело, как воровство... Вор хоть рискует — поймают, бока намнут и в тюрьму посадят, а иждивенец и не рискует ничем... Такие дела, брат Юра... — Василий искоса посмотрел на меня, я отвел взгляд. — Ты не обижайся, потому что я по-товарищески, откровенно тебе говорю. Мне кажется, что нам долго придется вместе заниматься работой, но это так, увлечение. А у человека должно быть свое настоящее дело. Я б не говорил всего этого, если бы увидел, что у тебя глаза отморожены и нет ни стыда, ни совести.

Я молчал, чувствуя, как под волосами тлеют уши. Да и что я мог сказать... Мне стало так тошно, что в пору было повернуться и рвануть

бегом по пустоватой Кожевенной линии. Во рту появился привкус старого железа, я бросил окуроч.

— Надо подумать тебе, Юра, — остановившись, сказал Василий, — потому что висеть между небом и землей нельзя. И не обижайся, лучше прямо все сказать, а то никакой дружбы не выйдет. А хотелось бы, чтоб она была... Приходи завтра днем в гавань, — он протянул мне твердую свою ладонь.

Болтаться по вечеряющим улицам было неприятно и забко, я побрел домой, завалился на свой диван и начал читать Ремарка. Я прочитал, как господин Локамп рано утром пришел в гараж и застал старуху уборщицу пьяной, а бутылку коньяка — пустой, но не рассердился, а еще налил уборщице рому («Выдержанный, старый, ямайский!»), потому что у него был день рождения. Дальше чтение не пошло. У меня тоже был день рождения — совсем близко, — но не было причин испытывать радость от этой даты, не было ямайского рома, и вообще все обстояло хуже некуда. Я отложил книжку и стал глядеть в потолок, перебирая в голове впечатления дня.

Как-то теперь не казалось радостным знакомство с Василием, после него что-то еще больше запуталось в моей жизни, еще одним огорчением стало больше, потому что Василий не станет водиться со мной. Предложение строить вместе пароход Василий делал человеку, имеющему свое занятие, серьезному, — он не знал, что я — всего лишь пятнадцатилетний разгильдяй, и ж д и в е н е ц...

«Архитектор кораблей! — повторил я про себя и криво усмехнулся. — Пижон несчастный». И тут я подумал, что ведь, правда, неплохо было бы стать специалистом по архитектуре судов, что это замечательная профессия, только очень трудная, потому что ей почти нигде не учат — готовя просто дизайнеров широкого профиля. Смутно мелькнул в памяти пасмурный летний день, когда я, измаявшись от скуки, перешел мост Лейтенанта Шмидта, постоял возле Медного всадника, потом прошел вдоль всего фасада Адмиралтейства, обращенного к Невскому и Александровскому саду, пересек Дворцовую площадь, постоял возле портика Нового Эрмитажа на улице Халтурина... возле этих атлантов, высеченных из серого гранита, отполированного до мокрого блеска, всегда кажешься себе пигмеем и в то же время испытываешь гордость, будто сам создал этих угрюмых каменных парней, которые держат террасу на согнутых руках...

В тот день я брел без всякой системы и цели и, пройдя Марсово поле и миновав Инженерный замок, очутился в Соляном городке (вернее, бывшем Соляном городке — когда-то здесь были соляные склады, перестроенные потом для Всероссийской промышленной выставки, а теперь — завод «Электропульт»). С Соляного переулка я подошел к парадному входу Художественно-промышленного училища имени Мухиной. Большое красочное объявление приглашало на выставку дипломных работ выпускников училища: «Вход свободный». И я вошел, поднялся по мраморной парадной лестнице и ходил по залам, хранящим неувольнимым запах скипидара и масляных красок. Я осматривал скульптуры и мозаичные панно, резьбу по дереву и чеканку по меди, ювелирные украшения и керамическую посуду, дивился на причудливые переходы и лесенки старинного здания, ощущал беспредельность главного зала с высокими хорами, — все было

интересно, и прошла скука, но в одном небольшом зале я вообще позабыл обо всем на свете: на белых стендах стояли модели подъемных кранов — гусеничных, плавучих, порталных, — стояли модели легковых автомобилей, модели телефонных аппаратов. А после автомобилей и телефонных аппаратов стояли три судна. Речной экскурсионный теплоход, разъездной катер и рейдовый буксир. «Дипломная работа Самохиной, Фирсова, Корчикяна, Вдовиной». Я не понял тогда, красивы или некрасивы эти маленькие суденышки — уменьшенные копии любых таких вещей всегда выглядят привлекательно, — но меня поразило другое: под фамилиями авторов было написано, что эти проекты приняты к серийному производству на судостроительном заводе.

Так вот, после знакомства с Василием и нашего разговора я лежал на диване в своей комнате, глядел в потолок и думал о том, что есть же на свете люди, которые занимаются архитектурой кораблей, что это не просто сказка, выдуманная мной... Я боялся даже вообразить себя на их месте, но уже понимал, что больше всего на свете меня привлекает именно это дело, и тут я, кажется, впервые задумался о будущем.

Если вам пятнадцать, а вы еще не задумывались над будущим, то вам нужно хотя бы понять, почему так получилось, и тогда прежде всего вам придется разобраться в смысле самого понятия «будущее». Вы начинаете думать над этим вопросом, а он, в свою очередь, тянет за собой другие, и постепенно становится ясно, что если вы не распутаете эти вопросы, то так и останетесь пятнадцатилетним на всю жизнь. А вам охота побыстрее вырасти, а это значит — прежде всего не врать себе, может быть, врать себе не больше, чем другим.

Я где-то читал, что первобытные люди не знали понятия «будущее», они в лучшем случае представляли себе лишь завтрашний день и ложились спать в первой подвернувшейся пещере в обнимку с полубоглоданной костью добытого животного, чтобы завтра поглодать ее снова. Вот эта кость с остатками мяса и была для них «завтра». А я не думал даже о завтрашней кости, потому что по утрам меня ждали бутерброды, приготовленные материнскими руками, и «завтра» представлялось мне пространством, наполненным светом; в этом пространстве я прыгал возле волейбольной сетки, чтобы сильнее хлестнуть по мячу развернутой ладонью; в этом пространстве находился класс, где мне вдальблывали в голову разные премудрости, я с грехом пополам запоминал кое-что, но не представлял себе, зачем. Мои интересы на «завтра» были шире, чем у первобытного человека, — я думал о мороженом и сигаретах, ботинках «плей-бой» и фирменных штанах, но это не было Будущим, это было все той же полубоглоданной костью, в которой для первобытного человека овеществлялся весь вожденный мир. А если я и думал о более отдаленном времени, то оно представлялось мне вереницей картинок из журнала мод. Я — высокий мужчина с выражением спокойного превосходства на лице — стою на палубе океанского лайнера, посасывая прямую коричневую трубку... Или я мчусь на спортивном «феррари» цвета свежего яичного желтка, вдоль дороги мелькают пальмы и магнолии, а приемник (конечно, стерео) доносит в меру веселую музыку... Я никогда не задумывался, откуда на мне модный пиджак, на какие

шиши куплена трубка, табак и машина, — я не задумывался над тем, кто я. Я был первобытным человеком. И только сегодня, после разговора с Василием я начал догадываться, что будущее — это не картинка из журнала мод.

Я вдруг разозлился на себя и еще почувствовал стыд и страх, потому что представил себе, как отнеслись бы ко мне знакомые и даже незнакомые люди, если бы каким-то образом смогли увидеть эти картинки из журналов, которые я считал будущим... Наверное, на меня показывали бы пальцем, а скорее всего заперли бы в сумасшедший дом... В полумраке комнаты мне даже стало душно от липкого жаркого стыда, кулаком я утер повлажневший лоб. Я не мог больше быть один, и даже давно утратившая привлекательность компания сейчас показалась спасением. Я прихлопнул дверь квартиры и почти бегом пустился вниз по лестнице.

Из-за темной стены боярышника возле трансформаторной будки не доносилось ни звука. Я прошел сквозь кусты и сел на дощатой скамейке возле стола. Плотно сколоченные доски столешницы поблескивали, отполированные руками стариков доминошников. И я позавидовал им, потому что у них все позади, и никуда не нужно стремиться, ни о чем — беспокоиться. И я подумал о том, как лет через пятьдесят, сгорбленным стариком буду сидеть за этим столом и шевелить кости домино... мне стало жутко, до тошноты тоскливо. Я и так провел на этих скамейках возле будки черт знает сколько вечеров, так неужели это и есть мое будущее, моя судьба?!

Раньше, с год назад, среди пенсионеров каждый день бывал однорукий, потом он умер. Молчаливый, не улыбчивый человек, лицу которого большие кустистые брови придавали угрюмое выражение, он сосредоточенно тасовал кости единственной рукой и вел игру серьезно и упорно, будто делал очень важное дело. Другие старики, видимо, побаивались его, не любили играть с ним в паре, потому что после неудачного хода он мрачнел еще больше, тяжелым взглядом смеривал партнера и шевелил сухими губами, будто бормотал про себя что-то презрительное, уничтожающее. Мы, честно говоря, относились к старикам доминошникам с пренебрежением, особенно к однорукому, да и можно ли было относиться иначе к человеку, для которого игра в домино — самое важное в жизни. А потом однорукий умер; был конец лета или уже началась осень (точно не помню), но когда его повезли хоронить, день был ясный и солнечный. И вот тогда я узнал, что у молчаливого угрюмого человека было много друзей. К третьему корпусу нашего дома подали шесть автобусов, на похороны пришло много военных — майоры, полковники, из квартиры на плечах вынесли красный гроб, поставили его в головной автобус, а венков было столько, что в этот автобус смогли сесть всего четыре человека, но что поразило больше всего — это красные подушечки с орденами. Я не смог сосчитать, сколько же было у однорукого орденов и медалей.

И вот сейчас, сидя в тишине осеннего вечера за отполированным костями домино столом, я с тоской вспомнил об этом незнакомом человеке, о его смерти и понял, что я никогда не буду таким, как он. У него за плечами была война, награды и тяжелое ранение — большая и трудная жизнь, а в домино во дворе он играл, потому что был стар и болен, но, наверное, он прожил свою жизнь так же серьезно

и страстно, как играл в эту немудреную игру. А я, кажется, начал свою жизнь с того, чем однорукий закончил ее — с этого закутка возле трансформаторной будки, и если я просижу здесь, сначала с гитарой, потом — за костяшками домино, то можно ли будет это назвать, ну, не Жизнью, а хотя бы жизнью с маленькой буквы...

Не мог я больше сидеть в этом боярышниковом закутке, кончился какой-то кусок моего существования, и я уже знал, что не приду к трансформаторной будке никогда. Я поднялся, в последний раз оглядел грубо сколоченные стол и скамейки, обвел глазами задний фасад второго корпуса. Там светилось Наташино окно.

6

На площадке четвертого этажа у двери квартиры тридцать шесть я вдруг засомневался, нужно ли звонить, окажется ли кстати мой приход. И, наверное, резковато нажал кнопку, потому что звонок прозвучал неожиданно громко и гнусаво, и захотелось убежать. Дверь открыла Наташа.

— Здравствуй. Может, я — не вовремя? — голос мой внезапно сел.

— Здравствуй. Ну, что ты! Проходи, — она протянула руку, взяла меня за кисть и втащила в коридор. Я наклонился, чтобы снять ботинки.

— Да не надо, — сказала Наташа. — У нас можно так. Пошли ко мне.

Я, наверное, очень волновался, потому что в первый момент не увидел в комнате ничего, кроме раскрытого пианино, и нелепо застыл посередине, стараясь не зацепить головой шарообразный розовый плафон.

— Садись, Юра, — она посмотрела снизу вверх мне в глаза, улыбнулась, тряхнув головой, и легко колыхнулись волосы, вспыхнув на миг бронзовым искристым мерцанием.

Я сел на стул возле пианино.

— Чаю хочешь? — она все еще стояла посреди комнаты.

— Нет, спасибо.

— Ну?

— Честно, не хочу, — сказал я и почувствовал себя спокойнее. — Сыграй лучше что-нибудь.

— Сыграю потом. Ты сначала расскажи, как дела.

Наташа села на черную круглую табуретку перед инструментом, вопросительно посмотрела.

— Дела? — переспросил я и стал оглядывать комнату: узкая тахта, этажерка с книгами и нотами, «Ригонда» — стерео, еще этажерка, полная дисков, портрет Шостаковича, маленький письменный стол. — Дела, — повторил я, так и не придумав, что ответить, и чувствуя на себе вопросительный взгляд.

— Ты соображаешь? Так же нельзя, время уходит. Ну, я не знаю... может, надо попробовать перейти в другую школу... Да не молчи, Юра!



Я ничего не ответил, просто глядел в навощенный пол и слышал, как Наташа встала и заходила по комнате, потом в поле зрения появились красные домашние туфли, они повернулись носками ко мне и остановились.

— Ты представляешь, что будет, когда это затянется, а потом все узнают родители?

— Представляю, — я не поднял головы.

— Может, ты вообще не думаешь учиться дальше?

— Думаю.

— Тогда каким образом?

Я поднял голову, Наташа стояла прямо передо мной, и мне нечего было ответить.

— Какая разница, каким образом... Вот возьму, выучу два класса за год и сдам экстерном, — сказал я и почувствовал, что капли выступили на лбу, и вдруг веселая злость обуяла. — Что, думаешь, не смогу?

— Не знаю, — Наташа, задумчиво опустив голову, прошла по комнате, села за пианино. — Если будешь заниматься, наверное, сможешь.

— А вот посмотришь. Закончу за год и поступлю в Мухинское, — твердо сказал я и сам поверил, что так и будет, от этого мне стало легко и весело. Я вздохнул, будто сбросил надоевшую тяжесть, и засмеялся.

— Ох, и трудно тебе придется, — тихо сказала она и положила руку на клавиши. — Я-то не смогу тебе ничем помочь, у нас программа растянута на одиннадцать лет... А вот — ты только не дергайся — папа смог бы, он же математику преподает в Горном.

— Нет, я — сам. Ну, если только застряну на чем-нибудь, попрошу помочь разобраться. А вообще спасибо тебе.

Она ничего не ответила, повернулась вместе с вращающимся сиденьем табуретки так, чтобы сидеть прямо перед клавиатурой, и я даже не заметил, как она начала играть. Просто будто откуда-то издали прозвенели тонко-тонко маленькие стеклянные колокольчики — так звенят елочные игрушки, когда неосторожным движением заденешь ветку разубранной елки. Там-ти-та-там — снова повторили свой отдаленный звон стеклянные колокольчики, сдержанно отозвались близкие басы, и вот музыка уже заполнила комнату до самого потолка и вошла в меня светлой задумчивостью. Я смотрел на чуть запрокинутое отрешенное лицо Наташи и что-то думал, только без всяких мыслей, без всяких слов. Я забыл про себя, про свои руки и ноги, я просто растворился в розоватом свете плафона, в спокойных колебаниях обоев этой комнаты, в звуках пианино, в сумерках за окном... Где-то недалеко тихо плескала в гранит вода залива, по Морскому каналу в открытое море уходили суда, прохладный балтийский ветер вентилировал вечерние улицы, и все это тоже был я...

Музыка оборвалась внезапно, но я еще несколько секунд пребывал в задумчивом оцепенении, потом будто проснулся и увидел все на прежних местах, но лицо Наташи было уже не прежним, а другим — не могу сказать, каким, только я сразу понял, что она ни на кого не похожа, что я теперь всегда буду помнить ее лицо и думать о нем — что бы ни случилось.

— Знаешь, я ничего не понимаю в классической музыке, но, по-моему, это здорово. Прямо гипноз какой-то. Еще, пожалуйста.

Наташа улыбнулась, поправила волосы.

— Так больше не получится, потому что я буду стараться, чтоб — не хуже. А когда стараешься, то получается плохо. Этот ноктюрн мне первый раз вот так удался, — она опустила лицо и стала играть что-то легкое, медленное.

Я ждал, когда же снова придет это состояние светлой задумчивости, но оно не приходило. На крышке пианино лежал большой альбом в переплете из грубого коричневого холста, в таких альбомах обычно делают зарисовки художники. Я вообще неравнодушен ко всякой бумаге и альбомам, а фактура этого грубого холщового переплета как-то особенно манила потрогать. И я тихонько протянул руку, чтобы не отвлечь Наташу от игры, взял альбом и раскрыл его. Это была нотная бумага, а форзац был превосходного мелкозернистого и тонкого картона снежной белизны, такой картон в книгах о технике и материалах живописи почему-то называется бристо́льским.

Наташа играла, плавная мелодия, казалось, медленно кружится по комнате под розовым шарообразным плафоном. А чуть опущенное лицо полузакрыто искристыми прядями волос, и взгляд обращен внутрь, в себя. Я видел ее лицо в три четверти, одна волнистая прядь, струившаяся вдоль щеки, была совсем золотая. Я вытащил из кармана фломастер и стал рисовать на бездонной белизне бристо́льского картона это лицо. Первый же штрих пряди волос лег вдоль щеки на мелкозернистую поверхность легко, без дрожи в руке, будто не я провел его, а он сам, по своей воле возник на листе. Потом так же рука, будто без участия моей воли, вывела чуть выпуклую линию наклоненного вперед лба, мягкую, но четкую прямую носа, и что-то комком встало у меня в горле, — я понял, что впервые делаю не чертеж, а рисую, рисую по-настоящему, и перестал слышать звуки пианино. Я только коротко взглядывал на Наташу, а рука стремительными штрихами выявляла из белой глубины картона ее задумчивое лицо. Дышать было трудно, будто я долго и быстро бежал. Четырьмя размытыми линиями я наметил уголки воротничка, из которого всходила высокая шея, и понял: все! В правом нижнем углу листа я поставил дату и размашисто, жирными буквами подписал: Ю. Смольников, как это делают настоящие художники. И только тогда услышал, что в комнате тишина.

Наташа подняла голову.

— Ты чего мне альбом портишь? У меня была одна надежда, что если я когда-нибудь сочини симфонию, то только благодаря этому альбому. А ты лишил меня надежды стать Моцартом, — она улыбнулась.

— Не волнуйся, я нотную бумагу не трогал. Просто подумал, что симфонию нужно снабдить портретом композитора. А то как-то нехорошо получается: Моцарта все знают, а вот Наташу — как твоя фамилия?..

— Власьева, — улыбка ее стала шире.

— А вот маэстро Власьева человечеству неизвестна. Я и решил запечатлеть тебя для потомков, — я небрежно захлопнул альбом и

протянул ей. — Если одобришь, то каллиграфически надпишу — композитор Власьева.

Она недоверчиво посмотрела и взяла альбом, раскрыла его на коленях, потом наклонилась, всматриваясь в рисунок, и все лицо ее заполыхало румянцем, таким ярким и светлым, какой бывает только у очень белокожих людей. Наконец она подняла голову, как-то странно, будто удивленно посмотрела на меня и сказала тоном учительницы:

— Смольников, тебе обязательно надо учиться, у тебя большие способности, может быть, даже талант, ты просто не имеешь права не учиться, — она сказала это так серьезно, с такой назидательностью, что я не вытерпел и рассмеялся, хотя, честно говоря, был польщен.

— Ну, если ты говоришь, то, наверное, это так и есть, — сказал я. — Только у твоего альбома способности больше. Если б не бристольский картон на форзаце — ты бы у меня вышла, как баба-яга.

— Я серьезно тебе говорю.

— И я — серьезно. Просто тебе понравилось, и получилось удачно.

Она положила альбом на прежнее место — на крышку пианино. Потом, стоя ко мне спиной, негромко сказала:

— Знаешь, мы ведь и незнакомы почти, но кажется, что я знаю тебя очень давно, будто мы всегда учились вместе и жили в одном доме на Петроградской.

Мне стало как-то не по себе, и я спросил первое, что пришло на ум:

— А чего вы уехали оттуда?

Наташа повернулась ко мне лицом, помолчала, потом нехотя ответила:

— Брат у меня старший, Володя... Понимаешь... Учиться не хотел, работать не любил... Отслужил в армии, женился, ребенок у них родился — девочка. А он стал пьянствовать... Все говорил, что из-за нас, что мы не даем ему жить самостоятельно. Вот папа с мамой и решили поменять квартиру, чтобы Володе с семьей комнату выделить. У нас на Петроградской большая квартира была, там еще папа родился... А теперь он и вообще спивается, больше двух месяцев ни на одной работе удержаться не может. Кому нужен шофер-пьяница... — Наташа вдруг заплакала. — И мучает всех, и мать с отцом, и жену... — она повернулась к пианино, положила подбородок на верхнюю крышку, всхлинула.

Я не знал, что говорить, что делать, только смотрел на вздрагивающие Наташины плечи и чувствовал, как у самого покатывает в носу. И чтобы хоть как-то разрядить обстановку, сказал:

— Ты не расстраивайся. Может, еще выправится.

Наташа повернулась ко мне, тылом ладошки вытерла мокрые блестящие глаза.

— Мы уже потеряли надежду, — она помолчала, опустив голову, потом быстро взглянула на меня. — А знаешь, какой он был способный — абсолютный слух, музыкальная память... Все пропил. — Она снова отвернулась и глухо сказала: — Теперь понимаешь, почему я прошу, чтобы ты перестал бездельничать?

— Да, — сказал я, — понимаю. Я постараюсь. Считай, что дал слово.

— Хорошо. Ты приходи в любой день, — отозвалась она тихо, стоя все так же спиной ко мне и опершись на верхнюю крышку пианино. Я понял, что пора уходить.

7

Перед тем как вернуться домой, я долго болтался по улицам. Дул устойчивый западный ветер, и вода в Неве заметно прибывала, маслянисто поблескивая желтыми бликами фонарей, и, как всегда в нагонные наводнения, осенний воздух был особенно влажным от мельчайших пылинок воды, которые ветер срывал с гребешков волн где-то далеко на плесах Финского залива, поднимал ввысь и нес в вечерний город.

Я бродил по невским набережным, всей кожей лица ощущая сырость ветра, пахнувшего морскими отмеями, и, пожалуй, не думал ни о чем. Я просто собирался, концентрировал спокойствие и решимость, как перед выходом на волейбольную площадку для игры с трудным соперником. А я знал, что мне предстоит кое-что посерьезнее, чем спортивная игра. И ко мне приходило спокойствие, большое и сумрачное, как город в этот час, потому что моя решимость перестала быть будущим, будущее превратилось в настоящее. Я бродил мимо судов, пришвартованных у стенки набережной Круженштерна, и думал о своем настоящем, о Наташе, о Василии. Теперь я не чувствовал одиночества, у меня была цель, были друзья.

Домой я вернулся поздно, умиротворенный, уверенный, с чувством спокойной новизны в душе, — словом, сам себе казался другим человеком. Родители уже спали. В последнее время они рано ложились, потому что мать чувствовала себя не очень хорошо и к вечеру сильно уставала, отец же вставал чуть свет и неся в институт — опять у него был новый проект и какие-то идеи сверх технического задания, которые нужно было проверить вместе с группой в нерабочее время.

Сняв в прихожей ботинки и всунув ноги в шлепанцы, я проскользил по навощенному паркету к себе в комнату. Включил маленький плафончик над диваном, специально приспособленный для ночного чтения, и стал стелить постель. Обычно я никак не относился к этой пустой процедуре: стелил простыню, кидал подушку, потом доставал из тумбы одеяло. Да и вообще, ни один нормальный человек, наверное, не задумывается над такими элементарными действиями, но я поймал себя на том, что испытываю удовольствие от этих движений, от того, как ровно, без морщин посталась простыня, как встрепенулось при взмахе и опустилось пушистое одеяло в хрустом накрахмаленном пододеяльнике... Я прислушался на миг к этому ощущению легкого удовольствия, понял, что оно связано с тем, что я — уже не вчерашний неудачник, а завтрашний целеустремленный человек, и улыбнулся сам себе в полутьме, стаскивая через голову ру-

башку, — это уже вошло в привычку, а по утрам приходилось расстегивать пуговицы. Я бросил рубашу на спинку стула и вдруг увидел на столе какой-то незнакомый темный предмет величиной с книгу среднего формата. Внутри пробежал холодок, я шагнул к столу, наклонился и застыл, не веря своим глазам.

Посредине желтой столешницы, на которой в полутьме змеились неясные линии, оставленные шариковой ручкой, лежал японский портативный магнитофон-кассетник. Я ошалело сморел на полукрытый футляр из пупырчатой черной кожи, смотрел на красные и белые клавиши управления и даже не мог дотронуться до этого чуда, о котором столько мечтал. Рядом лежала красно-голубая книжечка-инструкция. Я открыл ее, но не стал разбирать английский текст, потому что наискосок по картинке, изображавшей магнитофон, почерком отца написано: «Дорогому Юре — в день рождения. Расти большим, но умным. Мама и Папа».

Да, пожелание было в стиле отца... Я положил книжечку на стол, и такая горечь вдруг нахлынула, что я чуть не заревел, как ребенок.

Я залез под одеяло и сразу погасил свет. Читать не хотелось. Я лежал в темноте с открытыми глазами, смотрел на светло-серые блики от дальних дворовых фонарей, на стенке возле двери туманно вырисовывалось перекрестие оконного переплета. Я лежал и задыхался от горечи и стыда. Ну, какого черта отцу вздумалось дарить этот магнитофон именно сейчас! Сейчас, когда даже завтрак или обед кажется мне ворованным... Уж лучше бы отец узнал о моих делах, обозвал бы иждивенцем, как Василий. А он взял и преподнес магнитофон. Я словно получил неожиданный удар в поддых, и этот ударчик нужно было вынести, не корчась и молча... Я знал, сколько стоит этот проклятый магнитофон, знал, что у матери совсем старое зимнее пальто и деньги откладывались на покупку нового. И вот на тебе... Любимый сынок...

Мне было так тошно, что я готов был выкинуть магнитофон в окошко и сам нырнуть вслед за ним. Но разве этим можно было что-нибудь изменить? Я стал думать о своих родителях. Раньше я никогда не думал о них по-настоящему, не задавал себе вопроса, как они живут, что они за люди. Может быть, не совсем так: конечно, я думал о них, но все-таки воспринимал их иначе, чем других людей. И вот, лежа в темноте, я вдруг осознал, что родители мои — очень добросовестные люди, которые всегда, во всем выполняли свой долг, но так обыденно и просто, что я даже не замечал этого. Я не помню за всю свою жизнь, чтобы отец хоть раз безразлично отнесся к какому-нибудь своему проекту, чтобы он хоть раз нехотя пошел на работу. Мать тоже болела за свою работу, хотя никакого творчества в ней не было. Мать просто составляла сметы в строительном управлении. Но все равно она думала, что если не пойдет на работу, то земной шар перестанет вращаться... А матери приходилось, пожалуй, потяжелее, чем отцу. Даже когда она болела, мы с отцом не оставляли без обеда, мои рубашки были всегда выстираны и отглажены. Только теперь я понял, что меня даже за картошкой посылали в исключительных случаях. А отец всегда, возвращаясь с работы, рыскал по магазинам и приходил с полной кошелкой. Только я был избавлен от

всяких забот и обязанностей, у меня были одни желания. И, кажется, на родителей я смотрел лишь как на людей, которые исполняют мои желания или мешают их исполнению...

Я корчился от стыда в темноте моей комнаты и казалось, что даже во мраке вижу этот магнитофон, лежащий на столе как молчаливый укор. Стыдное, унижительное слово «изживенец» вставало в памяти, и кровь жарко прилиwała к лицу.

С утра я пошел к Василию. Понимал, что все это не совсем удобно, раз договорились встретиться днем в гавани, но не мог утерпеть — мне необходимо было поговорить с ним, сообщить о своем решении. Я уже не мог обойтись без этого человека, с которым был знаком всего один день. Но разве важно — один день или тысячу лет, если вы чувствуете, что человек — ваш друг, настоящий друг. И я пошел на Гаванскую.

Василий встал, видимо, рано. Когда он ввел меня в комнату, я заметил на письменном столе раскрытый учебник по физике, тетрадь с записями.

— Вот занимаюсь потихоньку, а то все позабыл, — со смущенной улыбкой объяснил Василий. — У тебя что-нибудь стряслось? — жестом он указал на кресло.

— Нет. То есть да. — Я сел и испугался, что плетеные ремешки сиденья не выдержат.

— Рассказывай. — Василий сел напротив, внимательно и хмуро взглянул на меня.

— Я решил, что буду заниматься!

— Не понял?

— Ну, сам, в библиотеке, — я взялся за подлокотники кресла, выпрямился. — Пройду за год всю программу за девятый и десятый и буду сдавать экстерном. Я слышал, что так сдают.

— Я тоже слышал. У нас один парень из цеха сдавал. Но знаешь, каким для этого настырным нужно быть? — Василий чуть склонил голову набок и усмехнулся: — А ты вот вечером подумал, решил — а завтра скинешь.

— Не скину.

— Ты уверен?

— Мне просто отступать некуда, я слово дал.

— Слово? Это кому? — Василий улыбнулся шире.

— Так, одному человеку, — мне не хотелось рассказывать о Наташе.

— Девушке, что ли? И нечего тут смущаться. Раз дал слово, надо держать. Только слово дать легко.

— Да разве в этом дело! — вдруг вырвалось у меня. — Я просто сам не могу так больше! И родители...

— А что родители? Что они тебе плохого сделали? — помрачнел Василий.

— Ничего! Вот именно — ничего! — почти закричал я.

— А чего ты психуешь?

— Да... Пришел вчера вечером домой...

— И что?

— А меня подарок ждет, — и рассказал Василию про магнитофон, про то, что у матери старое пальто. Вообще — про все, что передумал прошлой ночью.

— Ну и дела, Юра. Деваться, действительно, некуда, — он с сочувствием взглянул на меня. — Знаешь, кое-чем я смогу помочь. Я ведь тоже занимаюсь. Будет чего-то непонятно — приходи. Попробуем вместе разобраться. Мне тоже полезно. Только вот одно дело... Как бы это сказать, — Василий прищурился, глядя куда-то вдаль. — Понимаешь, все это ты хорошо придумал, но получается как-то неладно. Формально — пусть только так — ты же никаким делом не занимаешься.

— Как это — никаким делом? Я же буду заниматься.

— Все верно — с одной стороны. А с другой, получается все-таки, что не при деле. Ну вот, представь себе, что отзанимался год, а потом заболел и не смог сдавать, да и вообще, мало ли чего случится. И что ты потом будешь объяснять, когда спросят, чем ты целый год занимался?

— Да, — согласился я, — получается, что год буду деклассированным элементом.

— Вот именно, — твердо отозвался Василий. — Ну, прикинь. Ты стал самостоятельным человеком. Не по возрасту, конечно. Но принял ответственность. Раньше за тебя школа отвечала и родители. Школу ты бросил, у родителей совета не спрашиваешь — значит, принимаешь все решения сам и всю ответственность за себя — тоже. Так?

— Так, — хмуро ответил я, не понимая, куда он клонит.

— Хорошо. Вот ты про магнитофон говорил, но это — подарок. А прикинь, сколько вообще на тебя тратится денег... Короче говоря, если решил быть самостоятельным, то надо работать, зарабатывать, ну хотя бы на сигареты — целиком-то на себя тебе не заработать.

— Это почему?

— А что ты умеешь делать?

Отвечать было нечего.

— Так что, Юра, хочешь — не хочешь, надо на работу устраиваться. Работать и заниматься. Вот тогда ты — самостоятельный человек. И даже не так важно, за год или за два ты закончишь школу, главное, что — сам.

Я поднялся с кресла, спросил:

— Ты будешь сегодня в гавани?

— Да, зайду перед работой, немного покопаюсь.

— Ладно, я пошел. Куплю программы и постараюсь найти работу.

Я вышел в сентябрьскую пасмурность и не спеша зашагал по Большому проспекту. Неизменный вот уже несколько дней западный ветер дул мне в затылок, ерошил волосы. Я поднял воротник куртки, повыше подтянул «молнию», но все равно было неуютно — и вовсе, наверное, не от ветра и пасмурности. Просто я вдруг почувствовал, а может быть, и осознал только теперь, что взял на себя очень много. Так много, что только держись. Я никогда не думал, что самое трудное — это решать самому. Раньше, всю мою жизнь, решал не я —

решали учителя, родители, и еще тысячи людей, которых я даже ни разу не видел и не знал. Они растили и пекли хлеб, эти люди, водили автобусы, шили одежду, вырабатывали ток, покрывали асфальтом улицы, строили дома и плыли по морям. Они *решали* — решали, какой будет жизнь, в частности — и моя жизнь. А я только ел, лодырничал и спал.

Если в одно дохленькое осеннее утро вы вдруг осознаете, что вам пятнадцать лет от роду, а вы еще не жили, а только существовали все эти пятнадцать лет, что самое крупное решение, которое вы принимали в своей жизни — это свернуть в ту или иную улицу в окрестностях вашего дома (вернее, дома ваших родителей, потому что *ваше* у вас нет ничего, кроме прыщей на подбородке, даже штаны на вас — не ваши, а куплены родителями), когда вы бездумно шляетесь вечерами и воображаете, что мир задолжал вам на тысячу лет вперед. Вот когда вы это осознаете, когда поймете, что все пятнадцать лет вашего существования были лишь одним шагом к вот этому серенькому дымному утру, то тогда у вас на самом деле день рождения. Но это не памятная дата о событии, которое произошло пятнадцать лет назад без вашего ведома и желания, — это настоящий день рождения, когда вы принимаете на себя всю ответственность за жизнь, которая у вас впереди и, может быть, за жизнь, которая впереди у тысяч людей.

У меня эти две даты совпали — день моего появления на свет пятнадцать лет назад и день моего рождения. Но я не испытывал ликования. Я всего лишь родился, и предстояло серьезное дело — жить.

Я люблю ходить по городу пешком, я принципиальный пешеход. Но теперь у меня уже не оставалось времени на прогулки — на углу Шестнадцатой линии пришлось сесть в троллейбус. Доехал до угла Невского и Владимирского проспектов и пошел на Загородный, где был специализированный магазин педагогической литературы. Там я рассчитывал купить учебные программы. Я брел по узкому, наполненному транспортом проспекту, мимо лавок, закусочных и парикмахерских, рассеянно глазел на вывески и витрины, на газетные киоски. На углу какого-то переулочка увидел застекленную доску: «Приглашаются на работу». Я подошел, чуть пригнулся и стал читать. Требовались токари, фрезеровщики, слесари и шоферы, бухгалтеры на какой-то самостоятельный баланс, опытные машинистки, инженеры-электрики с оплатой по первой категории. Я не был ни токарем, ни шофером, не умел балансировать самостоятельно и уж давно не годился в опытные машинистки. Лишь в самом низу считалось подходящее.

Подогнув колени, я прочитал: «Овощной базе требуются рабочие на переборку и погрузку овощей и фруктов. С предложениями обращаться в Бюро по трудоустройству или в отдел кадров...» Бюро по трудоустройству было здесь же, неподалеку, и поэтому я решил обратиться туда.

Бюро это помещалось в полуподвальном этаже старинного дома, вниз к дверям вела узкая каменная лестница. Я открыл довольно обшарпанную дверь и вошел в хмурый коричневый коридор, ткнулся в первую дверь и попал как раз куда нужно.

Штора закрывала окно, не было впечатления, что это — полу-подвал. Светили трубки дневного света, на стенах висели увеличенные слайды каких-то строек, заводов, зданий. За письменным столом сидел толстый пожилой человек и, низко склонившись к столешнице, быстро подписывал толстым карандашом какие-то листки бумаги, а потом складывал их в раскрытую папку.

Я поздоровался.

— Здравствуйте. Проходите, пожалуйста, — человек за столом выпрямился, надел очки и посмотрел на меня. — Садитесь, — указал он на стул перед столом.

Я сел, стал ждать вопросов, но человек молча смотрел на меня.

— Вот, прочитал объявление, что на овощебазу требуются рабочие, — пришлось первым начать мне.

— Требуются, требуются, — быстро, как бы соглашаясь, сказал человек и закашлялся, потом утер рот красным мятым платком и спросил: — Временно или постоянно?

— Что? — не понял я.

— На постоянную или временную работу хотите поступить? — чуть повысив голос, сварливо спросил человек.

— Не знаю, — подумав, ответил я.

— Молодой человек, я вас понимаю, вы хотите подзаработать. На карманные расходы, так сказать. Но сколько времени вы собираетесь это делать — месяц, два, год?

Я быстро прикинул в уме и ответил:

— Семь месяцев, до мая.

— Хорошо! — обрадовался толстяк. — Теперь все понятно. Мы можем предоставить вам работу на семь месяцев. Вы больше нигде не работаете?

— Нет.

— И не учитесь?

— Нет.

— Прекрасно! — он достал из ящика стола графленый лист сероватой бумаги. — Вот, заполните анкету. Там, за столиком, — рукой он показал на маленький столик у стены. — А потом выпишем вам направление — и, пожалуйста, богатеите сколько душе угодно.

Я взял анкету и пересел к столику, а толстяк снял очки и снова низко склонился к столешнице.

Имя. Фамилия. Год и место рождения. Все это я помнил, а вот в графе «профессия» написать было нечего, и, подумав, я написал: «Архитектор судов», и в скобках поставил: «Будущая». Образование, место жительства, прежние места работы — с этим тоже все было ясно. Я подписал первую в своей жизни анкету, встал и подал ее толстяку.

— Так-с, — он положил лист перед собой, — сейчас оформим вам направление, — и наклонился, чтобы прочитать мою писанину.

Я сел на стул возле письменного стола.

— Постой, постой? Какого ты года рождения? — толстяк выпрямился и торопливо стал надевать очки. Одна дужка не попала за ухо, но он не заметил этого.

— Там же написано — шестьдесят первого.

— Ну, знаешь, дорогой! Зачем голову морочить занятым людям? — он взял со стола мою анкету, скомкал и бросил куда-то вниз за стол — там, наверное, у него стояла корзина для бумаг.

— А что случилось?

— Ничего не случилось, милый ты мой дорогой, — сказал толстяк громко. — Детям учиться надо в школе. Что, тебя кормить некому? Нет мамы, папы?

Я начал злиться.

— Я вовсе не ребенок. И при чем тут мама или папа? Просто хочу работать. Может, у меня обстоятельства...

— Не могу, не имею права брать на работу до шестнадцати лет, понимаешь?

— Но мне очень нужно.

— Нужно. — Он внимательно посмотрел на меня, за стеклами очков глаза казались совсем маленькими. — Приводы есть?

— Какие приводы?

— Ну, в милиции состоишь на учете?

— Зачем? При чем тут милиция?

Он покачал головой.

— Если бы числился в детской комнате, тогда через горисполком еще что-то можно сделать. А так — нет, — он вздохнул сокрушенно. — Никто не возьмет, и не ходи — только время потеряешь. Закон есть закон.

Я снова вышел на Загородный проспект и побрел к магазину. Настроение было испорчено.

8

У меня есть двоюродный братец — порядочный оболтус, между прочим, тоже Смольников и тоже Юрий, только я Николаевич, а он Петрович. Ему уже семнадцать, десять из этих семнадцати он проиграл в пинг-понг, стал мастером спорта и просто умирал от важности, даже разговаривал как-то по-особому, не разжимая зубов, — словом, настоящий пан Спортсмен из «Кабачка тринадцать стульев». Он как-то признался мне, что еще лет тридцать собирается играть в свой пинг-понг, который он высокопарно величал настольным теннисом, потому что в этом виде спорта возраст не так уж важен. Я как представил себе, что человек сорок лет жизни гонял пластмассовый шарик, так мне даже смеяться расхотелось. Я спросил его, что он будет делать потом. А он ответил, что, если будут у него хорошие результаты, получит «Заслуженного мастера». «Ну, а потом, после „Заслуженного“?» — не унимался я. И он сказал, что потом станет тренером, потренирует лет десять и пойдет на пенсию. Вы только вообразите, пятьдесят лет гонять шарик — от этого даже обезьяна с ума спятит, а мой братец — хоть бы что. И в институт он даже не пытался поступить, да и школу закончил липой, — освободили его от экзаменов, потому что должен был выступать на каких-то международных соревнованиях. Вывели в аттестате круглые «тройки». Но в общем-то



мой двоюродный братец был не вредным парнем, и я рассчитывал, что он даст мне свой паспорт, чтобы устроиться на работу. Но прежде нужно было посоветоваться с Василием.

Листва на старых тополях в Галерной гавани почти облетела, и корявые оголившиеся сучья угрюмо чернели в пасмурном свете. Воды прибыло, зеркало ковша потемнело и, казалось, вспухло, на воде не было ни одной лодки. Дорога к сторожке вдоль ряда катеров, стоящих на кильблоках, раскисла от недавнего дождя, потом здесь, видимо, проехал грузовик и намесил грязь. Я пошел по колее со следом рубчатой шины, но все равно ботинки увязали в липком коричневом тесте. Василий возился внутри вельбота, я окликнул его.

— Залезай, Юра, — позвал он.

Я встал на конец кильблока и перелез через борт. Здесь было уютнее, потому что высокие борта защищали от ветра. Все было прибрано, доски к доскам, рейки к рейкам — уложены в аккуратные штабельки, куски фанеры поставлены на ребро в носовой части корпуса.

— Садись, — сказал Василий, показывая на ящик. — Рассказывай, что хорошего. — Сам он сел на доски.

Я пересказал Василию разговор с толстяком из бюро.

— Да ну, чушь какая-то! Значит, чтобы устроиться на работу, нужно кому-нибудь морду набить или украсть, тогда заберут в милицию, и можно на работу устроиться! — глаза у Василия колочье прищурились, лицо побледнело. Первый раз видел я его таким злым и подумал, что не хотел бы иметь его в недругах.

— Идиотизм! — сказал он и посмотрел на часы. — Ну, это мы еще выясним. Я сегодня на заводе в комитете комсомола поговорю. Они чего-нибудь придумают. У нас работа найдется, обязательно. Пойдешь к нам на завод?

— А почему же нет?

— Вот и нормально. Будем вместе на работу ходить, — Василий встал. — Тогда мне надо пораньше прийти, — он легко вспрыгнул на планшир и соскочил вниз на дорожку. Я тоже перелез.

— Ты не журись, не падай духом, Юра. Работа будет. Давай организовывай свои занятия. Зайди ко мне завтра с утра.

— Хорошо.

Мы быстро прошли по Шкиперке, пожали друг другу руки и разошлись. Я пошел в библиотеку.

В читальном зале было всего несколько человек. Я набрал стопку учебников и стал сличать их с программами. И не то чтобы испугался, но понял, что работа предстоит трудная, но потом стал читать учебник физики и даже увлекся, вынул блокнот, который всегда таскал в кармане, начал записывать формулы и позабыл о времени. Я опомнился только тогда, когда библиотекарьша Вера включила верхний свет. И тут я увидел, что прочитал и вообще-то законспектировал две главы учебника, от которых что-то, кажется, осталось в голове. Захотелось проверить себя самого. Я подошел к полкам с учебниками, нашел сборник задач по физике и попробовал решить самую первую задачку, она получилась так легко, что я даже не поверил себе и решил еще одну, потом — еще; когда число решенных

задач перевалило за дюжину, я остановился, хотя чувствовал уже какой-то спортивный азарт. И тут мне в голову пришла великая идея. Я понял, что нужно учить не все сразу, а — по одному предмету.

Сначала добить, например, физику, потом — химию, потом взяться за математику, а все гуманитарные предметы просто читать дома, с ними у меня никогда не было осечек, даже исторические даты запомнились легко, тем более что я любил рассматривать всякие исторические карты, читать старинные названия рек и городов, находить места давнишних сражений.

Было уже половина шестого, хотелось есть, и я направился домой. Во дворе специально прошел немного дальше своей парадной, чтобы взглянуть на задний фасад второго корпуса. Наташино окно светилось. Мне очень захотелось увидеть ее, рассказать про сегодняшние дела. Она будет сидеть за пианино и, чуть склонив голову, играть что-нибудь плавное, теплое, а я буду слушать музыку и смотреть на нее. Но я превозмог это желание, понимая, что приходиться каждый день неловко. Ее окно светилось, значит, она была дома, рядом.

Мать уже вернулась с работы, и мы вместе ужинали на кухне. Я сказал:

— Ма, спасибо за магнитофон. Это, конечно, — люкс.

— Угодили, значит, — мать устало улыбнулась, от уголков глаз разбежались тонкие лучики морщинок, и у меня почему-то зашипило в носу, но я бодро ответил:

— Еще бы! — помолчал и спросил: — Ты же пальто собиралась покупать зимнее!

Она выключила горелку под чайником.

— Нет ничего подходящего. Вот поеду в командировку, там приглажу. Потом, в октябре отец премию получит за проект. Они предложили новый вариант, он чуть ли не в два раза экономичнее. Всю мастерскую премировали.

— Вот это да! — обрадовался я. — Это за ту пойму? Как-то там речка называлась — Ваза или Виза?

— За ту, — кивнула мать.

— Так я же еще чертежи помогал делать. Помнишь, прошлой зимой?

— Вот, отец и решил, что часть премии — тебе.

Я очень обрадовался, и за этот магнитофон как-то перестало свистеть в душе, честное слово.

Я вошел к себе в комнату и взялся за учебник литературы.

Утром Василий сказал, что говорил обо мне в заводском комитете комсомола.

— Дело действительно не так просто, как казалось. Но ребята обещали поговорить в райкоме, чтобы походатайствовали перед исполкомом и разрешили тебе работать у нас, — Василий пытливо и, как мне показалось, со скрытой усмешкой посмотрел на меня. Хотелось спросить, что за работа предстоит мне, но я уже научился за время нашего знакомства не спешить с вопросами.

Минуту мы просидели в молчании. Я — в кресле, плетеном из ремешков, Василий — на тахте. Потом он сказал:

— Сегодня на завод пойдем. В комитете с тобой познакомиться хотят, раз уж хлопотать будут. В три подходи к главному входу, туда, где отдел кадров. Знаешь?

— Да, — кивнул я. — Спасибо тебе.

— Подожди еще со спасибо. Морока, кажется, предстоит долгая с работой, — сказал Василий и с раздражением добавил: — Дурацкое какое-то положение. Человек два метра ростом, любого одной левой уложить может, а на работу его не берут.

— Глупо, конечно, — сказал я. — Но уже привычно.

— Что привычно?

— Да все. Я уж давно чувствую себя идиотиком, и другие ребята тоже. Одного не положено, другого просто нельзя. На уроке то, что думаешь, сказать нельзя, а нужно делать вид, что согласен со всем. Ну, не люблю я Чацкого, — я почувствовал, что волнуясь, но уже не мог остановиться. — Вообще терпеть не могу болтунов и пижонов. Так что, обязательно нужно делать вид, что он мне очень нравится? А то «пару» схватишь. Полкласса на литературе только делает вид, а полкласса ничего не думает. Им скажут завтра, что Печорин — дурак, а Грушницкий наоборот очень умный, они и будут повторять — лишь бы отметку побольше поставили или просто отвязались. — Я смолк, чтобы перевести дыхание, потом сказал, сбавив тон: — Вообще, пока ты не взрослый — так вроде и не человек совсем. Обидно. Я за эти вот дни последние кое-что понял.

— Знаешь, наверное, действительно вам, ну, твоему возрасту труднее. Я как-то, когда в школе учился, обо всем этом, кажется, не столько думал. У нас немного иначе было, а вы уж больно быстро растете. Говорят, акселерация.

— Да. У нас ребята и друг друга иногда называют: акселераты-дегенераты. Обидно. Выдумали словечко, и вот теперь все, что ни случится, — все — акселерация. Что, если бы я стал в два раза меньше ростом, то поумнел бы? Встречаются ведь в природе и дураки небольшого роста.

— Все не так страшно, Юра. Просто это слово обозначает быстрый физический рост, и, правда, человек от этого глупее не становится. Но, понимаешь, люди-то привыкли: раз высокий, здоровый — значит, взрослый. А вы все равно пацаны. Ты думаешь, учительница твоя — ну, как ее?

— Любаша, — хмуро ответил я.

— Вот, Любаша, что она так и враждовала бы с тобой, если б ты был поменьше? — Василий улыбнулся.

— Не знаю. По-моему, ей это до лампочки, она просто всех ненавидит и тупая.

— А я думаю, что ошибаешься.

— Стоит ли об этом говорить.

— Еще как. Ошибки, брат, надо анализировать, — Василий насмешливо прищурил глаза.

— А чем я виноват?

— Да всем. Выкомаривался — раз. А потом ушел с оскорблен-

ным видом — два. И теперь не хочешь этого признать — три. А это — самое главное. Если не признаешь своих ошибок, то никогда их не исправишь.

— А ты бы на моем месте пошел обратно сейчас? — я пристально поглядел ему в глаза.

— Ну во-первых, я не оказался бы на твоем месте, просто не довел бы до такого, — посерьезнев, ответил Василий.

— А вот представь себе все-таки, что так случилось. Пошел бы? Только честно!

Василий долго молчал, смотрел вниз, в пол.

— Честно — не пошел бы, — сказал он тихо, потом добавил еще тише: — Но это не значит, что ты прав. Просто у нас с тобой упрямство одинаковое.

— Ладно. Я и сам понимаю, что все не так, как нужно, — сказал я, и не было никакой радости в том, что Василий мог поступить так же.

— Хорошо, что понимаешь. А теперь валяй заниматься. Жду в три часа.

В просторной комнате комитета комсомола, куда я вошел вслед за Василием, за конторским столом сидела девушка в синем халате с заводской эмблемой на нагрудном кармане и печатала на машинке одним пальцем.

Высокий, почти одного роста со мной, черноволосый парень лет двадцати — двадцати двух сидел у края длинного совещательного стола и читал какие-то бумаги в зеленой картонной папке. По стенам комнаты висели всякие диаграммы, таблица шахматного первенства, плакаты.

— Привет, Зуев, — сказал Василий, потом повернулся на стук пишущей машинки и сказал девушке: — Здравствуй, Надя.

— Привет, проходи. Жду тебя, — ответил Зуев, вставая.

— Здравствуй, Семенов, — сказала девушка и снова принялась стучать по клавишам.

— Вот мой орел, — сказал Василий и повернулся ко мне.

Я поздоровался.

Зуев быстро подошел ко мне и протянул руку:

— Сергей Зуев.

— Смольников Юрий, — я пожал его широченную ладонь.

— В баскетбол играешь? — спросил он, не отпуская моей руки.

— Нет. Волейбол.

— Разряд есть? — Зуев говорил быстро, будто куда-то спешил.

— Был второй, — ответил я, но испугался, что хвастаюсь, и добавил: — Давно.

— Очень давно? — Зуев отпустил руку и улыбнулся так, что темные глаза показались золотистыми.

Я понял, что сморозил глупость, но тоже не смог удержаться от улыбки и ответил:

— Да нет. В прошлом году еще играл.

— Поможешь наладить секцию. А то у нас с волейболом слабовато. Ты скажи, Юра, чертить умеешь? — он вопросительно посмотрел сначала на Василия, потом — на меня.

— Немного. Помогал отцу. У нас дома и доска есть, и чертежный прибор, и готовальня большая, «рихтеровская».

— Нам в КБ копировщик нужен. Пойдешь? Работать будешь половину рабочего дня — так по закону для подростков положено. Чего не знаешь — покажут, научат. Как?

— Пойду, — сказал я.

— Договорились. Теперь нам надо получить согласие инстанцией повыше. Так, — Зуев на секунду смолк, задумался. — Завтра в десять встречаемся с тобой в райкоме комсомола. Знаешь? Там, где исполком, на Большом.

— Знаю, — кивнул я.

— Ты придешь? — повернулся он к Василию.

— Конечно.

— Тогда до завтра. — Зуев протянул мне руку.

— Я не прощаюсь, — сказал Василий, и мы вышли. — Если Сергей пообещал, то добьется. Но смотри, не подведи. Я за тебя поручился перед комитетом, а значит, и перед всем заводом, — сказал он в коридоре.

— Я все буду делать, что нужно, и постараюсь...

— Да ведь не только о работе речь. Нужно добиться всего, что задумал, вот тогда все правильно, — он серьезно посмотрел на меня, взглянул на часы и заторопился. — Ну пока. Я уже опаздываю в цех. Выход найдешь?

— Найду, до свидания.

— До завтра.

9

Я сидел в коридоре райкома комсомола перед большой дверью, за которой уже полчаса назад скрылись Сергей Зуев и Василий. Сначала я просто набрасывал всякие фигурки в блокноте — силуэты яхт и катеров, необычные формы разных автомобилей иномарок — они время от времени встречались в городе. Потом я все-таки решил задачу по физике, которая вчера никак не получалась, и заскучал от безделья. Мимо деловой торопливой походкой проходили люди, все больше девушек, парни появлялись реже и не так спешили. Сначала я разглядывал проходящих по коридору, в то же время стараясь подобрать ноги поближе к ножкам неудобного стула, чтобы никто не споткнулся о мои ходули, но время шло очень медленно, и я почувствовал тревогу, стал прислушиваться к тому, что происходит за большой дверью, начали мерещиться какие-то отдаленные возгласы спора, что-то враждебное в неясных шумах. И мне стало неудобно под скользящими безразличными взглядами проходивших по коридору девушек и парней, — до меня никому не было дела. И время длилось и длилось, как будто минуты заснули и большая стрелка замерла на циферблате моих часов. Только бы сейчас все обошлось и меня взяли бы на завод. А всего остального я добьюсь сам — хватит у меня на это сил и желания...

Так думал я, глядя на, казалось, замершую стрелку часов, и не услышал, как отворилась дверь.

— Смольников, зайди, — позвал Сергей Зуев, лицо у него было рассерженным. Он пропустил меня и затворил дверь.

В просторной комнате буквой «Т» стояли столы, на стене висел портрет Ленина в большой кепке, с красным бантом на отвороте пальто. Несколько человек сидели за длинной стороной совещательного стола, с самого края — Василий. Я поздоровался.

— Подойди поближе, — сказала молодая женщина с дальнего конца стола, и я сделал два или три шага вперед.

— Тебе когда исполнилось пятнадцать? — спросил парень, сидевший рядом с женщиной, и, наклонившись, что-то тихо сказал ей.

— Позавчера, — ответил я.

— Восемь классов он окончил, а вот поступить в ПТУ опоздал, прием закрыт уже. Что же ему год болтаться? — сказал откуда-то сзади Зуев.

— Вы же видите, он не из слабеньких, — поддержал Василий, и я понял, что это продолжение спора, который велся без меня.

— Так будешь работать или несколько дней походишь, а потом передумаешь? — спросил парень, сидевший рядом с женщиной. Все остальные пристально смотрели на меня.

— Нет, не передумаю, — сказал я тихо.

— Я ручаюсь, — негромко, но ясно выговорил Василий.

— Хорошо, будем ходатайствовать перед исполкомом. Но только в порядке исключения, — женщина погрозила Сергею Зуеву пальцем. — А то я тебя знаю: завтра еще с такой же просьбой придешь, — она улыбнулась.

На Большой мы вышли с Василием вдвоем. Зуев еще остался в райкоме.

Холодный сырой ветер ударил в лицо. Деревья на проспекте были уже голые, а кусты еще держали листву. Я молчал, навалилась рассеянная задумчивость, и я просто шагал, сосредоточенный и пустой.

— На будущей неделе, думаю, все уже будет в порядке, — сказал Василий и покосился на меня. — Так что еще раз прошу, будь серьезней. В КБ лишнего не говори, лучше слушай, что тебе будут говорить. А спросить, если чего не поймешь, не стесняйся, не торопись показать, что ты все умеешь. Дадут, скажем, чертеж скопировать, ты сделай его лучше медленно, но так, чтобы уже никому не пришлось за тебя поправлять.

— Да, я понял, постараюсь.

— Ты не думай, что я тебя учу, — он вдруг рассмеялся. — Вот вспомнил, сколько напорол, когда первый раз пришел в цех. Я же все-таки — сын столяра-модельщика. Приходилось помогать отцу, когда он дома что-нибудь мастерил. Пришел я в цех, и сразу захотелось доказать, что тоже не лыком шит. Увидел у мастера чертеж — неслужная такая моделька была, как теперь понимаю, — ну, а кто же не умеет читать чертежи после десятого класса... Я и говорю — давайте сделаю. А мастер, он человек хороший был, но себе на уме, спросил, понял ли я все или объясните. Я, конечно же, говорю, что понял. Схватил чертеж, а инструмент и верстак мне отцовский отдали, и вот я давай строгать и сращивать. Возился два дня. Мастер подойдет, поглядит, ничего не скажет. А я и рад. Сноровка-то обращения с рубан-

ком и стамеской была. Наконец закончил и понес показывать. — Василий опять рассмеялся, умолк, вспоминая.

— А дальше? — спросил я.

— Принес, положил ему на верстак. Он посмотрел, повертел, сказал, что ничего, потом берет кронциркуль и велит принести чертеж, чтобы проверить размеры. Я принес и стою, довольный, жду. А мастер только посмотрел на чертеж и говорит: «А чего же ты половину детали принес?» Тут я и обалдел. Оказывается, не вчитался в чертеж, не разобрался в проекции и сделал только полмодели, да и размеры не везде выдержал. Конечно, весь цех узнал, посмеивались, но так, не обидно. И только потом уж, наверное, через год я понял, что мастер все видел, когда я делал, но специально молчал, чтобы раз навсегда научить, — Василий смолк, посмотрел на меня и сказал: — Понимаешь, на заводе не любят, когда человек верхушки хватается. Там семь раз отмерь — один раз отрежь.

— Василий, — сказал я, — не знаю, как и благодарить тебя, но...

— Работай нормально, учись. Сам кому-нибудь помоги, если сможешь. Я ведь не только по дружбе все это делаю, хотя и по дружбе тоже. Вообще, люди должны помогать друг другу. Думаешь, я не попадал во всякие переплеты? Еще как. И мне помогали. Ты тоже ведь не стал равнодушно смотреть, как я этот пивной ларек на вельботе городил. Помощь это и есть, когда человеку вовремя покажут, что он неправ, — мы остановились на углу Гаванской, Василий протянул руку. — Иди, занимайся, а послезавтра загляни ко мне перед сменой, скажу, как дела обстоят.

С понедельника я уже стоял у кульмана в конструкторском бюро. Приходил к половине девятого и заканчивал работу в двенадцать. Как несовершеннолетнему мне полагалось трудиться только три с половиной часа. В КБ работали веселые люди. Зал, освещенный трубками дневного света, был огромен, как аэропорт, в четыре колонны выстроились кульманы, и еще возле окон стояли письменные столы руководителей групп и проектов, было много парней и девушек. Мне здесь понравилось сразу, когда Сергей Зуев привел меня из отдела кадров. Выдали большую новенькую готовальню, и началась моя работа. В первые дни уставали ноги и болела шея, и я удивлялся этому, ведь, кажется, такая легкая работа: приколол чертеж, сверху — кальку, и обводи себе рейсфедером — сначала все горизонтальные линии, потом вертикальные, потом наклонные, потом дуги, но я уставал просто чудовищно и не мог понять почему. Неужели три часа простоять у доски тяжелее, чем сыграть пять партий волейбола! Потом пожилой чертежник-конструктор, Михаил Федорович, заметил, что я все потираю шею, и подошел ко мне от своего кульмана. Показал, как надо стоять, — оказывается, я отходил очень далеко от доски, а потом тянул шею, и все время топтался, а нужно было стать так, чтобы, не переступая, доставать середину кальки, где, в основном, и сосредоточены все линии чертежа, находиться на таком расстоянии, чтобы не нужно было ни пригибаться, ни отклоняться. Михаил Федорович помог мне отрегулировать высоту доски по росту, и после этого стало легче, а недели через две я уже привык и не чувствовал никакой усталости. А потом спало и напряжение, во время работы я уже чувствовал себя свободно, мог прислушиваться к шуткам, наблюдать за

людьми, а то в первые дни я был весь так зажат и напряжен, как новичок, взбравшийся на вышку для прыжков в плавательном бассейне. И, когда прошла эта зажатость, мне открылся интересный и незнакомый мир взрослых людей.

Что я знал раньше о взрослых? И много ли взрослых людей я знал? Учителей, отца, мать, дядьку, — вот, пожалуй, и все. И эти люди лишь запрещали или разрешали мне что-нибудь, приставали с нудными наставлениями. Я всегда чувствовал себя зависимым, других отношений со взрослыми у меня не было. Первым человеком, с которым у меня сложились другие отношения, был Василий, но общались мы с ним почти всегда один на один. Я не видел, не знал, как общаются взрослые люди друг с другом, как они разговаривают, спорят, подчиняются или не подчиняются, как они дружат, шутят, враждуют. И вот я среди взрослых, почти как равный. Нет, конечно, я не забыл, что младше всех в КБ, но я получил возможность видеть людей в работе, смотрел во все глаза и слушал. И вот что сначала удивило меня — взрослые гораздо снисходительнее друг к другу, чем к детям, они понимают юмор, выслушивают возражения и не считают себя абсолютно правыми. Эх, если бы взрослые относились к детям так же, как друг к другу. Какими приятными людьми они были бы. Словом, в нашем КБ мне нравилось все, и молодые, и те, кто постарше. Я чувствовал, что ко мне хорошо относятся, и за все семь месяцев работы никто даже не напомнил мне о возрасте. Правда, я ни к кому не приставал с разговорами, я ведь не самый болтливый человек на свете и даже среди ребят бываю не очень словоохотлив.

У нас в КБ все были заняты чем-то еще, кроме работы — те, кто помоложе, вечером спешили на лекции в институт или техникум, шли в спортивные секции; те, кто постарше, особенно женщины, были озабочены семейными хлопотами, хозяйственными покупками. И вот, наблюдая будничную жизнь взрослых людей, я вдруг сделал для себя открытие: оказывается, взрослые отличаются от детей тем, что у них много обязанностей. Только теперь понял я, каково приходится матери, когда после работы она еще час-полтора ходит по магазинам и возвращается домой с полными авоськами в обеих руках. И я понял, отчего меня так часто мучила скука, — от безделья. Ведь сколько дней и вечеров прошлялся я по улицам и набережным, томясь непонятной пустотой, не зная, куда деть себя, чем занять. Теперь это прошло. День был расписан четко и жестко. Сразу же после работы я шел в библиотеку и занимался там до пяти часов, позволяя себе лишь два пятнадцатиминутных перерыва, потом час уделял прогулке или вместо нее иногда заходил к Василию. После возвращался домой и снова за учебники. Вечерами по средам и днем по воскресеньям ходил в заводскую волейбольную секцию. Команда подобралась очень приличная, и тренировочные игры получались интересными, а весной мы рассчитывали принять участие в городском первенстве. Словом, скучать мне было некогда.

Осень незаметно и быстро сменилась зимой, к концу декабря круто завернули морозы. Впервые в жизни у меня появилось ощущение наполненности бытия и какое-то новое чувство времени. Честно говоря, раньше я не очень задумывался над тем, что это за штука. Всегда у меня была куча времени, я просто не знал, куда его девать, и

даже иногда испытывал страх оттого, что впереди еще целая жизнь — уйма времени, которое еще надо будет убить. Но вот все переменялось, теперь приходилось дорожить минутами, и оказалось, что такая наполненность дня дает совершенно новое самоощущение. С тех пор как поступил на завод и начал заниматься, я ни разу не бродил по улицам, а всегда ходил быстрым целеустремленным шагом, потому что знал, куда и зачем иду. И самое интересное — чем меньше у меня оставалось свободного времени, тем больше я успевал.

После Нового года я решил серьезно заняться рисунком, чтобы подготовиться к экзаменам в училище, благо недавно купил книжку по технике живописи и рисунка. А занятия школьными предметами шли хорошо, даже появился странный азарт, которого я никогда не знал раньше, сидя за учебником. И особенных трудностей я не испытывал, ведь самому себе объяснишь всегда лучше, чем кто-либо посторонний. Только иногда я консультировался у Василия. Доказательства теорем запоминались легко, но применить их для решения задач не всегда удавалось, а у Василия был какой-то особенно цепкий глаз на эти задачи, и вдвоем мы разбирались с ними быстро. Так и шло мое время, заполненное до отказа. Я теперь думал вперед на целые месяцы, а дни летели с такой быстротой, что иногда приходилось удивляться, что уже настала суббота и мне не надо идти на завод, в КБ — казалось, что прошлая суббота была только вчера.

Даже отец заметил во мне какую-то перемену, несколько раз спрашивал, хорошо ли я себя чувствую. Я только посмеивался в ответ. А он удивлялся, что из моей комнаты не слышно, как бывало раньше, «этой дикой музыки». Но мне действительно некогда было слушать музыку, я даже ничего не записывал на свой магнитофон. Мать, конечно, сразу насторожилась бы, заметив все эти перемены в поведении сына, но, на мое счастье, она была в командировках и, если приезжала домой, то всего на два-три дня, да и в эти дни с утра пропадала в тресте или стройбанке. Конец года у матери всегда такой — идет проверка освоения средств и выполнения планов стройками. Словом, я был относительно уверен, что родители не догадаются о переменах в моей жизни. Конечно, лучше было бы, если бы они все знали и мне не пришлось бы их обманывать. И Василий советовал рассказать им все, но я не хотел. Не хотел огорчать их и не хотел терять только что приобретенную самостоятельность.

Я не так уж плохо знаю своих родителей и был уверен, что, возмущавшись моим «безответственным поведением» (отец), погоревав о тех сказочных временах, когда я «стану нормальным ребенком» (мечта матери), они простили бы меня и даже начали бы помогать в занятиях, но именно этого я и не хотел. Мне необходимо было добиться всего самому, только своими силами.

Если вам уже пятнадцать, а вы еще ничего не сделали самостоятельно, то вы и не знаете, сколько у вас сил. И ошибаетесь, думая, что их очень много или, наоборот, очень мало. И вам просто необходимо чего-нибудь добиться самому, чтобы понять, сколько же сил у вас на самом деле. И чем серьезнее ваша задача, тем вернее вы сможете оценить свои силы. И я занимался, работал в КБ и попутно выяснял, на что способен.

Иногда вечерами, когда уже совсем обалдевал от занятий и строчки учебника начинали расплываться перед глазами, я заходил к Наташе Власевой. Она тоже много занималась, разучивала большой фортепианный концерт, который должна была играть на экзамене, и я старался не мешать ей, так что виделись мы, наверное, раза два в неделю.

В комнате, мягко освещенной шарообразным розовым плафоном, я, как в первый свой приход, сидел на стул возле торца пианино. Мы разговаривали или слушали музыку. Честно говоря, до этого я понятия не имел о классической музыке. Нет, не то чтобы я ее не любил — просто никак к ней не относился, как, наверное, первобытный человек никак не относился к вращению Земли, потому что не знал о его существовании. И вот Наташа вывела меня из этого состояния первобытности.

У «Ригонды» был неплохой стереоэффект, и казалось, что вся комната наполнена музыкой, когда Наташа ставила концерт Вивальди для гитары с оркестром. Я сразу полюбил эту веселую и одновременно печальную музыку.

Помню, мы долго говорили о стихах, я читал «Незнакомку» Блока и потом сказал, как меня удивляет, что вещь написана много десятилетий назад и все равно чем-то задевает, волнует нас. И тогда Наташа подошла к этажерке с дисками, не глядя, достала нужный и поставила на проигрыватель.

— А что это? — спросил я, пока еще не началась музыка.

— Слушай, — тихо ответила Наташа, села на свою табуретку к пианино и повернулась лицом к радиоле.

И вот порывисто вступили скрипки, ведя за собой непривычный, несуетный ритм, а потом вдруг притихли, и раздались серебряные струнные аккорды, они переливались оттенками звуков, как переливаются прозрачные краски на солнце... Я даже не сразу понял, что это — гитара, мне показалось — играет странный, немного похожий на рояль инструмент, и только когда аккорды набрали силу, с перебором вступили басы, я догадался, что слушаю гитару. А музыка вдруг смолкла на миг и зазвучала снова уже в другом ритме, медленно, будто вспоминая о чем-то; звуки возникали и гасли, как огоньки, которым не хватало воздуха, позади всего этого повторялась и повторялась одна тревожная и печальная нота, а потом грянул немного торжественный, оптимистический финал, подхваченный скрипками.

Наташа встала и выключила радиолу. А я сидел, хлопая глазами, словно только что очнулся от непонятного сна, после которого ничего не вспомнить, но что-то томит и тревожит душу. Мне не хотелось говорить, и Наташа поняла это.

— Вивальди. Он родился триста лет назад, — только и сказала она.

Так ко мне пришла музыка старых композиторов. Потом я полюбил слушать Гайдна и Моцарта. Наташа, честно говоря, обожала просвещать, но на меня действовали, пожалуй, не столько объяснения, сколько сама обстановка ее комнаты, — всегда раскрытая клавиатура

пианино, ноты на пюпитре. Я даже не слушал Наташиных слов иногда, а просто смотрел на ее лицо, менявшееся, когда она говорила о музыке; смотрел на светлые искристые волосы, на плавные красивые жесты узких рук, и почему-то на меня находила задумчивость, а Наташа, казалось, вдруг отдаляется и становится совсем маленькой, будто я смотрю на нее в перевернутый бинокль. Она замечала это мое состояние и приступала к вопросам:

— Ну, о чем ты думаешь, Смольников? Ну, скажи, — и приближала лицо, так что становились видны капельки вокруг зрачков. А я не знал, что отвечать, и молчал, испытывая непонятную неловкость. А потом вскакивал и уходил. Обычно после таких разговоров мне с трудом удавалось сосредоточиться над учебником, но я уже научился заставлять себя заниматься.

И я все чаще думал о Наташе, вспоминал ее голос, лицо, неувольнимую искристость волос. Порой во время вечерних занятий мне вдруг хотелось увидеть ее, но я понимал, что слишком часто приходить к ней неудобно. Тогда я просто откладывал учебник, выходил во двор, от парадной сворачивал направо и шел, пока не открывался вид на задний фасад второго корпуса. Остановившись, я смотрел на ее освещенное окно. Иногда удавалось уловить какое-то неясное движение теней за светлой тканью занавески, и, постояв в морозной вечерней тишине, я снова возвращался к себе и садился за учебник.

Изредка мы по воскресеньям выбирались в кино, в основном на фильмы, которые не «детям до шестнадцати». Вообще меня всегда раздражает эта дурацкая надпись на афише. Уж я-то знаю, что если бы этой надписи не было, то, наверное, никто бы и смотреть не пошел, ни ребята, ни взрослые. Да и не помнится что-то такого случая ни в пятом, ни в шестом классе, чтобы кого-нибудь из ребят не пустили на такую картину, правда, каждый понимал увиденное по-своему. У нас с Наташей вкусы почти одинаковы. Мы выяснили, что терпеть не можем французских кинокомедий с де Фюнесом, уж больно он глупо кривляется, так что сам, когда смотришь, через полчаса начинаешь чувствовать себя кротким радостным идиотиком. По-моему, такие фильмы нужно показывать обезьянам в зоопарке, да и то бесплатно. Вообще-то Наташа в кино ходила совсем редко, она любила концерты в филармонии, оперы, а я сразу признался, что ничего в этом не понимаю. Правда, билетов в театр или на концерт и так-то не достать, так что же я буду занимать место, а какой-то человек, который действительно хочет послушать оперу, останется на улице. Зато я люблю ходить по музеям, меня всегда привлекала не только живопись и скульптура, но и внутреннее убранство и декор старинных дворцов, словом, интерьер, хотя я и не люблю этот термин — в нем хорошего разве что краткость, а «декор», «убранство» — это звучит. И я стал приобщать Наташу к музеям. В живописи и скульптуре она разбиралась не хуже, а может, и лучше меня, потому что ее отец увлекался этим, а вот про прикладное искусство не знала почти ничего. Я и Василий обещал поводить по музеям, он очень интересовался старинной мебелью: ведь модельщик — это столяр, только очень хороший. Как-то в субботу, незадолго до Нового года, мы собрались в Екатерининский дворец в Пушкине.

В полуденной электричке было много народу, вдоль прохода лежали лыжи, и вагон звенел от голосов малышей. Мороз с утра ослабел, но окна вагона были разрисованы морозным орнаментом, хотя печка под сиденьем, на котором я сидел, была горячей.

Наташа сидела у окна, мы с Василием — напротив. На тех же сиденьях, рядом с нами, устроилась семья лыжников: мама, папа, парень лет десяти и девочка чуть помладше. Они так громко разговаривали и смеялись, что мы не могли перекинуться и словом.

Приглушенно тукали колеса на стыках, за белым стеклом, затуманенные, проплывали дома, почти незаметные белые тени заиндевелых деревьев. Я молча поглядывал на Наташу, она отводила взгляд и улыбалась незнакомой, едва уловимой улыбкой. Обрамленное белым пушистым мехом, лицо ее казалось совсем узким, лишь ярко темнели глаза да влажно поблескивали розовые губы. Что-то непонятное, незнакомое было в ее лице, и от этого мне стало неуютно и тревожно в переполненном вагоне электрички; я подумал, что Наташа сейчас не такая, как всегда, и покосился на Василия. Он сидел, слегка запрокинув голову, и тоже улыбался, чуть сощутив глаза. И мне вдруг стало душно и жарко, я вздохнул, ослабил шарф, снял шапку и, повернувшись к стеклу, стал процарапывать глазок в морозном орнаменте, а сам лихорадочно вспоминал, как мы с Наташей подошли к дому Василия, как я познакомил их возле парадной, и мы направились на остановку автобуса. О чем же мы разговаривали? Я силился вспомнить, но на память приходили только картинки — невысокие кучки грязноватого снега вдоль тротуаров на Гаванской, нахохлившиеся голуби на карнизах, заиндевелые пушистые провода.

Втроем по тротуару идти было неудобно, и, чтобы не мешать встречным прохожим, я приотстал, шел позади и смотрел на черные Наташины сапоги, набойки каблучков оставляли маленький рубчатый след.

Боковой ветер дул слева и отбрасывал выпущенные концы длинного Наташиного шарфа прямо в лицо Василию, он отводил их движением руки и что-то говорил ей, улыбаясь. Так и топали мы до остановки, втиснулись в переполненную «тридцатку» и доехали до Витебского вокзала...

Глухо тукали колеса на рельсовых стыках, процарапанный глазок на стекле снова покрылся изморозью от моего дыхания, но я все смотрел в него, затылком чувствуя, как Василий и Наташа улыбаются друг другу.

В Пушкине было холодней, но по-особому пахло подступающей оттепелью, крупные вороны медленно кружили над привокзальной площадью, где мы ожидали автобуса.

На остановке Наташа взяла меня под руку, тихо спросила:

— Ты чего помрачнел, Юра?

— Да нет, — сказал я, — тебе показалось.

— У меня ноги начинают замерзать.

— Скоро приедем. Во дворце тепло, — успокоил я. И тут подошел автобус.

Очередь во дворец была не длинная, мы взяли билеты, разделись в гардеробе и напялили поверх обуви суконные лапти. Я давно уж не был здесь, и оказалось, что в музей пускают по группам, с экскурсоводом. Такой порядок мне понравился, по крайней мере, это избавляло меня от всяких объяснений, давать которые уже не было никакого настроения.

Шаркая лаптями, мы поднялись по мраморной лестнице, и начались парадные залы, идущие бесконечной анфиладой, обманно удлиняющей расстояния. Я ступил на узорный паркет Кавалерской столовой, обвел взглядом весь просторный зал с его золоченой лепниной, цветочными гирляндами и зеркалами по стенам, с золотыми креслами и огромной печью, облицованной расписными изразцами, и позабыл обо всем, даже перестал слышать чуть надорванный голос женщины-экскурсовода. Просто в памяти зазвучала музыка Вивальди, и я так и шел по анфиладе, затаив дыхание и вглядываясь в окружающую меня красоту, а во мне играла музыка, вызывая спокойную веселость и прозрачную грусть.

Когда мы вышли из дворца, пошел крупный снег и совсем потеплело. Зашагали по дорожке, ведущей прямо от фасада к стройному зданию Эрмитажа. Я обернулся. Лазоревые стены дворца сквозь сетку крупных снежинок казались далекими и призрачными. Мне было грустно.

А Наташа смеялась, пробежала вперед и, слепив снежок, запустила в меня. Я поймал этот маленький нетвердый комоч снега и сжал в ладони, он таял медленно и охлаждал руку.

Василий спросил:

— Ты чего куксишься?

— С чего это ты взял?

— Не знаю, но заметно.

Я усмехнулся.

— Есть охота, — сказал первое пришедшее на ум.

— А, — обрадовался Василий, — это хорошо. Сейчас куда-нибудь зайдем, — и спросил у Наташи: — Как вы относитесь к тому, чтобы поесть и даже выпить?

— Прекрасно отношусь, — она снова рассмеялась безо всякой причины, и этот смех показался мне деланным.

Мы вышли из парка, немного поплутали по незнакомому Пушкину, но никуда не смогли попасть, — в шашлычной и диетической столовой было столько народу, будто все население городка разом проголодалось, — и мы зашли в мороженицу «Льдинка». В «Льдинке» было тепло, может быть поэтому пломбир подтаял, зато песочные пирожные обрели каменную твердость. Сока никакого не было, и Василий спросил:

— А может, шампанского?

— Ой, давайте выпьем, правда! — Наташа сняла свой меховой капор, встряхнула волосами. — Я люблю шампанское.

Василий посмотрел на меня.

— А ты как, не против?

— Нет, — я встал и подошел к стойке, купил бутылку шампанского, принес и поставил на середину стола. Василий сходил за стаканами.



Мы сидели за угловым столиком у мутного запотевшего окна, за другим столиком сидела толстая тетка и деловито уписывала мороженое, и больше никого не было.

— Открывать умеешь, так, чтобы без хлопка? — спросил Василий.

— Не приходилось, — ответил я.

Он взял бутылку, сорвал серебряную бумагу с горлышка и стал раскручивать проволоку, скреплявшую пробку с бутылкой.

— Учись, пока я жив.

Наташа с притворным ужасом сжалась и наклонила голову. Василий снял проволоку, чуть пошатал полиэтиленовую головку пробки, но она не поддавалась. Он поставил бутылку и сказал:

— Смотрите, сейчас пробка сама пойдет вверх. Тут главное — уловить момент, вовремя поймать ее и наклонить бутылку, чтобы не упустить вино.

Наташа, как замороженная, смотрела на эту пробку, смотрел и я, а пробка хоть бы что — даже на миллиметр не вышла из горлышка.

— А почему нужно наклонять бутылку, Юра? Вот ты уже физику всю выучил, скажи, — Василий посмотрел на меня.

— Не знаю, — я пожал плечами.

— А что такое разложение сил, знаешь?

— Вот оно что, — видимо, я ответил довольно хмуро, потому что Наташа внимательно посмотрела на меня. А я разозлился на себя, на нее, на Василия и на эту дурацкую бутылку, с которой столько хлопот. Протянув руку, я взял ее со стола, ухватил пробку покрепче и вытянул из горлышка. Никакого хлопка не последовало. Я еще немного подержал бутылку, потом налил в Наташин стакан.

— Вот это да! — сказал Василий. — Ты, часом, в цирке не выступаешь?

— Нет, — ответил я, — только в пригородных мороженицах, — и поставил бутылку на стол.

Шампанское я пробовал первый раз — газированная вода, только пахнет дрожжами и кисловатая. У нас дома по праздникам чаще всего бывало сухое вино «Алазанская долина», его очень любила мать. А вообще-то я ничего не понимаю в этом. Наша дворовая компания иногда скидывалась на какую-нибудь флягу, но я никогда не участвовал, потому что играл в волейбол, да и не чувствовал никакого влечения к выпивке. Бывало, уступив уговорам, делал глоток или два, но всегда без удовольствия, от скверного приторного вкуса вина начинало мутить.

Другие парни тоже пили без заметного удовольствия, но вот девочкам это нравилось, они сразу балдели, становились веселыми, громко смеялись.

И теперь, сидя в пригородной мороженице, я наблюдал за Наташей. Она выпила почти весь стакан и помешивала ложечкой подтаявшее в металлической вазочке мороженое. Красный сироп расплывался по молочной поверхности розовыми прожилками, таким мрамором были облицованы стены одного из покоев Екатерининского дворца. Лицо Наташи покраснело, глаза заблестели.

— Ты чего не пьешь, Юра? — спросила она.
— Выпью, чего торопиться, — ответил я.
— А мне уже тепло стало, — она чуть виновато улыбнулась.
— Раз тепло, значит, достаточно. Добавки не будет, — сказал Василий и подлил себе в стакан. — Тебе еще? — спросил он.

— Нет, не хочется, — я отодвинул стакан.

— Правильно.

— Вася, Юра, у меня скоро полугодовой концерт. Придете? — вдруг сказала Наташа, и по ее голосу я понял, что она опьянела.

— Придем, конечно, — ответил Василий. — Я ни разу не был на таком концерте и даже не знал, что они бывают в школах.

— Правда, это не филармония, а учебный концерт, но у нас есть ребята, особенно скрипачи, которых можно слушать. Один мальчик в нашем классе даже на международном конкурсе играл.

У Наташи было такое довольное румяное лицо, что мне просто глядеть было неохота. Когда у человека слишком довольное лицо, оно выглядит глупым.

Я протер уголок запотевшего стекла в окне, посмотрел на улицу. Уже смеркалось.

— Пойдем? — спросил я, не обращаясь ни к кому в отдельности.

— Да, — согласился Василий.

Наташа принялась надевать свой пушистый капор.

Мы вышли и стали спускаться улицей, полого идущей вниз. Желтые трехэтажные домики уютно выглядели в сереющем свете. Снегопад стих и тротуар был укрыт пушистым поскрипывающим снегом. Деловито трусили впереди нас две желтые собаки. Я пожалел, что мы не пошли к памятнику Пушкину, где он задумался на скамеечке, а просидели в этой нудной мороженице. Я запомнил памятник с ранних лет, раньше мы часто ездили сюда с отцом. Захотелось вспомнить пушкинские стихи, высеченные на постаменте памятника, но всплывали только две строки: «Куда бы нас ни бросила судьбина... Отечество нам Царское Село». И я вдруг подумал о том, что и сто пятьдесят лет назад здесь ходили люди, и у них были какие-то дела, огорчения, радости.

Впервые в голову мне так ясно пришла мысль об этих людях. Может быть, по этой самой улице ходил Пушкин. Дома, конечно, здесь были другие, но деревья, наверное, стояли те же самые, только молодые...

Незаметно для себя я укоротил шаг и отстал от Наташи и Василия и все пытался представить себе, как это выглядело, как вышагивали здесь лицеисты в синих мундирах с золочеными пуговицами... Но мой персональный экранчик на этот раз ничего не показывал. Я не мог вообразить, как выглядела тогда эта улица, не знал, носили или не носили лицеисты шпаги. Мне никак было не оторваться от этого тускнеющего зимнего дня, пахнущего наступающей оттепелью.

Наташа и Василий шли впереди и даже не оглядывались, и мне захотелось свернуть куда-нибудь, уйти от них. Но я сообразил, что это будет выглядеть совсем уж ребячеством.

В электричке было еще больше народу, чем утром. Мы нашли

место для Наташи, а сами остались стоять в проходе и за всю дорогу не сказали ни одного слова.

Когда шли от Витебского вокзала к остановке «тридцатки», Наташа сказала:

— Спасибо тебе, что вытащил из дому. Я только сейчас поняла, какой хороший был день.

— Пожалуйста, — ответил я.

— Бери меня с собой, когда будешь куда-нибудь идти, ладно?

— Ладно. Только я сейчас редко хожу. Некогда.

— Все равно, хоть редко, — настойчиво попросила она.

— Ну, хорошо, я же не отказываюсь, — сказал я с раздражением.

Василий шел рядом и молчал.

Мы вылезли из автобуса, пошли по Гаванской и на углу Шкиперки попрощались с Василием и направились к дому. Наташа вдруг взяла меня под руку.

— Куда ты так бежишь? Мне же не угнаться за тобой, Юра.

Я замедлил шаг, посмотрел на нее сверху вниз и сбоку. Она смотрела вперед вдоль улицы и улыбалась этой своей непонятной улыбкой. Держать меня под руку было неудобно и высокомерно для ее роста, но Наташа все равно не отпускала, и я брел рядом, принаравливаясь к ее шагам.

— Ты на меня обижаешься? — спросила она.

— С чего это ты взяла? — я сам по голосу понял, что ответ мой какой-то ненатуральный.

— Так, показалось. Ты какой-то был пасмурный и молчаливый. Зайдем ко мне?

— Не могу, — сказал я и, спохватившись, что отказ прозвучал слишком угромо, добавил: — Понимаешь, у меня по истории еще целый учебник почти, а времени осталось чуть больше четырех месяцев.

— Неужели ты действительно осилишь два класса за один год?

— А что тут такого?

— И нисколько не трудно?

— Трудно. Особенно сначала было трудно, а сейчас я уже привык заниматься и немного научился. Тут ведь совсем по-другому, не так, как в классе. Сам себе задаешь, сам объясняешь, сам проверяешь.

Мы свернули во двор нашего дома, дошли до места, где дорожка ответвлялась ко второму корпусу. Наташа убрала свою руку с моей, остановилась.

— Ты правда на меня не обижаешься? — она без улыбки посмотрела на меня.

— Правда, — сказал я и не отвел глаз.

— Ведь мы — друзья?

— Да, друзья, — отчего-то стало весело, я улыбнулся и, не сдержавшись, добавил: — Я это сегодня хорошо понял.

— Ничего ты не понял, — громче обычного ответила она.

— Почему?

— Потому что не можешь ничего понять, — в ее тоне послыша-

лось незнакомое упрямство, и я почувствовал, что не надо продолжать этот неприятный разговор, что потом будет трудно вернуться к прежнему тону и к прежним отношениям, но у меня тоже было свое упрямство и, заранее досадуя на себя, я ответил:

— Не могу понять? По-твоему, я такой тупой?

— Нет, вовсе не тупой, но ничего не можешь знать, — она задумчиво опустила голову.

— Почему? — недоумение мое было честным, и уже не оставалось никакой насмешливости.

— Потому что я сама еще ничего не знаю, — не подняв головы, ответила Наташа и чуть покраснела.

Мы с минуту молчали, и наше молчание казалось мне понятнее слов. Я уже понял, что никогда не будет у нас прежних отношений, хотя в них ничего особенного и не было. Что-то ускользнуло сегодня, и мы оба будто немного стали другими. По крайней мере, я стал другим, и мне не хотелось знать, что Наташа не понимает «еще», а что не понимает «уже», и я сказал небрежно и просто:

— Ну, пока.

— Ты придешь ко мне?

— Конечно.

— Дай честное слово, что будешь приходить.

— Честное слово.

Я посмотрел, как она бежит по дорожке, высоко вскидывая ноги в черных сапогах, и повернулся к парадной.

Слово я сдержал. Заходил иногда вечерами к Наташе, но все реже и реже. Мы ведь были друзьями. А кроме того, у меня, и правда, не оставалось времени. После Нового года я все время, до последней минуты, использовал для занятий.

Впервые в жизни я узнал, что значит — не заснуть от усталости. Раньше, когда читал в книгах, что герои мучились от бессонницы, то, честно говоря, не очень-то верил этому. Но теперь бывало, что и сам не мог заснуть до самого утра, а потом клевал носом у кульмана, но через час сонливость проходила. И еще во мне появилась какая-то внутренняя дрожь, когда я думал о времени. Я, как скупец, считал минуты: час на прогулку, час на рисование, полтора часа занятий — пятнадцатиминутный перерыв; недели и месяцы летели с ужасающей быстротой, и у меня было такое ощущение, что я все время куда-то бегу. И лишь на волейбольных тренировках меня отпускало ощущение спешки. Там я отдыхал по-настоящему. Только теперь я понял, что такое спорт и для чего он нужен, и еще больше полюбил волейбол.

Я даже играть стал лучше. Нет, техники не прибавилось, потому что она наживается только интенсивными тренировками, настойчивой отработкой одного и того же приема, но я стал лучше видеть площадку, тоньше разбираться в игре. Ведь раньше, в школе, я знал и умел использовать только элементарные тактические приемы, — раскинуть на края, ударить из третьей зоны, ударить наискось по блоку, чтобы мяч ушел в аут. Теперь же я знал не только то, что нужно делать мне, но и то, что будет делать противник. Даже самому казалось странным это угадывание, на кого даст пас разводящий

противника, в какую зону будет удар. То, что раньше казалось загадкой, теперь читалось, как понятная книга, и волейбол доставлял настоящее удовольствие — именно сам процесс игры, а не только победа.

Так и шло мое время — между работой и занятиями, редкими играми, посещениями Василия. Правда, с ним мы разговаривали больше всего о занятиях. Василий и сам начал повторять математику и физику и очень помогал мне иногда. У него была своеобразная манера объяснять, задавая вопросы. Эти вопросы порой выглядели бессмысленными, но, подумав над ними, я вдруг доходил до сути какой-нибудь упиравшейся задачи.

У Наташи я бывал совсем редко, садился на стул возле пианино, слушал музыку или разговаривал, но никогда не задерживался больше получаса. Два или три раза мы с ней ходили в гости к Василию. Я чувствовал, что ей очень хочется к нему, но идти одной неудобно. Вот я и приглашал Наташу с собой — мне ведь не жалко.

Между тем проходила зима, сменяя резкий мороз оттепелями. Незаметно наступил март, весь с мокрым снегом и метелями. И ощущение скоротечности времени дошло до предела, я передвигался по улицам почти бегом и даже отменил свои обычные часовые прогулки. Учеба моя продвигалась, хотя оценить прочность своих знаний я не мог. Сам себе придумывал контрольные работы, составлял их из самых трудных задач из конкурсных сборников, и почти всегда справлялся с этими контрольными, но я понимал, что одно дело — сидеть дома или в читальном зале библиотеки и спокойно решать задачи, а другое дело — экзамен. И все-таки надежда, что справлюсь со всеми экзаменами, была. А сдавать мне нужно было каждый предмет за все десять классов — такое правило экстерна. В общем, выходило, что придется сдавать штук двадцать экзаменов. Я понимал, как это трудно, но отступать было уже некуда.

Апрель пришел удивительно холодный и ветреный, днем лишь изредка показывалось солнце и, не успев растопить сосульки на карнизах, снова скрывалось, а по ночам схватывали морозы. С утра тротуары напоминали каток, и то и дело падал кто-нибудь из торопливых прохожих. С крыш скидывали слежавшийся снег и льдины, комки плотного снега с мягким хлопком разбивались об асфальт, и для меня эти хлопки были, как колокол, напоминавший о приближении серьезных событий. Я готовился к ним, как, наверное, готовятся к бою.

В середине апреля Василий зашел ко мне в КБ. Я давно не был у него и очень ему обрадовался. Мы пожали друг другу руки. Он пощупал, пока я проведу несколько линий, чтобы не засохла в рейсфедере набранная тушь, потом вышли в коридор.

— Как дела? — спросил Василий.

— Да ничего. Тружусь потихоньку.

— К экзаменам успеешь потихоньку? — он выглянул в широкое окно: там, вдали, были видны крыши эллингов, крановые стрелы и мачты.

— Должен успеть. Уже кое-что повторять начал, — ответил я и тоже стал смотреть в окно.

— Пора отпуск брать. Вот числился бы в заочной школе — эх, раньше я об этом не догадался, — дали бы оплаченный. А теперь проси за свой счет, если думаешь сдавать. — Он с усмешкой оглянулся. — И нужно съездить в городской отдел народного образования, подать заявление, чтобы разрешили тебе сдачу экстерном. Времени в обрез.

— Ладно, сделаю, — сказал я.

— Сегодня, Юра, понял? Ты ведь сейчас заканчиваешь работу, вот и сходи в отдел кадров.

— Хорошо.

— А когда съездишь в этот отдел, то зайди, расскажи, что тебе ответили. Ну, удачи тебе. Пойду обедать.

Сразу же в КБ я написал заявление, начальник бюро наложил визу, и я снес заявление в отдел кадров, а сам отправился на Исаакиевскую площадь в горисполком.

В приемной заведующего ГОРОНО сидела симпатичная девушка-секретарша, мы разговорились с ней, и она объяснила мне, какое нужно написать заявление, и обещала, что через неделю будет ответ.

— Наверное, разрешат, — сказала она на прощание.

А через день мне дали отпуск «без сохранения содержания для сдачи экзаменов на аттестат зрелости», и я мог заниматься целыми днями. Теперь это была не просто спешка, я чувствовал себя стайером, вырвавшимся на последнюю прямую, и выкладывался до конца. И была такая уверенность, что с разрешением сдачи экстерном не будет никаких трудностей, что я приехал в горисполком на Исаакиевскую площадь не через неделю, а через две.

Девушка-секретарша встретила меня приветливой, но чуть растерянной улыбкой, и я сразу догадался, что дело неладно. Она молча протянула мне мое заявление. Я взял и увидел крупную косую надпись в левом верхнем углу: «Отказать, т.к. отрицательно характеризуется школой, где оконч. 8 кл.», — дальше следовала неразборчивая размашистая подпись.

Наверное, вид у меня был жутко обалделый, потому что девушка почти крикнула звенящим голосом:

— Сядь! Пожалуйста, сядь!

Я плюхнулся на стул возле ее стола и почувствовал, как к горлу подступила тошнота. Буквы жирной косой надписи поплыли перед глазами.

— Чего ты такое натворил? Инспектор звонила в школу, и там учительница твоя подошла к телефону, — словно откуда-то из жуткого далека услышал я голос девушки-секретарши.

— Какая учительница? — машинально спросил я, хотя ничего не понял.

— Сейчас посмотрю. Где-то у меня записано, — она зашуршала бумагами, и я почувствовал такую усталость, что с трудом удержался, чтобы не сползти на пол. Хотелось лечь, растянуться прямо на этом казенном лакированном паркете.

— Вот! Панюшкина Л. М. Знаешь, кто такая?

— Знаю, — сказал я. — Очень хорошо знаю, — встал и вышел из приемной.

Не помню, как добрался до дома. В моей комнате на столе лежал раскрытый учебник истории, оставались последние главы. Я по привычке, выработавшейся за эти месяцы, сел за стол, потом все вспомнил, схватил учебник и запустил им в угол комнаты.

11

Начался май, перемежающий редкую теплынь с унылыми парными дождями, и ребята дохаживали в школу последние дни, и я старался не попадаться им на глаза, чтобы избежать вопросов, и только издали, спрятавшись за кустами, следил за ними и замечал на лицах беззаботное возбуждение, уже появившееся в предвкушении летних каникул.

Они проходили по Шкиперке, размахивая потертыми портфелями и папками, мои бывшие товарищи по моей бывшей школе. Нас разделяла только чуть распутившаяся зелень кустов да узенькая улочка, но мне казалось, что нас разделяют уже километры. Мне становилось грустно, и тогда я закуривал и понуро брел через сквер на морскую набережную.

Я давно полюбил это место, вернее люблю с тех пор, как помню себя, и я сам дал ему название, потому что Морской пассажирский вокзал — это скучно, слово вокзал пахнет затхлостью портящихся фруктов, сонной кислотной залов ожидания. А здесь, на морской набережной, всегда простор и ветер, слюдяная мелкая зыбь впитывает краски неба, и молочная дымка на горизонте притягивает к себе так, что вдруг заносит в груди странная, но приятная боль. И чем дольше вы будете смотреть на мелкую зыбь залива, на черные и красные буи и вежи, которые в медленном покачивании обозначают морской фарватер, тем сильнее будете чувствовать свою потерянность, — будто принадлежите уже не себе, а этому манящему пространству, где в молочной дымке горизонта мреет что-то непонятное, то ли парус, наполненный ветром, то ли просто сгусток влажного воздуха — розовое от солнца низкое облако. И если у вас в порядке все дела и хорошее настроение, то вы почувствуете, что жизнь — довольно приятное занятие; если же дела ваши хуже некуда и настроение ни к черту, то ветер с Балтики чуть продует вас, а мреющий в дымке горизонта парус пробудит надежду.

Вот поэтому я и ходил сюда, чтобы развеять грусть. В будни здесь бывало не так уж много праздношатающихся, — лишь молодые мамы с отрешенными лицами катили перед собой коляски да редкие парочки бродили заплетающимися шагами между стеклянными ящиками выставочных павильонов. Парочки были похожи на неумелых фигуристов — рука парня обхватывает плечи девушки, она держит его за талию, и так они ковыляют по асфальту, как по льду. Мне они не мешали. Я ходил вдоль уреза взад и вперед, любовался размытыми силуэтами сухогрузов, не спеша уходящих по Морскому каналу; глазел, как плавно двигаются ажурные стрелы огромных кранов над стапелями Балтийского завода, и все нянчился со своей грустью и обидой.

Мне казалось, что я и действительность не имеем ничего общего между собой, и только этот краешек города, глядящийся в смутный морской простор, еще поддерживал мое существование какой-то невнятной надеждой на что-то, а на что, я и сам не знал и томился обидой на всех и вся. И от этой обиды я уже ничего не соображал, почти перестал понимать, где нахожусь и что со мной происходит. И эта грустная тихая истерика все больше сковывала и превращала в оцепенелого идиота, и я уже иногда испытывал даже удовольствие от своего настроения и не хотел ничего понимать, абсолютно ничего...

Так и бродил я здесь, вперясь в горизонт или поглядывая на кроншпицы — стройные красные башенки на концах дамб, ограждающих вход в ковш старой Галерной гавани, где раньше стояли петровские галеры, а теперь держат свои лодки и катера-маломерки жители окрестных домов. Но в Галерную гавань я не ходил, хотя и люблю ее не меньше, чем морскую набережную. Там мне не хотелось появляться, потому что сюда, на морскую набережную, я убегал не только от себя...

Впрочем, если вы убегаете от друзей, не от тех, которые отвлекут вас от мыслей о себе и скрасят тоску, а от тех, настоящих друзей, которые не постесняются сказать вам правду, то значит вы все равно убегаете от себя. И я не ходил в Галерную гавань, потому что там был Василий, единственный настоящий друг, и его я боялся встретить.

В четверг двенадцатого мая я сидел у северного края парапета морской набережной на каком-то ящике, аккуратно сколоченном из темных буковых дощечек — я подобрал ящик возле одного павильона, видимо, в нем было оборудование для очередной международной выставки: на дощечках были выжжены цифры, латинские буквы и пятиугольная эмблема с розой ветров в середине. От этого ящика пахло дальними странами, океаном, неизвестной чужой жизнью. Я приспособил ящик под сиденье, стащил рубаху и, подставив солнцу спину, рисовал в карманном альбоме шведский грузопассажир, пришвартовавшийся вчера у пирса. У этого шведа был прекрасный силуэт, строгий и в то же время изящный, — его не портили даже грузовые стрелы, их мачты из трубчатых ажурных конструкций, поставленные с наклоном назад, наоборот придавали судну динамичность. Я сидел на солнышке и пытался ухватить карандашными штрихами эту строгую гармоничность: острый косой подрез носа, плавные очертания небольшой сдвинутой назад надстройки, удачно переходящей в дымовую трубу, совмещенную с мачтой; красивый, слегка наклоненный внутрь кормовой обвес, четко завершающий линии корпуса. Я уже несколько раз начинал и стирал набросок, потому что никак не удавалось точно схватить пропорции — был какой-то секрет в архитектуре этого судна: как только я переводил его на бумагу, так сразу исчезали и легкость и динамичность. И вот я снова стер все, оставив только линию палубы, вздохнул и огляделся вокруг, чтобы дать отдых глазам. А то я давно заметил, что если долго смотреть на какой-нибудь сложный предмет, глаз привыкает и уже не улавливает точных очертаний и пропорций, и тогда нужно отвернуться, а потом посмотреть на предмет так, будто видишь впервые.



Я оглядывал территорию выставки и набережную, стараясь, чтобы грузопассажир не попадал в поле зрения. Медленно катили коляски молодые мамы, мимо стеклянной стены большого выставочного павильона плелась парочка, торпедный катер неподвижно глиссировал на своем каменном постаменте, нос его смотрел в открытое море.

Над набережной, над всей территорией выставки стояла безветренная тишина, только застенчиво плескалась волна о гранитную стенку, робко, едва заметно зеленели ветки деревьев приморского сквера, — был обычный будний день, четверг.

Взгляд мой блуждал по этому залитому солнцем пространству, солнце пригревало спину, и даже обычная теперешняя моя грусть сделалась легкой, почти невесомой, как чайка, плывущая в воздухе с распластанными крыльями. И вдруг я заметил невысокую фигурку, появившуюся из сквера — светлые, искрящиеся на солнце волосы, распущенные по плечам, голубая рубашка с блестящими медными кнопками, сумка на длинном ремне на плече и линялые джинсы...

Это была Власьева, человек, которого мне меньше всего хотелось бы видеть сейчас.

Я захлопнул альбом, напялил рубаху и, отвернувшись, стал смотреть на Галерный фарватер, по которому шлепал потихоньку замурзанный буксир с изодранным кормовым шиньоном. Я сидел так, не поворачивая головы, но затылком чувствовал приближение Власевой, и скверно было у меня на душе. Если б я мог, то с удовольствием позавыл, что существует на свете такая Наташка Власьева. Но вот она подошла вплотную и начала:

— Здравствуй. Где пропадаешь? Уже третий день ищу тебя.

Голос у Власевой был красивый, низкий и чистый, от этого голоса мне почему-то всегда становилось тревожно.

— А чего меня искать, я не полтинник, — я хотел, чтобы это вышло весело, но получилось довольно-таки мрачно, и я, разозлившись не то на себя, не то на Власьеву, грубо спросил: — Чего надо? — и повернулся к ней всем корпусом на своем ящике.

— Ты чего? — В ее синих, чуть прищуренных от солнца глазах мелькнула растерянность, и я почувствовал какое-то идиотское злораство.

— Ничего. Просто хочу, чтобы меня оставили в покое.

А она все смотрела на меня сверху вниз, растеряннo и даже испуганно. Я опустил голову.

— Тебе разрешили сдавать? — спросила она совсем тихо, но я не ответил. Я тупо смотрел на носки ее грубых туфель на толстенной пробковой платформе, на обтрепанные с бахромой низки джинсов и хотел только одного — чтобы она ушла и кончился бы этот никому не нужный разговор.

Если вы достаточно самокритичны и еще можете признаться самому себе, что потерпели поражение, то уж девчонке, которая вам нравится (пусть даже она давно относится к вам с безнадёжной дружественностью), признаться в этом своем поражении особенно трудно. И я молчал, «уставя в землю лоб», как глубокомысленный басенный осел.

— Что ты молчишь? — требовательно спросила она, но я не отозвался, продолжая дрейфовать на своем заграничном буковом ящике с непонятными литерами и пятиугольной эмблемой с розой ветров. И тут Наташка наклонилась, положила руки мне на плечи и заглянула в лицо.

— Ты почему не зашел к Василию? Что вообще с тобой, Смольников?

Ее лицо оказалось так близко, что я заметил несколько бледных веснушек на переносице и темные крапинки вокруг зрачков, и дыхание у меня сбилось, альбом выскользнул из пальцев. Я сжал ее запястья, развел руки в стороны и встал. Она тоже выпрямилась, и я отпустил ее руки. Теперь я смотрел на Власьеву сверху вниз.

— Почему ты не зашел к Василию? — повторила она.

Я усмехнулся и, глядя ей в глаза, ответил:

— А чего мне ходить, я же не девушка, которая в него влюблена.

Тут что-то дрогнуло в ее лице, и губы сжались тонкой чертой. Я испугался, что сейчас она даст мне пощечину, но не пошевелинулся. Власьева резко повернулась и быстро пошла к скверу. Секунду я смотрел вслед, видел, как трепещут от быстрого шага легкие светлые волосы, как слева от нее бежит прозрачная зыбкая тень, потом поднял с земли альбом, подхватил под мышку ящик, снес его в тупичок за крайний павильон и сам побрел на Большой проспект.

Вроде бы я был доволен, что нахамил Власьевой, но после этого какое-то беспокойное возбуждение вдруг обуяло меня, и незаметно для себя я все прибавлял шагу, словно гнался за кем-то или сам хотел убежать от погони. Ноги вдруг стали самостоятельными и тащили меня все быстрее по проспекту, потом — по Шестнадцатой, по набережной Круженштерна, по Университетской. Я плутал по маленьким улочкам, примыкающим к набережной Макарова и Съездовской линии, шел через старые проходные дворы, озираясь на облупившиеся стены дворовых флигелей, и все чего-то кружил, разыскивал, вынюхивал, словно собака, потерявшая хозяина и мечущаяся, чтобы найти след...

Не знаю, что гнало меня, — скорее всего, хотелось за физической усталостью спрятаться от мыслей, и я шатался до изнеможения и вернулся домой поздно, когда отец уже спал (мать, слава богу, была в очередной командировке).

В квартире настоялась белесая тишина, и маятник старых стенных часов на кухне четко отсекал от нее маленькие ровные дольки. От усталости я даже не чувствовал голода, хотя и не ел с самого утра. Осторожно скинул туфли, тихо прошлепал к себе в комнату. Через окно кралась еще не очень яркая белая ночь, от ее света казалось, что вещи обсыпаны мукой или мелом. Я вытащил из тумбы подушку и, не раздеваясь, залег на свой припудренный ночным светом диван и сразу провалился в темноту.

Утром проснулся с неясной тревогой, с каким-то предощущением неприятности. Но хоть не надо было давать унижительный спектакль, который я разыгрывал, когда мать бывала дома. Правда, я уже на-

учился делать это почти механически, как бездарный актер, годами играющий одну и ту же мизерную роль, я равнодушно правил ремесло и временами казалось, — мать обо всем догадывается, но, как воспитанный зритель, снисходительно делает вид, что верит в унылую сценическую условность. Я лицедействовал по шесть раз в неделю в те редкие времена, когда мать бывала в городе, и вот сезон подходил к концу, будущее выдилось тревожным и необеспеченным, как у бродячего комедианта.

Завтракать в одиночестве не хотелось и сидеть в пустой квартире было выше моих сил, хотя я не любил утренних улиц, — тоскливо становилось от деловой устремленности людей, от вида переполненных троллейбусов и автобусов, с какой-то особенной важностью отваливающих от остановок. Я был выключен из этого утреннего ритма и чувствовал себя, как глухонемой, попавший на хоровую спевку. Я плелся по Наличной к Большому проспекту навстречу потоку прохожих, спешащих к окрестным учреждениям и конструкторским бюро, и вяло раздумывал о предстоящем дне, а неясная тревога и предощущение неприятности так и не оставляли меня. И тут я почувствовал на себе чей-то упорный взгляд. У ворот проходного двора, сокращавшего путь на Большой, стоял Василий и смотрел на меня.

И я направился к нему, напустив на лицо безразлично-приветливую усмешку и даже походкой стараясь подчеркнуть свою независимость. Не то чтобы я сделал это сознательно — и усмешку, и походку, — нет, наверное, если бы у меня было время подумать, я не стал бы так выкомариваться. Но я силен задним умом — только потом, через какое-то время я вдруг вспомню все, как было, увижу себя будто со стороны и пойму, что выглядел, как последний идиот. Да, всегда умные мысли и достойные манеры приходят чуть позже, чем нужно, а люди вдруг догадываются, что вы пижон, чуть раньше, чем это становится ясно вам самому...

И вот я, криво усмехаясь и вышагивая так, будто сию минуту установил олимпийский рекорд, повернул к Василию, а он стоял и смотрел на меня.

Мы не виделись, наверное, чуть больше недели, но мне казалось, что прошла целая вечность.

Василий ниже меня сантиметров на пятнадцать, но я только издали замечаю это, а вблизи получается так, будто между нами нет никакой разницы, и когда я подошел, наши взгляды встретились, и я даже почувствовал себя меньше ростом. Мы молча обменялись рукопожатием и пошли не спеша на проспект. В проходном дворе уже не было слышно шума автобусных моторов и завывания троллейбусов; прутьями шорох издавали тонкие вытянувшиеся тополя, из свернутого шланга на асфальт потихоньку сочилась вода. Я шагал, опустив голову.

— Что, Юрий Николаевич? — негромко спросил Василий, и в голосе его мне послышалась презрительная печаль. Я не ответил, хотя и удивился, что он назвал меня по имени-отчеству.

Мы вышли на Большой и снова окунулись в рокот и чад загруженной магистрали. Было сумрачно в этой узкой части проспекта, и утреннее солнце еще только позолотило верхние этажи домов

нечетной стороны. На углу Детской Василий приостановился, повернулся ко мне всем корпусом и спросил:

— Сам не мог показаться? Я должен из-за тебя специально с работы отпрашиваться?

Я сбился с шага, просеменил метр или два и уныло протянул:

— Не с чем было показываться. — Потом меня разобрала злость, и я добавил в сердцах: — И вообще, почему я должен кому-то показываться?

— Да, конечно, — почти весело ответил Василий, но лицо осталось не улыбочным, хмурым. — Давай-ка двинем поближе к заводу, а то мне через час в цеху нужно быть, и по дороге обсудим, кому ты должен, кому нет, и должен ли вообще.

Мне очень неохота вспоминать этот разговор... Наверно, в жизни любого человека случается момент самого страшного унижения и стыда, когда все ваши делишки, все согретые где-то в глубине души и скрываемые желания, все ваши любимые, тайные, ядовитые мысли вдруг поворачиваются лицом к беспощадному дневному свету. И вы уже не можете открыто взглянуть своему другу в глаза, потому что вы сами только что увидели все эти мыслишки, желания и поступки его пристальным взором и поняли, что вы и есть эти беспомощные делишки, эти постыдные жалкие мысли, эти мерзкие шкурные желания.

...Мы медленно шли по пустынной в этот час Косой линии. Все уже было сказано, и я понял, что теряю не только друга, но еще ощущал, будто что-то угасает во мне и никогда я уже не буду прежним.

Ветер приносил резкий тяжелый запах с кожевенного завода. С приглушенным скрежетом пронесся пустой трамвай, и снова стало тихо.

— Вот ты говоришь «наплевать», — задумчиво сказал Василий. — Конечно, это очень удобно. Ты будешь на все плевать, а другие будут думать за тебя. У нас никому не дадут умереть с голоду, всегда найдется какая-нибудь бездумная необременительная работенка — специально для лентяев и недоучек...

— Я работы не боюсь, — это прозвучало угрюмо и неуверенно.

— Врешь, боишься! — резко сказал Василий. — Потому что главная работа — это добиться своей цели. А ты...

Снова пронесся трамвай, и опять стало тихо на улице.

— Знаешь, кто ты? Обманщик!

— Кого я обманул?

— Меня! Наташу Власьеву, мать, отца, всех других людей, которые тебя знали. Усмехаешься? — он искоса снизу вверх взглянул на меня неприязненно, отвернулся и спросил глуховато: — Тебе Власьева нравится?

«Уж чья бы корова мычала!» — подумал я и ответил тихим вопросом:

— А тебе?

— Очень! Но не обо мне речь.

Такого ответа, признаться, я не ожидал и позавидовал прямо.

— Спасибо за откровенность, — промямлил я растерянно.

— Пожалуйста. Только не в откровенности дело. Она дружила с тобой, и я с тобой дружил, мы думали, ты — настоящий парень. А ты, выходит, только казался таким, выдавал себя за другого, обманывал, — Василий поморщился, махнул рукой, будто зачеркнул что-то в воздухе.

— Никого я не обманывал, я — такой, как есть, — ответил я с обидой, и тошно стало на душе.

— Если ты действительно честный человек, то подумай обо всем крепко и реши, хочешь ли ты того, чего добиваешься, и хватит ли тебя на это... Вспомни все с самого начала и реши, способен ли добиться или слабак. Хотеть и мечтать может каждый, а вот осуществить — это серьезнее, — Василий снова искоса посмотрел на меня и добавил уже спокойнее: — Думай, и если решишь, что можешь, приходи. Еще не все потеряно. Пойдем в райком комсомола, в горком. Будем добиваться.

Он резко повернулся и пошел наискось через улицу к заводской проходной. Я остановился на тротуаре и смотрел вслед. Цветная полосатая рубашка плотно облегла его прямые плечи и спину, серые брюки с широким черным ремнем сидели отлично — поджарый и плечистый, он уходил от меня широким спокойным шагом. Я ждал чего-то, глядя в спину, но он так и не оглянулся. И одиночество, как накатившая волна, покрыло меня с головой, но я вынырнул из этой пронзительной и безысходной зелени, жадно хватил воздуха перекошенным ртом и побрел вниз к плотным запахам Кожевенной линии, к невидимому, но ощущаемому за стенами зданий и заборами Финскому заливу.

Я шел по Кожевенной линии, все убыстряя шаг. Ветхие балкончики и эркеры старых домов с невнятными фасадами нависали над тротуарами — было в этой нишей старине что-то трогательное и грустное: я знал, что эти невзрачные домики обречены на слом. Резкие плотные запахи роились надо мной, запахи старинных человеческих дел — запахи выделки кожи и постройки судов. Я пересек Большой, пошел по Наличной, потом свернул направо по Шкиперскому бульвару, пересек Гаванскую и пошел по Среднему проспекту. Шел быстро, будто и вправду впереди была цель.

А в сознании все путались эти вопросы, и я уже понимал, что куда мне не деться от них.

Люди шли по своим делам, куда-то стремились автомобили, хлопали двери зеленных и бакалейных лавок, впуская и выпуская хлопотливых пенсионеров; уже опустевшие трамваи проходили, почти не задерживаясь на остановках; на углу Шестнадцатой в ларьке продавали корюшку, и над перекрестком плыл ее густой сладковато-огуречный дух.

Я бездумно глазел на эту уличную жизнь, а у самого внутри все ныло от тоски. Деловито двигались мимо прохожие, скучное солнце вызолотило асфальт и стены домов, но весь этот утренний мир не имел ко мне никакого отношения, и я брел сквозь него, одинокий и никому не нужный.

♦ Вспомни все с самого начала и реши, способен ли добиться или

слабак» — эти слова Василия впечатались в память. И я пытался понять, с чего все началось? Почему мне на все наплевать и где-то внутренне я хочу только одного — чтобы скорее пришел сентябрь; я получу паспорт и пойду куда-нибудь на овощебазу таскать ящики и перебирать картошку. Буду зарабатывать полтора ста «ре», и пусть другие ломают себе голову над учебниками, а я устал. И как только я признался себе в этом, то понял, что Василий был близок к истине, и я — действительно слабак. Мне сразу стало легче. Ведь если вы признали себя слабаком, то у вас остается только два выхода: остаться таким на всю жизнь или стать сильным. В общем, простенькая задачка: или — или. И вы, конечно, поспешите стать сильным, потому что стать слабаком успеете всегда.

Я додумался до этого очень быстро, пока шел до Восьмой линии и чувствовал себя жутко умным. Но, видимо, мыслительное усилие истощило меня до основания, потому что, учуяв запах пирожков, которые продавали возле станции метро, я ощутил такой голод, что даже сбилось дыхание.

Денег у меня было всего сорок копеек и не осталось сигарет, но я решил немедленно проесть весь капитал. Взяв по ступеням, устремился к входу в метро, возле которого круглая сетка в белом фар-туке шустро торговала пирожками из прямоугольной плетеной корзины. Проходя мимо газетного киоска, я рассеянным взглядом скользнул по витрине с цветными обложками журналов и вдруг остановился: что-то в этой витрине привлекло меня... Нет, вернее, тень какой-то еще не сформировавшейся мысли скользнула в мозг при взгляде на витрину газетного киоска, и я шагнул ближе. Рядом с журналом «Лесная промышленность» к стеклу была приставлена толстая тетрадь в покоробившейся от солнца виниловой обложке серебристо-асфальтового цвета. Я пригнулся к окошку и спросил:

— Почем тетрадь?

— Тридцать шесть копеек, — был короткий ответ.

Я достал свои два двугривенных и положил их на пачку газет, лежавшую перед окном. Старческая рука, обсыпанная «гречкой», смахнула монеты, выкатила мне две двухкопеечные и протянула теплую от солнца тетрадку.

Люди выходили и входили в двери станции метро, покупали пирожки, просто кого-то ждали, а я стоял возле газетного киоска, вслушиваясь сам в себя: я еще толком не понимал, зачем эта тетрадь, или, вернее, еще боялся признаться себе, но где-то в потемках сознания уже решил, что буду писать. Ноги сами понесли меня к дому.

Штора на окне была задернута, и стоял приятный, чуть таинственный полусумрак, привычные неказистые вещи — стол, стул, книги на полке, потертый диван, несколько выцветших репродукций над ним, — все выглядело как-то благороднее, чище. Я положил тетрадь на середину исчерченной шариковой ручной столешницы и, стоя над ней, сосредоточенно жевал поджаристую горбушку. Теперь я уже отдавал себе ясный отчет, зачем эта тетрадь.

Я понял, что должен все записать сам для себя, чтобы разобраться... Значит — дневник?.. Но я терпеть не могу дневников. Это дев-

чонки (и то только зануды) ведут дневники и потом читают друг другу, чтобы показать, какие они умные и утонченные. И я решил, что буду писать, обращаясь к каким-нибудь славным людям, вроде Василия и Власьевой, только неизвестным мне и которых никогда не увижу и не узнаю. Ведь таким людям как-то легче рассказывать о себе. А потом, так писать интереснее, чем — просто дневник. И дневник — это когда записывают каждый день, что произошло, а я буду вспоминать. И воспоминания уже никак нельзя назвать дневником. По-моему, воспоминания — вопрос, обращенный к самому себе. А раз вы обращаетесь к самому себе, то вам вовсе не обязательно быть слишком подробным, как в школьном сочинении, то есть вы можете быть подробным там, где вам нравится и кажется нужным, а славные люди — предполагаемые читатели или слушатели вашей истории, — они все поймут, на то они и славные люди...

Я дожевывал горбушку, сел за свой старый стол и начал писать, а когда поднял голову, то увидел, что в комнате совсем сумрачно. Я отодвинул штору, поглядел в посеребривший дворовый сквер, зажег настольную лампу и снова сел. Мне было немного грустно, — я уже понимал, что, взявшись за воспоминания, снова должен буду прожить последний год, — самый наполненный и, может быть, самый горький год моей жизни.

Но отступать было некуда — я принял решение...

12

Моя история подходит к концу. За окном удивительно теплый май, первая бледно-прозрачная зелень на ветках. Я вернулся к своему сегодняшнему дню. Я мысленно прошел по тому витку спирали, которым был последний год, самый трудный, но и самый серьезный год моей жизни. И теперь нужно идти дальше, нужно стремиться к цели, потому что человек — это цель, которую он себе ставит. Для того чтобы понять это, мне нужно было прожить такой год. Я слишком много прощал себе и, кажется, уже истратил весь запас самоснисходительности, осталась строгость, только строгость.

Прошло три дня после разговора с Василием, у меня было время подумать...

Сегодня утром заходила Наташа. Я открыл дверь на ее отрывистый звонок, провел в комнату. Она посмотрела на раскрытую тетрадь на столе.

— Занимаешься?

— Да, — сказал я и закрыл тетрадь.

— Юра, — она грустно и просяще посмотрела на меня, — ты только послушай и не злись, ладно?

— Ладно, — согласился я. — Садись.

— Нет, я на минуту. Вася договорился на заводе и в комитете комсомола. Будут ходатайствовать, чтобы тебе разрешили сдавать. А сдашь удачно, дадут направление в Мухинское училище от завода. Представляешь! Они уже звонили в горисполком! — голос Наташи радостно зазвенел.

А меня охватила задумчивость, но не та пустая, рассеянная задумчивость ни о чем, — я просто рассчитывал ясно и хладнокровно, хватит ли мне оставшихся дней, чтобы повторить все, что нужно.

— Что ты молчишь, Юра! — крикнула Наташа.

Я повернулся к ней.

— А ты что кричишь? — и почувствовал, как улыбка сама по себе наползает на лицо.

— Сегодня в три Василий ждет тебя в отделе кадров. Я побежала. У дверей квартиры она обернулась.

— Ни пуха ни пера!

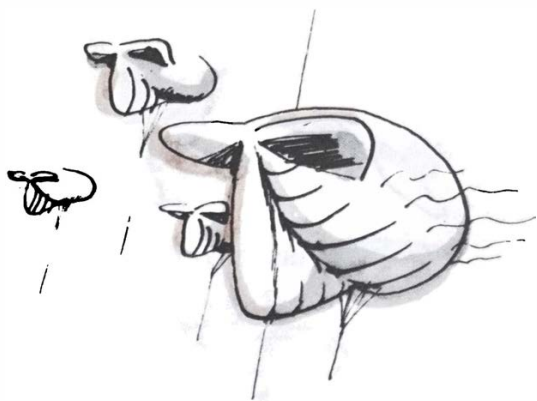
— К черту, — отозвался я.

Историю надо как-то заканчивать. Теперь я знаю, что все, что начинаешь, нужно доводить до конца. Но разве это — конец, если впереди еще целая жизнь? И моя «история» — только отрывок...

Сейчас я в последний раз схожу на свою морскую набережную. Увижу белые бляшки пены на низколобых волнах, погляжу на молочную дымку горизонта...

Я говорю: «в последний раз», но это не значит, что я больше никогда не приду на свою набережную. Просто, когда я приду туда снова, то все будет другим. Я увижу другой горизонт и другие паруса, потому что сам стану другим.

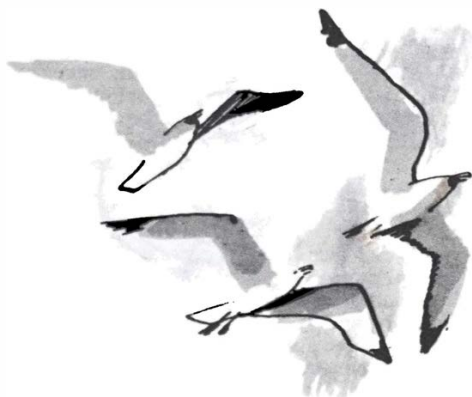




СОДЕРЖАНИЕ

ЗА ДАЛЬНИМ ПОВОРОТОМ. <i>Повесть</i>	5
ПАРУСА. <i>Повесть</i>	121





ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Мусаханов Валерий Яковлевич

П А Р У С А

Ответственный редактор

И. И. Трофимкин

Художественный редактор

Г. П. Фильчаков

Технический редактор

З. П. Коренько

Корректоры

Н. Н. Жукова и Л. А. Вочкарева

НВ 5516

Сдано в набор 17.11.80. Подписано к печати 16.03.81. Формат 70×100^{1/16}. Вумага офсетная № 2. Шрифт школьный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,2. Усл. кр.-отт. 4371,3 тыс. Уч.-изд. л. 18,21. Тираж 100 000 экз. М-13392. Заказ № 124. Цена 75 коп. Ленинградское отделение ордена Трудового Красного Знамени издательства «Детская литература». Ленинград, 191187, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 193036, 2-я Советская, 7.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

*Присылайте нам ваши отзывы
о прочитанных книгах и пожелания
об их содержании и оформлении.*

Напишите свой точный адрес и возраст.

Пишите по адресу:

Ленинград, 191187, наб. Кутузова, 6.

Дом детской книги издательства

«Детская литература»

Мусаханов В. Я.

М 91 Паруса: Повести/Рис. Б. Аникина. — Л.: Дет.
лит., 1981. — 221 с., ил.

В пер.: 75 коп.

Книга о жизни подростков в наши дни.

70803—132

М—————**27Р—81**

М101(03)—81

Р 2

**ЧИТАЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»**

**АБРАМОВ Ф.
ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА.**
Роман.
Рис. А. Слепкова. Л., 1977, 320 с.

**АЛЕКСИН А.
«БЕЗУМНАЯ ЕВДОКИЯ».**
Повести и рассказы.
Оформл. В. Терещенко. М., 1978, 448 с.

**АСТАФЬЕВ В.
КРАЖА.**
Повесть.
Рис. Ю. Шабанова. Л., 1979, 239 с.

**АТАРОВ Н.
А Я ЛЮБЛЮ ЛОШАДЬ.**
Повесть.
Рис. Л. Селизарова. М., 1979, 127 с.

**ТЕНДРЯКОВ В.
ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ.**
Повесть.
Рис. П. Пинкисевича. М., 1977, 95 с.

**ШУКШИН В.
РАССКАЗЫ.**
Рис. Г. Калиновского. М., 1980, 382 с.





